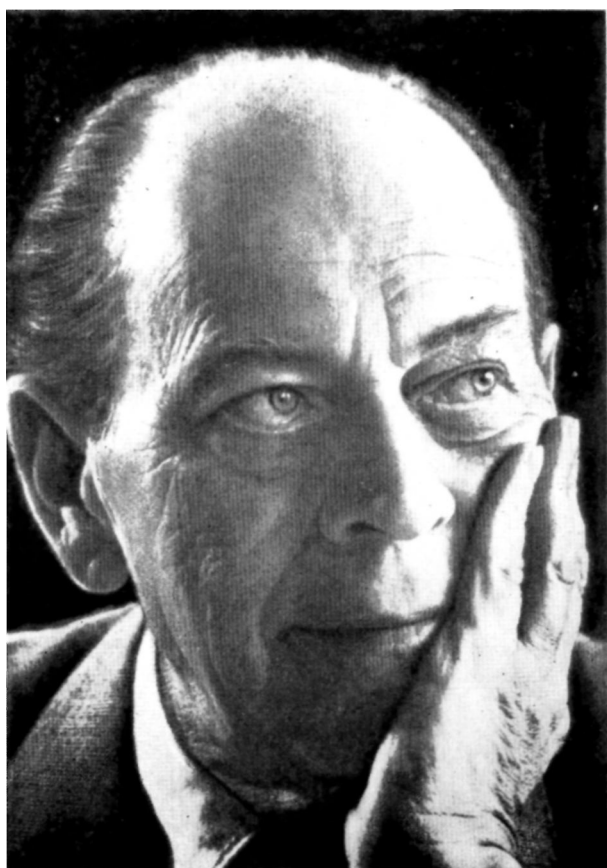


ШТРАН
РКЕНЬ
Избранное

ИСТОРИЯ ЭКОЛОГИИ



ИШТВАН ЭРКЕНЬ

Избранное

Перевод с венгерского



Москва
«Художественная литература»
1981

И (Венг.)

Составление и
вступительная статья
Т. Воронкиной

Оформление художников
А. и В. Лемятских

© Составление, статья, переводы, отмеченные *, оформление,
Издательство «Художественная литература», 1981 г.

Э $\frac{70304-035}{028(01)-81}$ 121—81 4703000000

IN MEMORIAM ¹ ИШТВАНА ЭРКЕНЯ

У него усталое, похудевшее лицо, а умные, добрые глаза смотрят чуть грустно. Но вот он оживляется, и тогда прежний Эркень, неутомимый, блистательный рассказчик, в устах которого любая, даже самая незначительная тема становится законченным шедевром изустного творчества, не зафиксированной на бумаге новеллой-минуткой, ведет нить разговора. Речь заходит о предполагаемом издании однотомника его произведений, о возможном составе. Да, увидеть свои рассказы и повести — в том числе любимое детище «Выставку роз» — на русском языке было бы для него подлинным счастьем. «Знаете, — говорит он, — не так давно в общественном транспорте какой-то пассажир уступил мне место: он-де видел меня на представлении одной из моих пьес. Преклонение перед театром за последнее время стало всеобщим. Ах, если бы с таким же почтением вытягивались перед литературой! Если бы этот предупредительный человек сказал что уступает мне место, поскольку читал меня!»

Это была наша последняя встреча, наш последний разговор в конце 1978 года. А через полгода, когда я, снова очутившись в Будапеште, хотела порадовать его вестью о том, что книга его выйдет в Москве, его уже не было в живых.

Имя Иштвана Эркеня — виднейшего современного писателя Венгрии, драматурга, лауреата премии имени Кошута широко известно и за пределами его родины, главным образом благодаря постановкам его пьес («Семья Тотов», «Кошки-мышки») на сценах многих стран мира. В том числе и в нашей стране. «Семья Тотов» совершила свое триумфальное шествие по театральным подмосткам не одного десятка городов. С творчеством И. Эркеня в других жанрах — повести, рассказа — советский читатель имел возможность познакомиться по давним публикациям на страницах журнала «Иностранная литература», по сборнику, вышедшему в 1971 году в издательстве «Прогресс».

¹ Памяти (лат.).

Для тех же, кто впервые знакомится с Иштваном Эркенем, кратко представим его.

Иштван Эркень родился в 1912 году, в Будапеште. Начало его литературной деятельности относится еще к довоенным годам. Первые пробы пера молодого литератора получили одобрение Аггилы Йожефа, крупнейшего пролетарского поэта Венгрии, и этот факт оказал огромное влияние на всю последующую жизнь и творчество Эркеня. Одним из самых бережно хранимых им сокровищ всегда оставался томик стихов Йожефа с дарственной надписью, а фотография поэта висела на видном месте в кабинете Эркеня. Первый сборник рассказов И. Эркеня «Пляска моря» (1941) назван по одноименному рассказу. Умалишенные, вырвавшиеся из сумасшедшего дома (и среди них некий толстяк Геринг), приводят все население в состояние массового психоза и истерии. Страшная, беснующаяся толпа, подобно морской стихии, способна захлестнуть, потопить все проявления разумной человеческой воли. Аналогия с разнузданным произволом фашизма более, чем прозрачна. Уже в этом рассказе намечены те элементы сатиры, гротеска, которые впоследствии с такой полнотой разовьются в творчестве зрелого Эркеня. Не случайно сам писатель некоторым изданиям своих рассказов предпосылал «Пляску моря» в качестве исходного момента.

Далее, как вспоминал сам Эркень, в последующие годы им было написано лишь несколько открыток с фронта. «Между мною и письменным столом всегда стояли какие-то помехи: годы учения на естественно-научном факультете, война, плен... И обход каждого такого препятствия занимал несколько лет». Из ненавистой войны ему удалось вырваться лишь через плен.

В первые же послевоенные годы, по свежим впечатлениям, Эркень пишет репортажи, воспоминания, очерки (в том числе большой социографический очерк «Люди лагерей», рисующий яркую картину роста антивоенных, антифашистских настроений среди венгерских военнопленных), пьесу «Воронеж»; выходят его роман «Супруги», несколько сборников рассказов. 50-е годы были для писателя периодом поисков и проб, творческих раздумий и экспериментов. Обретение им своего творческого «я», по словам самого Эркеня, свершилось в тот момент, когда писатель понял: ему не заглушить в себе тот далекий голос начинающего литератора 30-х годов, не преодолеть тягу к сатире, гротеску; гротеск стал для него «любовью на всю жизнь», и этой своей любви Эркень остался верен до конца. Опробовав многие жанры, он и здесь возвращается к истокам, к рассказу, лишь изменив — предельно сжав — его форму. Долгие годы творческих поисков подсказали такое решение: «Я попытался очистить литературу от всего излишнего, подоб-

но тому как сбрасывают балласт с воздушного корабля. Поначалу мне казалось, что ничего не останется; но кое-что все-таки осталось. Рассказы эти можно бы написать, изукрасив, «обогатив» их подробностями, раздув в объеме, но отнять от них больше ничего нельзя. Это математические уравнения: минимум информации со стороны писателя — максимум фантазии со стороны читателя. Как напутствие читателю звучат слова: «Я пишу свои рассказы так, как я составил бы текст телеграммы, а в остальном полагаюсь на читателя: пусть он дополнит их собственными впечатлениями и жизненным опытом». В этих двух коротких выдержках — вся *ars poetica* писателя, — наиболее точное определение жанра короткого, «одноминутного» рассказа, снискавшего славу его создателю. Шкала этих рассказов — как тематическая, так и стилевая — очень широка: от короткой бытовой зарисовки, окрашенной мягким юмором, до глубокого философского обобщения (в сатирических, гротескных, а порой и близких к фантастике «рассказах-минутках»). Микророманы под пером мастера становятся необыкновенно емкими, они способны вместить в себя огромный мир человеческих переживаний. И для читателя встреча с ними не проходит бесследно; своей афористичностью эти рассказы западают в память, продолжают жить в нашем сознании, вызывая порой неожиданные ассоциации, по-новому высвечивая в нашем восприятии тот или иной жизненный факт, событие, явление. Мне не раз доводилось слышать в Венгрии: «Помните, как у Эркеня?» И затем, как притча, следовал полюбившийся, запомнившийся человеку рассказ-минутка, как нельзя лучше подходящий к случаю. Кто-то, размышляя вслух об относительности понятия «счастье», припоминал хромую девчущку у Эркеня, для которой предел мечтаний — иметь здоровые ноги, чтобы бегать и играть в мяч со сверстниками. Другому в виде утешения приходил на ум рекомендуемый Эркенем «способ лечения» от одиночества: завести дрессированную муху. Третий убежденно доказывал, что приятные вести надо сообщать людям безотлагательно, и вообще нужно спешить делать добро; ведь — как знать? — вдруг, подобно герою рассказа «Водитель машины», носишь в кармане завтрашний номер газеты с известием о собственной смерти. Писательская мысль, заключенная в рамки короткого рассказа, всегда служит ключом к более глубокому пониманию какой-то конкретной жизненной ситуации, а порой для философского обобщения явлений бытия.

В середине 60-х годов вместе с первыми рассказами-минутками увидела свет и повесть Эркеня «Кошки-мышки». Сам Эркеня как-то в разговоре шутливо охарактеризовал ее как историю любовного треугольника, впрочем, не типичную, поскольку героям пе-

ревалило за шестьдесят. И ситуация становится попеременно то лирической, то комической, то драматической или — к концу — гротескной. Читатель посмеется над нелепыми — и такими правдоподобными! — любовными коллизиями, но, безусловно, и посочувствует порывистой, искренней, умеющей глубоко чувствовать и переживать Эржебет Орбан. Человек, который не способен жить «вполсилы» и в любой поступок вкладывает всю свою жизненную энергию, щедро расходует все богатство своей души, — достоин уважения. Неудивительно поэтому, что и венгерских и зарубежных читателей покорила жизненная сила героини; в утверждении негибимой стойкости человеческой природы увидели они смысл этого произведения Эркена. А финская литературная общественность и критика — как отметил один из венгерских литературоведов — тоже вполне оправданно усмотрела в «Кошках-мышках» иной лейтмотив — тоску по родине. В самом деле, хотя история Гизы, на склоне лет оторванной от родины, проходит в повести задним планом, мотив этот звучит вполне отчетливо. К тому же его постоянно «подхватывает» Орбан, которая ни при каких обстоятельствах не желает покинуть родную землю, не прельщаясь ни благами обеспеченной жизни, ни возможностью постоянного общения с любимой сестрой, единственно близким ей человеком. И вот ведь какая любопытная деталь: Миши, богатый, преуспевающий мюнхенский промышленник, наотрез отказывается от каких бы то ни было контактов с соотечественниками. Читатель волен предполагать, то ли отпрыск Данцигеров желает окончательно и бесповоротно забыть о своем венгерском происхождении и отмежеваться от своих земляков как от «бедных родственников», то ли как заразной болезни боится он ностальгии, этого неодолимого недуга людей, покинувших родину. А может, верно и то, и другое...

Из повести ясно, что разобщенность сестер Скалла объясняется не только географическим расстоянием, пролеглим между ними. Это разница во взглядах на жизнь, определяющаяся разницей в общественном положении, это разница миров. Мертвенно-безмятежная, лишенная страстей и ошибок жизнь Гизы обусловлена не только ее недугом или складом характера, склонностью выбирать простые, легкие решения. Все ее поведение, от мелочей (какие сказки рассказывать внукам, каких людей приглашать к себе в гости) и до жизненно важных вопросов (вынужденное — в угоду свету — согласие на заведомо бесполезную операцию), диктуется жесткими законами буржуазного общества, к которому она принадлежит. «Твои наряды так же неприемлемы для меня, как и твои взгляды на жизнь», — бросает сестре Орбан. Расхождение во взглядах очень тонко прослеживается автором и на при-

мере угнетения обеих сестер к истории Гибели отца. Гиза — не совсем бескорыстно — цепляется за вымышленную легенду, понимая, что подлинные обстоятельства смерти старого Скаллы, несомненно, произвели бы неблагоприятное политическое впечатление на западногерманские высшие круги. А Эржи упорно восстанавливает истинные подробности. Какая ей корысть от того, что их отец в действительности пал жертвой контрреволюционного террора, какая ей корысть от этой правды? — вот характерная для Гизы постановка вопроса. Но Эржи не корысти ищет, она и тут верна себе — ей важно во имя справедливости восстановить правду.

Подлинную славу и признание читателей принесла И. Эркеню повесть «Семья Тотов», прочно вошедшая в фонд лучших достижений современной венгерской литературы. Страстное обличение — средствами сатиры — войны, фашизма, всякого рода насилия над людьми, протест против всего того, что ставит человека в зависимое, унижительное положение, суровая, действенная любовь к людям, — таков пафос этого произведения.

Даже далекие отголоски войны, пока еще бушующей на просторах России, нарушили привычные, устойчивые представления о жизни, всколыхнули тихий, патриархальный мир глухого венгерского уголка; пока существует фашизм, пока идет война — пусть где-то далеко, — она жестоко калечит души людей, грубо вторгается в их жизнь. Комические, гротескные ситуации, в которые поставлено семейство Тотов с появлением у них в доме отпускника-майора, командира их сына, оборачиваются глубокой человеческой трагедией, поскольку читатель с первых страниц знает, что все жертвы и унижения напрасны: участи любимого сына Тотам не облегчить, он погиб уже к тому времени, когда в доме поселяется тиран-майор.

Вот уже более десятка лет читатели, зрители многих стран мира с неослабным интересом следят за тем, как повернется судьба злополучных Тотов, типичных «маленьких людей», вся вина которых в том, что они не могут, не умеют противопоставить злу организованный, социальный протест, а способны разве что на смехотворный, комический бунт. И ситуация, в которую они поставлены, и самый «бунт» Тота не оставляют людей равнодушными, заставляют их глубоко задуматься. Эркеню поначалу был немало удивлен, убедившись в том, что, казалось бы, сугубо конкретная, чисто венгерская ситуация повести нашла столь широкий отклик в мире. И как плод авторских раздумий родилось одно из его метких высказываний: «Угнетатели и угнетенные, которые бесчеловечностью взаимоотношений выбиты с исходной

позиции, — вот вам тема «Тотов»». Эта точная формулировка хорошо объясняет — почему в некоторых странах Европы и американского континента на афишах «Тотов» изображены маленькие человеческие фигурки и занесенный над ними сапог диктатора.

Протест против угнетения вообще, против насилия социального усугубляется в повести обвинением войне — войне захватнической, несправедливой, как отвратительной форме насилия над человеком. В этой связи сам Эркень однажды так сказал о «Тотах»: «Война была для меня крупнейшим, поворотным событием в жизни, и мне кажется, что я сумел выразить это в своей повести». Тема войны волновала писателя, он постоянно возвращался к ней, как к неотвязному воспоминанию о прошлом, как к тревожной мысли о будущем. Следует сказать, что к общему ощущению войны как огромного, мирового бедствия у Эркеня примешивались личные ощущения человека, вынужденного участвовать в неправом деле, в жестокой, несправедливой войне. Писатель неоднократно касался этого как в документальных своих произведениях, так и в различных выступлениях. Вот выдержка из его интервью от 1976 года, где о событиях тридцатилетней давности он говорит с такой же острой болью, как и в первые послевоенные годы: «Если и существовало когда-либо абсурдное положение, то наше было именно таковым. Мы были пленными страны, на которую сами напали с оружием в руках: хотя эта страна никогда ничего худого нам не причинила. И все же с нами обращались по-человечески. Мы жили с угрызениями совести, зная, что за содеянное нами нам никогда не дожждаться снисхождения от истории». В 1970 году, узнав о том, что готовится издание «Тотов» на русском языке, Эркень несказанно обрадовался. Это малая возможность, говорил он, выплатить свой старый долг советским людям. «Семья Тотов», как и все антивоенные произведения Эркеня, — знак благодарности народу, умеющему не только побеждать в войне, но и отстаивать мир.

В коротеньком рассказе «Воспоминание о войне» во всей полноте переданы переживания человека, ее перенесшего. Забыть войну невозможно, да и нельзя; чтобы не допустить ее вновь, необходимо помнить о ней. Рассказ построен как единая фраза, на одном дыхании, — это как бы крик души.

Эркень беспощадно клеймит тех, кто развязал кровавую бойню. «Фашизм — вот наш злейший враг. С фашизмом не может быть общего языка!» — гневно заявляет писатель, убедительно проводя эту мысль в рассказах «In memotiam dr K. H. G.» и «Изучайте иностранные языки!». Человек, воспитанный на лучших образцах Гельдерлина, Гейне, Шиллера и Рильке, оказывается столь же бессилён перед лицом озверелого фашизма, как и тот, кто не

умеет даже объяснить по-немецки, что он не дезертир и не еврей. «Сговориться с насильниками невозможно, против насилья можно и должно бороться!» — призывает Эркень.

В своем прощальном слове на похоронах Иштвана Эркеня известный венгерский критик, заместитель министра культуры ВНР академик Д. Тот сказал: «Смерть подкралась к автору «Выставки роз» неожиданно-негаданно, но отнюдь не застала его врасплох». И действительно, читаем ли мы его повести или короткие рассказы, нет-нет да и мелькнет мысль о встрече с неизбежным, о «диспуте» со смертью — беспощадным партнером, у которого на все наши аргументы один ответ: «нет». Эта тема волновала Эркеня как человека и очень увлекала как писателя...

Кружатся снежинки — недопетые песни чьей-то жизни. И как слова из песни не выкинешь, так же трудно придумать его за кого-то. Слово это — единственно и неповторимо, как человеческая жизнь...

Один образ особенно часто встречается в произведениях Эркеня. Смерть как точка в конце фразы жизни. А иной раз фраза обрывается на полуслове (безвременный конец одного из героев «Выставки роз» Габора Дарваша). Последний вздох Маришки Мико «как точка в конце фразы». Тот же образ и в рассказе «Хорошая смерть». Прекрасная человеческая жизнь, до конца дней заполненная полезным трудом, — вот завидная участь каждого человека. Не случайно один из популярных массовых журналов в качестве некролога на смерть Иштвана Эркеня поместил этот его рассказ. И в самом деле, трудно найти слова, более точно передающие нашу скорбь об ушедшем человеке и легкую зависть к его жизни, прожитой достойно, разумно. А сам Эркень сумел, успел поставить точку: на больничной койке, до последней минуты он продолжал работать и завершил последнее свое произведение.

Повесть Эркеня «Выставка роз» — тоже о смерти. По признанию самого автора, им в немалой степени руководил протест против распространенного мнения, будто тема эта кощунственна и потому запретна. О смерти надо говорить в открытую, — так считал Эркень, — от нее ведь никуда не скроешься, человек должен быть готов достойно встретить ее.

В основу сюжета повести «Выставка роз» положена некая «абсурдная» идея. Начинающий режиссер телевидения вынашивает замысел создать фильм-репортаж о смерти. Он задумы-

вае его как документальную съемку последних минут жизни трех безнадежно больных людей, знающих о своей близящейся кончине и добровольно согласившихся участвовать в фильме. Это дает писателю возможность создать множество гротескных ситуаций, смысл которых — по словам самого автора — отделить наносное от главного, жизненно важное и существенное от шелухи, от привходящего. Три смерти — это три человеческие судьбы. И потому повесть Эркена — не столько рассказ о смерти, сколько о жизни. Смерть — закономерное завершение жизни, причем не только в биологическом смысле. И в смерти своей человек проявляет свое, индивидуальное столь же ярко, как в любом другом активном поступке при жизни; более того, как говорит один из героев повести, «смерть — единственно искренний наш поступок в жизни». Как же проявляется характер человека в момент последнего его свершения? На этот вопрос отвечают три новеллы, из которых и состоит повесть.

Габор Дарваш — герой первой новеллы — ученый, который живет только наукой и ради пауки; словно предчувствуя свой конец, он не позволяет себе «отвлекаться» на любовь, дружбу, на летнюю поездку к морю или праздничный вечер у родственной елки. Закончить научный труд о проблемах структурной лингвистики, успеть завершить дело своей жизни, — этому подчинены последние дни тяжелобольного человека. Он еще жестче экономит свое время, отказывается от посещений лечащего врача, чтобы не тратить попусту драгоценных минут, заставляет работать свой мозг, даже когда все тело его сковано параличом. Жизнь его так и обрывается посреди фразы. В последние дни жизни ученому удастся обрести былую духовную близость с женой, которая стала ему незаменимой опорой и помощницей в работе, сама впервые — парадокс! — испытав при этом счастье супружеской жизни.

Маришка Мико — работница цветоческого хозяйства — прожила жизнь не примечательную внешними событиями, и на смертном одре ей как будто и нечего вспомнить: работала, была на людях, помогала полуслепой матери. Мысль о близкой смерти вовсе не вызывает в ней ужаса. Единственное, что тревожит Маришку, — кто станет теперь заботиться о матери, и она делает все, что в ее силах, чтобы облегчить участь старухи. Прикованная к постели, Маришка старается быть полезной людям, ее окружающим, помогает готовить уроки сыну своих квартирантов, по-человечески привязывается к этим людям, с которыми судьба свела ее перед концом. Лишь одно страшит Маришку в смерти: то, что там, за порогом, ей придется остаться одной, без людей. Необычайно скромная, лишенная какого бы

то ни было пафоса, всю жизнь отдавшая труду, она не умеет говорить о себе: «Ценили на работе, а как же не ценить, безотказная была, что ни скажут сделать, все, бывало, сделаю в наилучшем виде», «Рассказать что-нибудь о розах? Да что о них расскажешь? Краше розы нет цветка на свете». И только в последний момент, когда, приурочив к «событию», режиссер показывает умирающей Маришке репортаж о выставке роз, к которой она так готовилась и в которой ей не суждено было принять участие, скупая на слова Маришка в предсмертном своем монологе раскрывается во всей полноте прекрасной своей души. Она комментирует документальные кадры — и как! Тут она в своей стихии, ей есть что сказать, и слова у нее находятся и льются сами, без вопросов и понуканий. Эта психологически тонкая, мастерски продуманная сцена, на наш взгляд, одно из лучших мест повести.

Третья новелла подтверждает мысль автора о том, что какова жизнь — такова и смерть. Журналист Я. Надь, человек не без способностей, но суетный, склонный к показухе, так и оставшийся в литературе и искусстве неудачником, восторженно подхватывает идею своего приятеля-режиссера и мечтает своим участием в фильме создать подлинный шедевр документального киноискусства. Писатель долго и настойчиво готовится к своей «роли»: изучает всю специальную медицинскую литературу на тему об инфаркте, буквально «заболевает» идеей и, все острее ощущая искусственно внушаемые симптомы надвигающегося сердечного приступа, ложится в больницу — место будущих съемок. Но в какой-то момент, испугавшись, что ему не справиться со своей ролью, что агония может затянуться и отнюдь не будет «эффектной» (потеря сознания, искусственное продление жизни с помощью новейших достижений медицинской техники), Я. Надь решает сам оборвать свою жизнь, чтобы предстать перед телезрителями в достойном виде, не уронив себя и не «испортив» сценарий. Так он и поступает — мужественно, но... бессмысленно. Кончина его — логическое завершение его жизни.

Эркена не раз спрашивали: почему он решается говорить на столь серьезные темы, как война или смерть, со смехом? Его всегда огорчала такая постановка вопроса. «Насмешка обижает, смех — никогда!» — горячо восклицал он, и в этой фразе — ключ к пониманию мира Эркена. Моральное право для подобного подхода к серьезным проблемам Эркеном давал ряд обстоятельств. Война не обошла писателя стороной, он пережил фронт, траги-

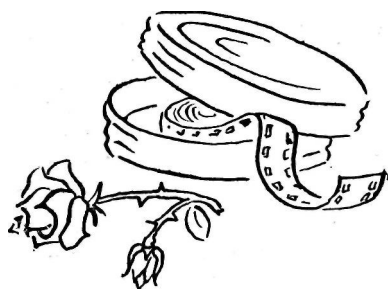
ческое поражение венгерской армии на Дону, плен, был ранен, перенес тиф. Смерть... И с нею он был накоротке; судьба чисто по-эркенеvски, гротескно подтасовала обстоятельства его личной жизни, заставив Эркенья самого пережить те ситуации, в которые он силой своего писательского воображения поставил героев «Выставки роз». Однако сколь ни значительны эти обстоятельства, в данном случае они являются привходящими, то есть их могло бы и не быть. Суть же заключается в том, что Иштван Эркень, лауреат французской премии «Черный юмор», как никто другой, знал, какою силой обладает смех, и умел этим пользоваться. Смех был для Эркенья оружием суровым и беспощадным в борьбе со всем тем, что унижает человека, мешает жить ему достойно своего высокого человеческого звания. Над чем бы ни смеялся Эркень, он смеется не над нами, а вместе с нами, над нашими общими слабостями и недостатками, над неустроенностью нашей жизни, которую можно и должно переделать. Он смеется потому, что бесконечно любит людей и верит в силы разума и гуманизма.

Эркень любил повторять, что для писателя его сочинения — это все, что у него есть за душой: его судьба, его честь и совесть, все его сокровище, драгоценная коллекция марок, фруктовый сад, возвращенный своими руками, дом, построенный собственным горбом, — словом, все его жизненные приобретения. С одной разницей: это сокровище копится писателем не для себя. Весь смысл его — в коллективной собственности.

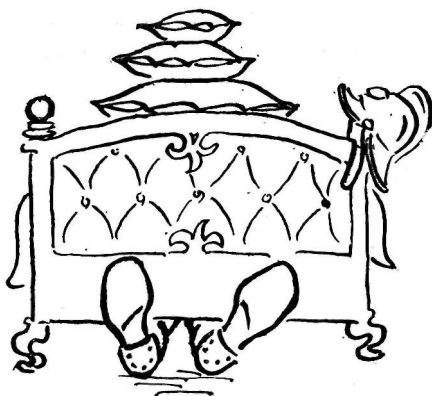
Эркень постоянно нуждался в духовном контакте с читателем, видя в нем равноправного партнера, своим активным восприятием как бы доводящего до конца авторскую мысль и завершающего творческий процесс.

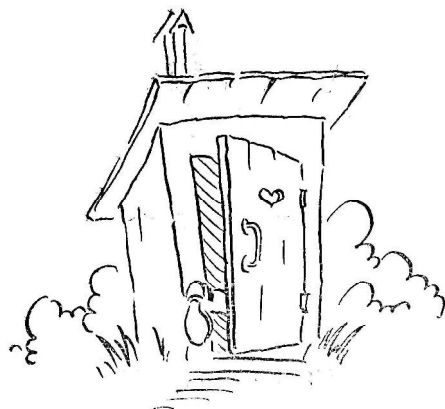
Часть того, что накоплено Иштваном Эркенем в жизни, вручается нашему читателю. Для коллективного владения. Для общего пользования. И для общей пользы.

Т. Воронкина



НОВЕСТИ







КОШКИ-МЫШКИ

1

Все мы чего-нибудь да хотим друг от друга.
Только от стариков нам ничего не надо.

А вот когда старые люди тоже чего-то хотят друг от друга, мы поднимаем их на смех.

2

ФОТОГРАФИЯ

Фотография сделана году в 1918-м или 1919-м, в Лете (комитат Солнок), у непроточного рукава Тисы, неподалеку от поселка сахарного завода, где жило тогда семейство Скалла.

Высокий берег. Виден задок рессорной брички (лошади в кадр не вошли), а по береговому склону бегут вниз, к реке, обе сестры Скалла в легких кисейных платьях, свободно раскинув руки и заразительно смеясь; но реки на фотографии тоже не видно.

Снимок при экспонировании получился с передержкой; со временем девичьи фигуры на фотографии пожелтели, поблекли, да и лиц почти не разобрать.

3
ПИСЬМА

Гармиш-Партенкирхен

От Мюнхена до нас без малого сто километров, и тем не менее ровно в восемь вечера, с истинно немецкой пунктуальностью, машины одна за другой свернули в ворота парка. В восемь тридцать служанка — не сиделка, приставленная ко мне, а горничная — распахнула дверь в обеденную залу; сначала она подкатила меня в кресле на колесиках к обычному моему месту во главе стола, а затем уже я каждому из гостей указала отведенное ему место. На такого рода званых ужинах в узком кругу не принято заранее раскладывать карточки с именами приглашенных, поэтому я могла по своему желанию предложить профессору Раушенигу сесть рядом со мною; Раушениг не только знающий врач, но и превосходный собеседник. Впрочем, приглашен он был вовсе не потому, что он мой домашний врач, а как младший брат вице-президента Баварской торговой палаты; для Миши очень важно поддерживать деловые связи. Профессор Раушениг тотчас осведомился о моем самочувствии; я, в свою очередь, ответила, какой смысл жаловаться, если все равно изменить ничего невозможно. На это последовал комплимент; у меня-де редкая сила воли и еще всякие мудрые высказывания, — не могу их вспомнить, устала, и память подводит меня. Сиделка принесла снотворное, так что допишу тебе завтра утром.

Ну, вот, продолжаю письмо. Профессор сказал мне: «Wir, Menschen, sind Übergangs — Kreaturen, und wissen sehr wenig über Freude und Leid. Alles, was uns Ursache scheint, kann auch Zweck sein»¹.

Переводить не стану, не зря же ты в свое время преуспевала в немецком, воспользуйся случаем освежить свои познания! А позднее, когда речь зашла о бессмысленности физических страданий, он заметил: «Собственно говоря, при посредстве курицы одно яйцо производит другое». Неплохо сказано, а? К сожалению, я не могла всецело сосредоточиться на беседе с профессором, — надо было помнить и о других гостях. Когда стали обносить шампанским и разнообразными винами, мне всякий раз приходи-

¹ Мы, люди, — существа преходящие и чрезвычайно мало знаем о радости и страдании. То, что представляется нам причиной, может оказаться целью (нем.).

лось первой поднимать бокал, потому что, пока я не пригублю, никто из гостей не притронется к вину. Хорошо, должно быть, была я в своем новом платье из черных голландских кружев — ожившая мумия, да и только! Послушай, ты, глупышка! У меня же пропасть нарядов, и так бы хотелось послать тебе что-нибудь! Я понятия не имею, сколько у тебя платьев? И потом, кто такая эта твоя Паула, встрече с которой ты так обрадовалась и которую якобы я должна помнить? Мне это имя не говорит ровным счетом ничего, хотя память у меня — когда я не переутомлена — хорошая, на имена в особенности.

Ужин в гостиной давали при свечах. Двести восемьдесят свечей. В прежние времена такой великосветский шик можно было видеть разве что в Театре комедии, когда там ставили Молнара. А у нас это будни!

Буданешит

Дорогая моя Гиза! Паулу ты не знаешь да и знать не можешь. Она же, напротив, очень о тебе наслышана, и потому первым ее вопросом было: «Как поживает твоя сестра Гиза?» Дело в том, что мы с Паулой всю осаду отсиживались вместе, в одном бомбоубежище в Буде, и я, беспокоясь о вас и шесть недель ни слухом ни духом не ведая, как вы там, в Пеште, остались ли живы во время боев за город, только и знала, что без конца о тебе ей рассказывала. Бедный мой Бела, как был растяпой, так и остался верен себе: на всю осадную пору он прихватил с собой из аптеки только десяток ампул с противостолбнячной сывороткой да пятьсот таблеток ультрасептила, хотя там осталось лежать шесть мешков сахарного песка. Но такой уж он человек, к чужому не притронется — даже когда Будайская крепость огнем горит! Кабы не Паула, мы бы тогда с голодухи ноги протянули. А она нас не только мукой, смальцем, картошкой снабжала, но, случалось, и медком угостит, и беконом, а то и яйцо даст. Люди в ту пору вонюю собственной и то поделиться жалели, а Паула последним куском делилась, да так при этом естественно и мило, что я иной раз ей и спасибо сказать забывала. С тех самых пор я ее не видела, вплоть до прошлого воскресенья. А уж при каких обстоятельствах мы встретились — и вообразить нельзя! Едва вспомню, сквозь землю готова провалиться.

День у меня выдался — хуже не придумаешь. С самого

утра посыпалось то одно, то другое, нервы уже на пределе были. Ты-то знаешь, как это со мной бывает. Когда все идет наперекосяк, досада копится, копится, а там — точно фитиль мне подожгли, в любой момент могу взорваться. А вообще-то, если уж на то пошло, эта особа — хозяйка молочной лавочки — давно у меня в печенках сидела. Обидно только, что весь этот спектакль разыгрался на глазах у Паулы, именно в той молочной на улице Чатарка! Паула стояла наверху: в молочную ведут четыре ступени вниз; так вот, она, застыв на месте, стояла и слушала, как мы грыземся, и только смотрела сверху вниз, как на лохань с дерьмом, куда порядочному человеку сунуться противно. Можешь себе представить, — хороша картина: левой рукой я прижимаю к себе соседскую кошку, в правой — бутылка из-под кефира, там молока чуть на доньшке; на одной ноге у меня домашняя туфля, на другой высокий ботинок со шнуровкой, а на голове — чужая шляпка, по чистой случайности у меня оказавшаяся! Я разошлась вовсю, кричу на молочницу, не очень выбирая выражения, а молочница тоже глотку дерет и тоже не стесняется в выражениях; позади меня четыре старушки дружно честят молочницу на чем свет стоит, потому что всем эта лавочница ухитрилась насолить, и только Тивадар Лёкёш в конце очереди делает вид, будто кашель его одолел; старик всегда норовит в стороне остаться. Теперь представь себе: в самый разгар перепалки распахивается дверь и на пороге возникает дама; внешность у нее, скажу тебе, не знай я, что она на четыре года старше меня, дала бы ей, не задумываясь, на добрый десяток лет меньше. А волосы какие, Гиза! Ни дать ни взять — натуральная блондинка, оттенок такой естественный, неподдельный, словно чистая вода в стакане. Одета она была в светло-ореховый джерсовый костюм английского покроя; с одного взгляда ясно: в Будапеште такого днем с огнем не сыщешь. Но это еще не все, Гиза: она была совсем без чулок, потому что загар у нее — ну просто божественный. Подумать только: на четыре года старше меня, а загар такой, будто она целые дни проводит в спортивном бассейне. Ну, и туфли соответственно — самого модного заграничного фасона: остроносые, с вырезом и каблук высоченный. Гиза, это еще не самое главное. А вот что интересно: она и рта не раскрыла, просто стояла молча и смотрела, а в лавочке моментально наступила гробовая тишина, все, как по команде, усталились на нее, и всем стало стыдно.

Поначалу я не узнала ее. Она внимательно пригляделась ко мне и спросила: «Если не ошибаюсь, вы — госпожа Орбан, не так ли?» Я еще не успела прийти в себя и молчу, будто в рот воды набрала, зато молочница быстро опомнилась и попыталась было продолжить свару, но даже пикнуть не посмела, потому что Паула только глянула на нее и осведомилась: «Что вам угодно, уважаемая?» Слова как слова, но взгляд... Так она глянула на эту молочницу, что достопочтенная госпожа Мишотт вмиг была уничтожена, — вернее сказать, морально разбита в пух и прах; она и не пикнула, когда я вместе с Паулой повернула к выходу, не заплатив ни гроша. Потому что впопыхах я и кошелек умудрилась дома забыть.

Паула проводила меня до самого дома, это, впрочем, недалеко, молочная от меня в трех минутах ходьбы, и разговора особого вроде бы не было, а я до сих пор нахожусь под его впечатлением. Паула спросила, из-за чего мы рассорились; да какая там ссора, говорю, не думает же она, будто я способна унизиться до перебранки с этой молочницей, дурой стоеросовой. Это я, конечно, напрасно сболтнула, ведь когда Паула вошла в лавочку, скандал был в полном разгаре. Затем она спросила о тебе, и я сказала ей, что состояние твое, к сожалению, не улучшилось, хотя вот уже шестнадцатый год, как ты переехала жить к своему сыну Миши в Гармиш-Партенкирхен, где за тобой смотрят самые лучшие врачи. Паула попросила передать, что она тебя целует, а потом сказала еще, что шляпка на мне — просто загляденье и очень меня молодит. И тут, представляешь, Гиза, вместо того, чтобы признаться, что шляпка эта вовсе не моя, а какой-то незнакомой мне женщины и очутилась на голове у меня чисто случайно, я наплела ей, будто отхватила шляпку в центре, за двести пятьдесят форинтов. Кончилось тем, что мы с Паулой договорились встретиться во вторник после обеда, посидеть в «Нарциссе». Ты это кафе не знаешь, его открыли лишь в прошлом году на улице Ваца, и я там не бывала ни разу, так, разве что походя заглянешь когда в окно; терпеть не могу эти шикарные заведения.

Как видишь, ни о чем особенном мы с ней не говорили, так, больше о пустяках, но с тех пор, о чем бы я ни подумала, я тут же ловлю себя на мысли: вот бы хорошо обсудить это с Паулой! Едва дождалась я вторника; мне кажется, Паула влияет на меня, как ты. Вспомни то золотое времечко, когда мы жили в Лете! Постоянно со

мною что-нибудь да случалось, огорчение за огорчением, обида за обидой, но если ты была рядом, стоило тебе только сказать: «Ну, что с тобой, *Liebling?*»¹ — и бед моих как не бывало, ты всем существом своим давала мне почувствовать, сколь мелки все мои обиды в сравнении с миром возвышенных переживаний. Вот и Паула такая же. Это у вас от природы. Я имею в виду не только ее безукоризненный вкус, ее умение одеваться, но и свойственную ей врожденную элегантность, то внутреннее благородство, каким обладал наш милый, добрый папа, который, несмотря на свою стокилограммовую комплекцию, заляпанные грязью сапоги и видавшие виды бриджи, сумел снискать всеобщее уважение, начиная со старого Данцигера до дядюшки Лайоша, весовщика. Редкостный дар, свойственный людям благородной души!

На этом кончаю, тороплюсь в «Нарцисс». Со вторника мы встречаемся там каждый день.

4

МЕЖДУГОРОДНЫЙ ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР

— Что все-таки она тебе сказала?

— Что она-де не обязана отпустить молоко по пятьдесят граммов.

— Взяла бы не пятьдесят граммов, а больше.

— Кошке и этого с лихвой хватает.

— И из-за этого вы с ней поссорились?

— Нет, до ссоры было еще далеко. Тут я таким медовым голосом ее и спрашиваю: «Где это сказано, милочка? Может, у вас такое объявление висит?»

— А она что в ответ?

— Что, мол, нет надобности вывешивать такие объявления, и без того каждому понятно.

— А ты что?

— Я свое гну: должно, мол, быть объявление.

— А она что?

— Пустилась объяснять, что молочная по воскресеньям открыта, чтобы снабжать молоком грудных младенцев и вообще детей, а вовсе не кошек или других каких тварей. Вот тут я почувствовала, что меня бросило в жар.

— И что же ты ей ответила?

¹ Милая (*нем.*).

— Я ее спрашиваю, все так же вежливо: «Почему же это у вас нигде не оговорено в объявлении, моя милая?»

— А она тебе что?

— Это, мол, само собой разумеется, а стало быть, и в объявлении ни к чему оговаривать.

— А ты ей?

— Тут я и говорю ей: как же так, пишут же, что хлебные изделия руками трогать запрещается, хотя это и так всякому понятно. Выходит, и правила работы молочной нелишне было бы вывесить.

— А она что?

— Всего, говорит, не вывесишь.

— Ну а ты?

— Надо, говорю, так вывесишь.

— А она?

— Нет, не вывесишь.

— А ты что же?

— Стою на своем.

— И конечно, голос повысила?

— Тогда еще нет.

— Значит, она первой начала перебранку?

— Да нет, вообще-то первой сорвалась я. А что мне еще оставалось, если эта мегера потребовала, чтобы я немедленно освободила магазин. Это почему же, спрашиваю, по какому такому праву? По тому самому, отвечает, что с кошками и собаками в молочную вход запрещен. Может, у вас и объявление такое есть, спрашиваю. Есть, говорит, как раз у вас над головой висит.

— И что, там в самом деле было вывешено такое объявление?

— Представь себе, было!

— В таком случае молочница совершенно права.

— Вот именно! Оттого я и взорвалась!

— Чего же ты ей наговорила?

— Уж будь спокойна, все ей выложила, что за месяцы накопилось.

— Нагрубила ей?

— Знаешь, в таких случаях, как я себя ни сдерживаю, а что-нибудь да сорвется с языка.

— И что же именно ты ей сказала?

— Дура ты, говорю, толстопердая.

— Что-что? Прости, я не поняла.

— И неважно; так, пустяки.

— Наверное, это оскорбительное слово?

— Ты когда-нибудь слышала, чтобы я оскорбила кого?
— Насколько помню, мне иногда приходилось тебя одергивать.

— Да уж, крепкие словечки тебе всегда были не по душе.

— А остальные покупатели, они тоже ввязались в перебранку?

— Все были за меня! Видишь ли, эта молочница всем в округе давно поперек горла стояла.

— И здесь, по ходу действия, появилась эта твоя Паула!

— Ирония тут совершенно неуместна.

— Ирония? В чем ты усматриваешь иронию?

— По тону чувствую.

— Ну, что ты, родная, тебе показалось.

— Судя по всему, моя новая приятельница тебе чем-то не нравится?

— Заблуждаешься. Не нравится мне другое: что ты появляешься на людях неряшливо одетой.

— Некогда мне было одеваться! Говорю тебе, кошка сбежала.

— Не стоило горячку пороть, вернулась бы твоя кошка и сама.

— Как это вернулась? Ведь убежала-то она от соседки, из ее квартиры.

— Объясни тогда, каким образом ты сама очутилась у соседки, и в таком виде, полуодетая?

— Сколько минут мы с тобой разговариваем?

— Пусть это тебя не заботит.

— Звонок влетит тебе в копеечку!

— Говорю тебе, это несущественно. Так что с соседкой, она была нездорова?

— Ее вообще не было дома.

— Как же ты, полуодетая, оказалась у соседки, в пустой квартире?

— Гиза, это совсем неинтересно.

— Напротив, мне крайне интересно.

— Ну, скажи на милость, зачем тебе вникать во все эти мелочи?

— Затем, что я беспокоюсь о тебе.

— У тебя нет никаких причин за меня беспокоиться.

— Возможно, всему виной обычная твоя взбалмошность, но по твоему письму я поняла, что у тебя не все благополучно.

— С чего ты взяла?
— Читается между строк.
— Как это между строк?
— Да и по тону твоему тоже чувствуется.
— Тогда я расскажу тебе все как есть, лишь бы ты успокоилась, Гиза. Видишь ли, эта моя соседка, она, конечно, женщина добрая, но уж очень забитая. Ее и по имени-то никто не зовет, все Мышка да Мышка. Она оставляет мне ключ от своей квартиры, потому что сама целыми днями на работе, а шляпки мастерит только в свободное время. Так вот, в тот самый день, только я начала одеваться, как позвонила одна ее заказчица, хотела узнать, готова ли ее шляпка. Я — в соседнюю квартиру с кошкой на руках. Вижу, шляпка лежит готовая... Ну я и не утерпела, дай, думаю, примерю! Кошку я спустила на пол, буквально на минуту какую, не больше, а эта мерзавка сразу шмыг за дверь и — вниз по лестнице.

— Ты, конечно, за ней?
— А что мне еще оставалось?
— В чем была, в том и выскочила на люди?
— Да еще пришлось гоняться за ней по всему кварталу.

— Как ты могла!
— Разве ты на моем месте поступила бы иначе?
— В целом мире нет кошки, ради которой я рискнула бы показаться на улице небрежно одетой.

— Ты ведь знаешь, что это не моя кошка, а моих соседей. Просто она ко мне очень привязана. Можешь себе представить, что было бы с соседями, пропади их обожаемая кошка, тем более что они и так ее ко мне ревнуют.

— Об этом ты мне не писала.
— О чем это я тебе не писала?
— Ты писала, что адьюнкт и его супруга на редкость деликатные и вежливые люди, и ни словом не обмолвилась о ревности.

— Ничего тут интересного нет!
— Напротив: интересно, чем вызвана их ревность.
— Они вообразили, будто бы я приманиваю их кошку.
— И чем же ты ее приманиваешь?
— Во сколько обходится каждая минута нашего разговора?

— Повторяю, это не должно тебя беспокоить.

— А я не успокоюсь, пока не узнаю, сколько будет стоить наш разговор.

— Ничего он не будет стоить.

— Этого не может быть.

— Счет за переговоры приплюсуют к расходам предприятия.

— Миши — владелец предприятия, значит, он и платит из своего кармана?

— Повторяю, счет отнесут к накладным расходам.

— Так или иначе, а платить ему!

— Миши это скорее обрадует. Чем больше счет за междугородные переговоры, тем ниже налоги на прибыль.

— Уму непостижимо!

— Так чем ты приманиваешь кошку своих соседей?

— Даю ей блюдечко молока.

— И только?

— Иногда мясцом побалую.

— По-твоему, это корректно?

— Кто виноват, что мои соседи — чересчур шепетильны!

— В подобной ситуации я тоже почувствовала бы себя задетой.

— Хочешь сказать, на их месте ты бы обиделась?

— Разумеется.

— Потому что и ты такая же шепетильная.

— Впервые слышу.

— Потому что сейчас ты впервые обижена на меня.

— С чего ты взяла?

— По всему нашему разговору чувствуется.

— Я ничем не дала понять, что обижена.

— Потому, что ты не откровенна со мной.

— Ты отлично знаешь, что я всегда откровенна с тобой.

— Тебя что-то угнетает, я сразу же это почувствовала.

— Не понимаю. На что ты намекаешь?

— Я имею в виду Паулу.

— Очередные твои фантазии! Пойми ты, глупая, если у тебя появилась новая подруга, с которой тебе хорошо, я могу только радоваться за тебя.

— Я знаю, что ты за меня радуешься, и все же твоя радость чем-то омрачена.

— Заблуждаешься. Вот разве что в письме твоём было одно суждение, которое мне кажется несколько поспешным.

- Какое еще суждение?
- Ты пишешь, будто бы эта Паула оказывает на тебя точно такое же влияние, как я.
- Ты меня удивляешь, Гиза!
- Чем же именно, моя дорогая?
- В моем понимании, это наивысшая похвала. Я ведь прямо так и написала, что по своей утонченной натуре и душевному благородству она напоминает мне тебя.
- А между тем эта особа — крашеная блондинка и носит светло-ореховый джерсовый костюм. По-твоему, и в этом мы с нею схожи?
- Ты ведь тоже очень следишь за своими нарядами, Гиза.
- Меня обязывает к этому положение, которое я занимаю в доме моего сына. Но, видишь ли, даже самые дорогие мои парижские туалеты приличествуют моему возрасту. Что же касается волос, то я, как ты знаешь, не блондинка, а седая.
- Тебе и тут повезло, седина у тебя дивная. Хотя, признаться, я не вижу греха в том, что кто-то красит волосы.
- И ты еще пытаешься ее защищать?
- Нужна ей моя защита! Да в наше время миллионы и миллионы женщин красят волосы.
- Повтори, пожалуйста, что ты сказала?
- Чего повторить?
- Последнюю свою фразу.
- А что я такого сказала? Действительно, сейчас миллионы женщин красятся.
- Так я и подозревала.
- Что именно?
- Подозревала, что ты буквально во всем подражаешь этой своей Пауле.
- В чем это я ей подражаю?
- Ты тоже превратилась в блондинку?
- Ума не приложу, с чего тебе это взбрело в голову...
- Отвечай: да или нет?
- Должна тебе сказать, Гиза, ты меня удивляешь.
- Тогда поклянись, что не красилась. Самым дорогим поклянись: памятью покойного отца.
- Вот еще, давать такую клятву из-за сущих пустяков!
- Значит, ты все-таки блондинка?
- Вовсе я не блондинка.

— Следует понимать, что дражайшая Паула посоветовала тебе какой-то другой оттенок?

— Ну, можно ли в таком тоне говорить о человеке, который спас нас с мужем от голодной смерти?

— Я говорю о тебе.

— А достается Пауле.

— Меня тревожит только твоя участь.

— Ну, так пусть моя участь тебя не тревожит.

— Через пять минут тебе же самой стыдно будет за эту ссору.

— Какая ссора? Да я в жизни ни с кем не ссорилась!

— Напротив. Всю жизнь тебе доставляло удовольствие ссориться.

— Давай кончим разговор, дорогая.

— Я хотела предложить тебе то же самое.

— Миши передай привет от меня.

— Обязательно передам.

— Хильдегард и обоим твоим внучатам тоже.

— Спасибо.

— Целую тебя, Гиза.

— Береги себя, пожалуйста.

— Нечего мне беречься.

— Покойной ночи, дорогая!

— Покойной ночи.

5

ПИСЬМА

Буданеит

Скажи на милость: если взять, к примеру, банку сардин в масле и бросить в море, то сардинам от этого легче, что ли, станет?

Я к тому, дорогая Гиза, что ты пребываешь именно в таком заблуждении. Живешь ты в роскошном замке, где самый воздух, которым дышишь, и тот стерилизован. Понадобится тебе в Мюнхен на электротерапию, тебя доставляют персональным вертолетом. Твои трогательные письма ко мне — сама доброта и участие, но за шестнадцать лет ты умудрилась начисто забыть (возможно, потому, что тебе так и не пришлось испытать это на себе), что для меня поставить самую обычную пломбу — значит убить полдня. И не просто ожидаешь в приемной, а еще успеешь раз пят-

надцать переругаться в очереди: кто раньше пришел, да кто за кем занимал.

Не думай, что от посылки с одеждой я отказываюсь из ложной гордости, просто все это мне ни к селу ни к городу и ничуть не поправило бы моего положения. Скажу тебе больше: не только наряды твои не соответствуют моим условиям жизни, но и взгляды на жизнь у нас разные.

Мне ужасно стыдно, что я таким раздраженным тоном говорила с тобой в прошлый раз; нашла с кем ругаться, ведь ближе тебя у меня никого нет в целом мире. Но стоит мне почувствовать, как ты со своих моральных высот снисходишь к простым смертным, и я тотчас же закусьваю удила. Очень мило с твоей стороны, что ты проявляешь обо мне заботу, хотя я терпеть не могу, когда меня опекают. И вообще не понимаю, чего ты беспокоишься за меня именно теперь, когда надо бы радоваться?

Так знай же: я действительно покрасила волосы и не вижу в том никакого греха. Паула отвела меня к своему мастеру, и тот с первого взгляда определил, какой цвет мне больше всего к лицу: теплый, неброский оттенок красного дерева с чуть заметным бронзовым отливом. Мастера зовут Фабиан. В Познани, на международном конкурсе парикмахеров ему присудили первое место. Фабиан сказал, что это и есть мой стиль, а седина искажала мой природный облик.

Знаю, что ты сейчас обо мне думаешь. Не сердись, пожалуйста, но в данном случае мне совершенно безразлично твое мнение. И не вздумай обижаться или ссылаться на свой собственный пример. Я не намерена сносить твои высококонрастные поучения. Кстати сказать, такого человека, как твой Миши, еще поискать. В сущности, ты больше, чем полноправный член семьи, с тобой в доме очень и очень считаются. У вас общая жизнь с общими интересами. К каждому твоему слову прислушиваются, за столом тебе отведено главное место, ты принимаешь гостей на правах хозяйки дома... У тебя есть сын, невестка, двое внучат; у меня же — только дочь, которая по пятницам звонит мне с работы, чтобы я не забыла в воскресенье прийти к ним обедать. Будто можно забыть эти воскресные обеды!

Там свечей не зажигают. Не приглашают медицинских светил или каких других знаменитостей, не подают к сто-

лу ни лангуст, ни лососины; дежурное блюдо там — запеченный целиком свиной окорок, а я на дух его не переношу. Не подумай, будто я жалуясь: Илуш и зятя мне упрекнуть не в чем. Будь у них ребенок — другое дело. А так — зачем я им? Оба они работают, ни в чем не нуждаются, и от меня им ни тепло, ни холодно. Йожи днюет и ночует у себя в больнице, так что у него даже от выходного костюма и то хлороформом разит. Илуш зубрит иностранные языки и сдает экзамен за экзаменом, потому что за каждый язык полагается надбавка к зарплате. За обедом она тоже практикуется, повторяет названия кушаний по-немецки, по-русски и по-английски, иной раз спохватится, начнет угощать, а при этом даже не смотрит на меня. Йожи, тот хотя бы после обеда вспоминает о моем существовании. «Ну, мама, как здоровье?» — «Все в порядке, сынок». — «Что-то вы сегодня бледны». — «Вроде бы не с чего, сынок». — «Бессонницей не страдаете?» — «Сплю как убитая». — «Так-так, мама, ну а что у вас новенького?» — «Новенькое все у вас, сынок».

Парень он славный, но по-настоящему хорошо чувствует себя только в этой своей больнице для сердечников, а дома прямо не знает, куда деваться от скуки. Как отобедаем, он вскакивает с места, начинает вышагивать по комнате взад-вперед и бормочет себе под нос: сначала потише старается, чтобы Илуш не мешать заниматься. «Так что у вас новенького, мама? Ничего, говорите? Совсем ничего? Так не бывает, мама. Что-нибудь да всегда случается, мама...» И пошло-поехало, хоть ты ему ни слова в ответ, он знай себе крутит одну и ту же пластинку. Когда Илуш надоедает слушать, она или затыкает уши, или одергивает его: «Йожеф, не откажи в любви поскучать молча».

Йожи теряется. «Я вам мешаю, мама?» — обращается он ко мне. «Что ты, сынок, нисколько!» У Йожи — камень с души, он опять принимается расхаживать по комнате и склонять маму на все лады. Сперва мурлычет потихоньку, потом расходится и напевает в полный голос: «Мам-ма, ма-ма-ма, мам-ма-мам-ма-ма...» Я смотрю на часы. Мне пора. Йожи вошел в раж, теперь он вопит во всю мочь и размахивает руками, как заправский дирижер: «Мам-ма-ма, ма-ма-ма, мам-ма-ма...»

Я спускаюсь по лестнице, выхожу из подъезда, но ругады его слышны даже на улице, сегодня весь день

меня будет преследовать его голос. Так проходят мои воскресные обеды в семейном кругу. Таков мой Гармиш-Партенкирхен. Но это еще не все.

Я стряпаю ужины для своих соседей, адьюнкта и его жены, и каждый вечер (кроме четверга) сама ужинаю вместе с ними. Тут за столом никто не поет. Манеры у них безупречные, кушают они чинно, беседуют так же благовоспитанно и только о своих научных делах. Аннуш когда-то была студенткой этого адьюнкта и до сих пор ловит каждое его слово. Стоит ему заговорить, и она от великого почтения носом шмыгнуть боится. Меня же они попросту не замечают. Насколько помню, они ни разу не обратились ко мне с каким-нибудь вопросом. Я для них — неотъемлемое приложение к ужину, только разве что несъедобное. Но эти хоть, по крайней мере, не замечают меня учтиво!

И, наконец, четверги. Я уже не говорю о Викторе, которого ты на дух не переносишь со времен нашей юности. С тех пор, как ты его не видела, он стал еще толще, еще прожорливее, ведет себя еще более шумно и слюною брызжет пуще прежнего. За столом возможны только два варианта: или он бутылку опрокинет, или бокал разобьет. И беседы мы ведем не о высоких материях, а о мозговой косточке. (От нее у Виктора понос. Как только съест, сразу же и проносит. С чего бы это, интересно? То ли жирной пищи желудок не принимает? А может, это у него от самовнушения? Вот тут и думай что хочешь.) Стоит мне вспомнить про предстоящий ужин, меня уже в среду начинает трясти. Вернее, начинало трясти, потому что Пауле, которую ты явно не жалуешь, за несколько недель удалось сотворить чудо!

Извини за откровенность, Гиза, но ты всегда была склонна судить о людях по внешнему впечатлению. Так же и с Паулой. Ты придралась к ее наружности, но какое может иметь значение то, что она красится под блондинку? Хотя для женщины отнюдь не маловажно (это я тоже усвоила у Паулы), следит она за своей внешностью или нет.

Я в этом смысле совсем было крест на себе поставила. Человек поневоле приноравливается к обстоятельствам. Кого другие ни во что ни ставят, тому и впрямь грош цена. Да и чего, спрашивается, обращать внимание на зачуханную, занудную старую бабу, вырядившуюся точно пугало огородное!

Началось с того, что Паула отдала мне, то есть форменным образом заставила меня принять в подарок свой джерсовый костюм, тот самый, орехового цвета.

Затем умолила меня забросить куда подальше обычные мои высокие башмаки со шнуровкой. Я поначалу возражала, что ношу их по предписанию врача и что у меня даже в ортопедической обуви и то отекают ноги, но Паула подняла меня на смех. Если соблюдать все врачебные предписания, сказала она, в два счета свихнешься. И она оказалась права!

Из тех денег, что соседи выделили на питание, я купила себе туфли на среднем каблуке, и, к великому моему удивлению, ноги у меня отекают в них ничуть не больше, чем в тех безобразных опорках. А уж какое это чувство — ходить в красивой обуви — и передать невозможно!

Но и на этом дело не кончилось. В один прекрасный день прихожу это я домой и вижу: на столе красуется коричневая шляпка — точная копия той, которую я тогда так некстати вздумала примерить. Оказывается, Мышка решила сделать мне сюрприз. В честь чего это? «В знак моей признательности», — говорит. Словом, одна приятная неожиданность за другой.

Теперь меня не узнать! Я стала элегантной дамой. Но даже не это самое главное. Гораздо важнее, что мне наконец посчастливилось встретить человека, который внимателен, заботлив ко мне, интересуется мною, расспрашивает меня... Расспросам Паулы нет конца! Ей хочется знать обо мне все, до последней мелочи, и все, что я ни рассказываю, ей интересно. Для меня же (ведь никто давным-давно не интересовался мною) эта новая игра в вопросы-ответы — все равно, что второе рождение. С тех пор как мы расстались с тобою, я впервые сейчас почувствовала, что кому-то нужна. Да и мое отношение к себе переменялось.

Когда Паула, «та самая Паула», как ты ее титулуешь, начала свои расспросы, в памяти моей всплыла уйма таких подробностей прошлого, которые казались совсем незначительными даже мне самой, не то что человеку постороннему. Например, что я когда-то, еще до замужества, полтора года училась пению в Музыкальной академии. Стало быть, у меня не только прекрасный слух, но и развитый музыкальный вкус! И как это замечательно, что я, оказывается, умею готовить крем а-ля Малахоф. Ну, а что я помню весь оперный репертуар за последние двадцать

пять лет и даже могу сказать, кто какую партию п е л , — поистине феноменально!

В этом вся Паула! Вот ее подлинный облик! И то, что я на протяжении нескольких недель ни разу ни с кем не ссорилась, — тоже заслуга Паулы, я попросту перестала замечать досадные повседневные мелочи, зато, наоборот, мне то и дело вспоминаются приятные события прошлого. К примеру, я вспомнила, что где-то должна храниться старая фотография, на которой сняты мы обе; где я только ее ни искала, но так и не нашла. Я уж подумала, может, ты ее увезла с собой? Фотография была сделана в Лете, теплым утром, после пикника; тогда я впервые в жизни надела кисейное платье... Тем летом в нашей компании появился бедняга Бела, но я по-прежнему была без ума от Виктора Чермлени и не знала, на ком из них остановить свой выбор. Из-за какого-то экзамена в университете Виктор мог выехать из Пешта только утренним скорым поездом, и я всю ночь напролет танцевала с Белой. Бела тогда носил форму, потому что время было военное. Наутро приехал Виктор; это была его идея — покататься на лодке. Завидев лодку, скользящую вдоль непроточного рукава Тисы, мы припустились бежать по косогору вниз, к берегу; мы смеялись, размахивали руками и кричали: «Виктор, сюда, Виктор, мы тебя ждем!» Мне и теперь иной раз хочется подхватиться бездумно и побежать, чтобы каждая клеточка трепетала от счастья!

Всем этим я обязана Пауле. Вчера, к примеру, возвращаясь вечером из «Нарцисса», я вдруг включила радио, чего не делала с незапамятных времен. Исполняли «Дон Карлоса», по трансляции из Зальцбурга. Я начала слушать и не могла оторваться. Соседям пришлось довольствоваться холодными закусками на ужин, а мне самой кусок в горло не шел. Потом я позвонила Пауле, чтобы она тоже включила радиоприемник. И представь себе, я, которая годами обходилась без музыки, вновь прослушала от начала до конца целую оперу! Музыка переполняла всю мою душу, музыка и сладостное сознание, что через каких-то пять улиц от моего дома то же самое слушает, чувствует, переживает Паула.

Да-да, та самая Паула, к которой ты почему-то настроена так предубежденно, вместо того чтобы быть ей благодарной за меня!

Я поняла свою вину, Эржи! Прости меня.

Признаюсь, что к чувству моей тревоги за тебя примешивалась ревность. Не потому, что я прикована к инвалидному креслу, ты же, напротив, не мыслишь жизни без суеты и движения; характеры у нас с тобой всегда были разные, еще до того, как меня парализовало. Мне кажется, мы потому и любили друг друга, что каждая из нас всегда находила в другой черты, достойные зависти. К Пауле я отнеслась с предубеждением, видя растущую твою к ней привязанность. Я постараюсь подавить свою антипатию. Прошу тебя, передай ей привет от меня.

Мое письмо к тебе сегодня будет кратким, поскольку пишу я в постели. Не тревожься, я просто устала. Наша семейная усыпальница готова, и с утра мы вместе с Миши и Хильдегард ездили на кладбище. Для поездки выбрали большой черный «мерседес», потому что багажник его вмещает мое инвалидное кресло; сиделку мы с собой не взяли, и Миши сам катил мое кресло от машины до усыпальницы. Здесь это мода — сооружать склепы; на кладбище имеется определенный участок, где каждая состоятельная семья за бешеные деньги приобретает место и воздвигает фамильный склеп. Нашу усыпальницу украшает черное мраморное изваяние ангела с воздетыми к небу очами — творение талантливого баварского скульптора. Внутри очень просторно, так что Миши смог внести меня на руках; места здесь хватит на пятерых, и к тому же предусмотрен проект расширения, когда после внуков дойдет черед и до правнуков. Я не страшусь смерти, и все же меня невольно бросило в дрожь; очевидно, Миши понял мое состояние, потому что спросил: «Пожалуй, не стоило нам сюда приезжать, мама?» Я ответила ему стихотворной строкой из Виктора Гюго: «Hélas! que j'en ai vu mourir des jeunes filles!» Что в переводе звучит приблизительно так: «Я видел: беспощадна смерть. Что старец ей, что дева в цвете лет».

Кстати, мне вспомнилась сейчас та фотография, сделанная в Лете; в моей резной шкатулке ее нет. Она либо осталась у тебя, либо утеряна вообще. Но память кое в чем обманывает тебя. Снимок действительно сделан в Лете, однако не ранним утром, а после полудня, перед пикником. Шла война, мы же в тот день ждали папу, которого повесткой затребовали в Солнок на переосвиде-

тельствование. И наконец мы увидели, как по дороге, вдоль непроточного рукава Тисы, пылит бричка, и затем увидели папу; он издали махал нам рукой.

Папа был в гражданском, значит, его снова признали негодным к военной службе. Мы бросились ему навстречу, бежали вниз по кособогу с радостными криками: «Папа, папа!»

И еще ты заблуждаешься, полагая, будто бы я здесь, в Гармиш-Партенкирхене, являюсь душою общества. Я всего лишь старая женщина, из той породы людей, которые решаются открыто признать свою старость. Кстати сказать, это единственно правильная линия поведения, только тогда молодежь мирится с фактом нашего существования. Не сочти это очередным поучением; мой особый взгляд на старость, как и многое другое, проистекает от нашего с тобою различия в темпераментах. Меня парализовало, и я смирилась с этим. Теперь я состарилась, большую часть времени провожу в одиночестве, но стараюсь и одиночество свое переносить достойно — с гордо поднятой головой. Поверь мне, юность приносит человеку гораздо больше мук, нежели старость, когда для нас уже практически не существует выбора. Однако труднее всего переносить старость, которая убаюкивает себя иллюзиями о непреходящей молодости.

Между прочим, ореховый цвет, если он приглушенного оттенка, не обязательно будет производить впечатление, будто человек молодится. Так что можешь носить этот костюм со спокойной совестью. Не знаю только, как объяснить, что от меня ты упорно отказывалась принять какой бы то ни было подарок, даже посылку с одеждой, а от Паулы приняла? Я нахожу это по меньшей мере странным.

Будапешт

Чтобы сразу положить конец всем нашим размолвкам: можешь прислать мне то черное платье из голландских кружев, о котором ты недавно писала, — в особенности если оно без рукавов, то есть может сойти за вечерний туалет. И хорошо бы авиапочтой! Дело в том, что в пятницу, через две недели Общество венгеро-советской дружбы устраивает в Пештэржебете концерт, где Виктор исполнит романс Римского-Корсакова, и — представь себе! — мы будем там вместе с Паулой. Если уж все идет

к тому, что я должна буду познакомить ее с Виктором, то надо, по крайней мере, показать его с лучшей стороны.

Одним словом, мне не удалось открутиться, как я ни отбивалась руками-ногами! Понапрасну я старалась быть осмотрительной, понапрасну следила за каждым своим словом, и в Викторе — так же, как и во мне или в любом другом человеке — Паула нашла нечто привлекательное, хотя меня бросает в дрожь при одной только мысли, что эти люди могут встретиться и что Паула увидит его за едой! Тебе еще в давние времена становилось дурно от его манер, а с тех пор склонность к обжорству еще больше развилась в нем, приобрела новые краски и оттенки. То, что за столом он обязательно опрокинет бокал, — теперь уже в порядке вещей. Что обольется и обсыплет крошками костюм — тоже дело привычное; что весь ковер вокруг него будет сплошь в жирных пятнах, объедках и сигарном пепле — это тоже как закон. Но вот новая его привычка после каждого блюда лезть пальцем в рот, выковыривать застрявшие между зубов волокна мяса и потом с неожиданной для него педантичностью выкладывать их по краю тарелки!.. Лучше не продолжать, не то тебе и впрямь дурно станет. И чтобы все это видела Паула? Нет уж, только через мой труп!

Я взяла и написала ему письмо. Сослалась на то, что у меня отекают ноги, я-де не могу обуть башмаки, а стало быть, ни закупить продукты, ни приготовить ужин не сумею. К величайшему своему сожалению, я вынуждена на неопределенное время отложить эти четверговые трапезы. А еще я просила его не звонить мне по телефону: даже от постели до телефона добраться и то, мол, трудно.

Отправила письмо, и у меня как гора с плеч свалилась. Пусть-ка его теперь пичкает престарелая маменька, Аделаида Чермлени-Брукнер, почетный член оперной труппы!

РАЗГОВОР В «НАРЦИССЕ»

Отрывок, выхваченный наугад

- И еще у тебя был поклонник.
- Ты что-то путаешь.
- О нет, я не ошибаюсь.
- Я всегда оставалась верна своему мужу.

— Именно он-то и прохаживался по адресу твоего поклонника.

— Бела! Когда же это?

— Привратник со своим семейством захватил тогда в бомбоубежище самый теплый угол. В рождественский вечер они завели патефон, у них было с собой несколько пластинок...

— Смутно припоминаю.

— Все мы, кто отсиживался в бомбоубежище, потянулись к ним, поближе к патефону. И тогда твой муж сказал: «Узнаешь? Ведь это поет твой дыхатель».

— Трудно поверить! Мой Бела, бедняга, и знать не знал, что такое ревность.

— Он говорил шутливо.

— Тогда вполне возможно.

— Однако сама ты даже не улыбнулась.

— Ну и память у тебя!

— Так что случилось с твоим поклонником? Он жив-здоров?

— Да.

— Встречаешься с ним?

— Встречаюсь, изредка.

— Что значит «изредка»?

— По четвергам он ужинает у меня.

— Но это же прекрасно!

— Прекрасно? Да ничего подобного! Если бы ты его видела...

— А в чем дело? Как он выглядит?

— Как дирижабль. Огромный живот, точно воздухом надутый. Можно подумать, будто он только вдыхает в себя и не выдыхает.

— Как же его зовут?

— А его манеры, это какой-то ужас! Уж на что я не привередлива, но меня от его ухаживаний с души воротит.

— В этом есть нечто трогательное.

— Тут только ты, чувствительная душа, можешь усмотреть нечто трогательное.

— Ну а все-таки, как же его зовут?

— Разговаривает этот человек только с набитым ртом, впрочем, по-другому он и говорить не способен, потому что все время жует не переставая.

— Ты, конечно, преувеличиваешь!

— Какое там, вернее сказать, приукрашиваю! Взять, к примеру, хоть прошлый четверг. Представь себе, снача-

ла он съел целиком каплуна из супа, потом запеченный, окорок килограмма этак на полтора, а на заедку умял полный противень слоеного рулета.

— Мне импонирует его непосредственность!

— И не успеет он прикончить одно блюдо, как уже требует подать к столу следующее; ему-де необходимо видеть, что еще его ждет.

— По-моему, он душка! Так и не скажешь, как его зовут?

— А разве я не сказала?

— Покамест нет.

— Я думаю, его имя вряд ли тебе известно.

— Не хочешь, не говори.

— Его зовут Виктор Чермлени.

— Виктор Чермлени? Как же ты могла подумать, буд-то это имя мне не известно!

— Мне казалось, ты не увлекаешься оперой.

— Но Чермлени... Да это имя знает любой и каждый! Певец с мировой славой!

— Был когда-то. А теперь он, бедняга, ведет хоровой кружок при хлопчатобумажном комбинате.

— Неужели пенсия так мала?

— Он не ради денег. Пенсии ему хватает.

— По-моему, он — прелесть. Скажи, а в концертах он разве не выступает?

— Только в домах культуры, да и то редко и не с сольной программой. Его предел — один-два коротких романса. Дыхания ему не хватает.

— Почему?

— У него эмфизема легких.

— Это прекрасно!

— Не понимаю, что тут прекрасного.

— Что он поет вопреки всему.

— И голос у него не тот, что прежде.

— В том-то и смысл.

— Теперь я вообще отказываюсь тебя понимать.

— Мне нравится, когда человек, зная, что у него эмфизема легких, дерзает выступать — пусть на клубной сцене — и поет, насколько хватает дыхания.

— Над этим я как-то не задумывалась.

— Мне хотелось бы с ним познакомиться.

— Тебя ждет полнейшее разочарование.

— Почему же?

— По той простой причине, что эта благородная нату-

ра существует лишь в твоём воображении. А на самом деле он в точности таков, как я его описала: шумный, неряшливый, совершенно невыносимый тип...

— Странно, что своего покойного мужа ты только добром поминаешь, а этого Виктора совсем с грязью смешала.

— Ну, и что тут странного?

— Можно подумать, будто ты к нему равнодушна.

— К кому?

— К этому Чермлени.

— Я? К нему равнодушна?.. Скажешь тоже!

7

ПИСЬМА

(Продолжение)

Будапешт

Гиза, родная моя, продолжаю свой рассказ.

Жизнь — фантастическая штука, сплошное нагромождение чудес, лавина событий, одно удивительнее другого.

Во-первых, не могу объяснить загадочный случай с письмом, которое я отправила Виктору, прося его не приходить в следующий четверг. То ли я забыла надписать адрес, то ли не наклеила марку, но факт остается фактом: письма он не получил. А выяснилось это в четверг вечером, когда я, возвратясь из кино, застала его перед входной дверью.

Соседи мои по четвергам ужинают у родителей супруги адъютанта. Я заявилась домой что-то около полдевятого, и он, должно быть, уже порядком обрывал звонок. Ты спросишь, каким это образом я проболталась неведомо где до позднего вечера? Но это уже особая статья.

«Бориса Годунова» я не слышала лет пятнадцать. Да мне и не хотелось его слышать; возможно, потому, что в былое время именно в этой опере Виктор пользовался самым шумным успехом. (Он выступал в Берлине вместе с Лоттой Леман, и успех был потрясающий.) На этот раз я досидела только до антракта. Партию Бориса пел итальянец, я же не могла избавиться от наваждения, будто вижу и слышу Виктора — такого, каким он представляется

ся Пауле; вместо теперешнего неряхи и обжоры, страдающего эмфиземой легких и утратившего голос, я видела Виктора из далекого прошлого: молодого, в расцвете сил, обладателя редчайшего полнозвучного голоса... Стены тесного кинозала точно раздвинулись, открыв бескрайнюю россыпь звезд, и холодок восторга будто омыл и омолодил мою душу; затуманенными от слез глазами я взирала на итальянского певца, как девчонка-подросток — на недостижимого кумира. Во время антракта мы с Паулой вышли в фойе; все стены там, к моему величайшему огорчению, были сплошь зеркальные. Как ни вертись, на тебя отовсюду смотрит старая женщина: под глазами мешки, нос крючком, шея морщинистая. Я соврала Пауле, что чувствую себя неважно, и сбежала. Долго бродила по улицам, выбирая уголки потемнее, и наконец на площади Алмаши отыскала скамейку, куда не доставал свет фонарей. Я вполголоса пропела, такт за тактом, все ведущие арии из «Бориса», а потом направилась домой, все ускоряя шаги, точно меня что-то гнало. По лестнице я взлетела бегом и увидела, что перед дверью дожидается Виктор. Пораженная, я уставилась на него. Он — на меня. Виктор впервые увидел меня с темными волосами, в моей новой шляпке и в костюме орехового цвета. «Что это с вами?» — спросил он. «Вы как здесь очутились?» — это я ему вопросом на вопрос. «Разве сегодня не четверг?» — спросил он. «Вы что, не получили моего письма?» — спросила я. При этом мы, не отрываясь, смотрели друг на друга и даже не вникали в смысл того, что говорим. «О каком письме речь?» — спросил он. «Теперь уже неважно», — сказала я. «Нет, важно», — это он мне. Неважно, сказала я, беда лишь в том, что мне нечего предложить ему на ужин. Разве что поджарить яичницу с колбасой. «Да провались она, яичница эта», — говорит он, а сам глаз с меня не сводит. — Ангел мой, встретить я вас на улице, не узнал бы, ей-богу».

Виктор ушел домой, когда парадное было уже заперто. К еде он даже не притронулся. С первой минуты и до последней мы оба были страшно смущены. Понятия не имею, что именно на него так подействовало, ну, а я... Словом, Гиза, дорогая моя, Виктора будто подменили! Не верилось, что это он еще совсем недавно сладострастно стонал, едва я успеваю поставить на стол куриный суп: «Где же моя обожаемая, возжеленная печеночка?..» На этот раз он не кричал, не стонал и даже отбросил обычную свою по-

шловатую манеру ухаживания: «Чаровница! Богиня! Спасительница вы моя! Свет очей моих! Вон она, вон она плавает, несравненная эта печеночка! Ловите же ее поскорее, сюда ее, в тарелку! О-о, наконец-то! Преклоняюсь перед величием сей нации, давшей миру...» Гиза, дорогая, ты не поверишь, но он за весь вечер не произнес ни одной из своих трескучих фраз. Сама я почти не говорила, я слушала Виктора, а он рассказывал о Джильи, о Джерица, о постановке «Дон-Жуана» в «Метрополитен опера» с Шаляпиным и Эцио Пинца. Я слушала как зачарованная и думала о Пауле: она ни разу не видела этого человека и все-таки поняла его глубже, нежели я. Когда же речь зашла о сводном хоре ткачей, о домах культуры и о выступлениях Виктора в окраинных клубах наравне с чтецами из кружков художественной самодеятельности... Гиза, я чуть не разревелась, потому что в действительности картина оказалась еще сложнее, чем ее расписывала Паула. В действительности Виктор не желает считаться с фактами! Не желает признавать, что у него эмфизема легких, что голоса ему не вернуть и что ему семьдесят один год. Он и по сей день твердо уверен, что он по-прежнему единственный на всю страну певец мирового класса, которого затирают, оттесняют недоброжелатели... Но только, говорит, не на такого напали; он снова пробьется с клубных подмостков на оперную сцену, вплоть до «Ла Скала» и «Метрополитен опера»!

Ах, Гиза, я и сама не знаю, откуда силы взялись все это выдержать! «Скажите, — говорю, — дорогой Виктор, когда состоится ваше ближайшее выступление?» — «В пятницу, через две недели, в Пештэржебете». «Дорогой Виктор, — это опять я е м у, — мне бы хотелось попросить у вас билет». «Уж не собираетесь ли вы прийти?» — спросил он, и глаза его на оплывшем от жира лице вдруг сделались маленькими и острыми. «Вот именно, — сказала я, — собираюсь, и даже не одна, а с подругой, поэтому, надо бы два билета». — «С какой это подругой, с Мышкой, что ли?» — «Нет, Мышка тут ни при чем!» — «А я знаю вашу подругу?» — «Нет, не знаете, но вы сами убедитесь, какая это удивительная натура».

Я так боялась этой встречи, все делала, чтобы не допустить их знакомства, а тут вдруг почувствовала, что вечер в Пештэржебете может стать счастливейшим днем в моей жизни. Судя по всему, Виктор обрадовался тоже. «Спасибо вам от всей души», — сказал он уже в прихожей.

«Это вам спасибо», — ответила я. «Не включайте свет», — попросил он; а надо сказать, что все это время мы стояли в потемках. Чуть какая-то приключилась: я никак не могла нашарить выключатель, хотя двадцать семь лет прожила в этой квартире! «Почему это не включить?» — спросила я. «Так лучше, без света». — «Чем же оно лучше?» — «Тем, что я не вижу самого себя». — «Вы ведь все равно стоите спиной к зеркалу», — сказала я. «Не только в зеркале можно увидеть себя», — ответил он. «А почему вам не хочется видеть себя?» — спросила я. «Не знаю, — сказал он, — а только лучше не видеть».

Свет я зажигать не стала. И говорить мы больше не говорили, так и стояли впотьмах, боясь шелохнуться. Только и слышно было что его тяжелое, хриплое дыхание; это, кстати, тоже признак эмфиземы легких. И тут входная дверь внезапно распахнулась, вернулись домой соседи в самый неподходящий момент. Они включили свет и сделали вид, будто ничего не заметили. Мы рассыпались в любезностях, расшаркивались друг перед дружкой, уступая один другому место в крохотной, с пяточок, прихожей, но я видела, как они переглянулись, потом посмотрели на нас и опять переглянулись. Мы пожелали друг другу спокойной ночи и приятных сновидений. Последняя их фраза: хорошо бы на завтра к ужину разогретую свиную рульку. Других забот мне не хватало! Ничего, мои милые, проголодаетесь, так и друг дружку слопаете!

Гармиш-Партенкирхен

Жан-Поль Дессоз, крупнейший французский теолог нашего времени (он приезжал к нам в сезон охоты на фазанов), не раз говорил Миши: «То, что само по себе кажется правильным, рассматриваемое во взаимосвязи уже не является таковым». При этом он имел в виду определенную политическую систему, но это высказывание распространяется и на тебя; да, правильно, что каждый человек молод, куда чувствует себя молодым, однако последствия такого самовнушения отнюдь не подтверждают правдивости этой системы. Напротив!

Мысль эта преследовала меня, когда я собирала тебе посылку. Авиапочтой ее не приняли бы, но один из иностранных торговых партнеров Миши, венгр, утренним рейсом в понедельник вылетает из Мюнхена в Будапешт и доставит посылку тебе на дом. Если ты признаешь право-

ту логики Дессоэ, то не удивишься, что вместо платья из голландских кружев я посылаю тебе черное шелковое с глухим воротом. Излишне доказывать, что мне для тебя ничего не жалко, и, кроме того, здесь я могу только раз появиться перед гостями в том или ином вечернем туалете; но согласись, что декольтированное кружевное платье из парижского салона показалось бы чересчур претенциозным в этом убогом, окраинном доме культуры. В посылке ты найдешь также два костюма на осень — весну и один зимний из твида, три пуловера и четыре вязаных жакета; эти вещи все до одной неброских тонов и по фасону приличествуют нашему возрасту. Напиши, что еще тебе нужно; у меня два платяных шкафа забиты одеждой. Я так рада, что ты наконец-то оставила эту свою глупую щепетильность!

В доме тихо, Миши и его жена отбыли на две недели в Баден-Баден на отдых. После обеда ко мне приводят внуков, однако и сиделка, и горничная не оставляют нас наедине. А впрочем, я все равно не знала бы, чем занять детей. Помнишь, какие сказки по вечерам рассказывал нам папа? Здесь же очень следят за тем, как бы, не дай бог, не напугать детей. Хильдегард как-то сделала замечание, что-де в моих сказках слишком много черт, ведьм, злых духов, медведей... «Люди в течение тысячелетий воспитывались на подобных сказках», — возразила я. «И вы полагаете, такое воспитание оправдало себя?» — спросила она. Что я могла сказать на это? Быть может, они правы. Я сочла за лучшее отказаться от сказок.

По утрам меня на «мерседесе» отвозят в окрестности замка, расположенного неподалеку, затем сиделка катит мое кресло к берегу озера, и я на час предоставляю ей полную свободу: у нее там поблизости живет сестра. Ты, Эржи, неугомонный, общительный человек, ты постоянно в бегах и хлопотах, поэтому ты даже не в состоянии представить себе, сколько радости и умиротворения может доставить один-единственный час, проведенный на берегу озера, где плавают белые и черные лебеди. Один лебедь стал узнавать меня. Всякий раз я беру с собой роголик, крошу его и скармливаю лебедю, однако же не сразу, а постепенно, дабы растянуть наше общение на час. Не описать словами, сколько достоинства таится в этом грациозном существе... «Schwäne, Schwäne, wer kennt eure Lieder...»¹

¹ Лебеди, лебеди, кто знает ваши песни... (нем.)

Посылку твою получила. Все вещи я подарила Мышке, чем осчастливила ее, потому что ей действительно нечего надеть.

Мой муж не был миллионером, он был всего лишь старшим помощником в аптеке «У янычаров», но средств нам хватало для того, чтобы я могла одеваться безукоризненно.

Если ты всерьез думаешь, будто в пештэржебетском клубе не пристало появляться в черном платье без рукавов, то ошибаешься. Не в укор тебе будь сказано, но знай, что на концерте я буду в цветном вечернем туалете из набивного шелка. Платье это я уже себе присмотрела.

Что касается той фотографии, которая неизвестно куда задевалась, то здесь ты опять ошибаешься. Совсем папу мы тогда ждали. Разве ты забыла, что нашего папу вообще не призывали из запаса по той простой причине, что его из-за тяжелой астмы еще в начале войны признали негодным к военной службе. Но если даже ты права и мы все же ждали папу, то снимок был сделан не в 1918-м, а в девятнадцатом году и тогда вообще лучше не вспоминать об этом. Бедный наш, дорогой папа! Прожить такую прекрасную жизнь и кончить такой ужасной смертью!

Тебя не интересует предстоящая встреча Виктора и Паулы? Я прямо-таки жду не дождусь! Кстати, Виктор в тот вечер, когда он не пивши не евши просидел у меня допоздна, сразу же по возвращении домой позвонил мне. С тех пор это вошло у него в привычку и даже более того, установился такой порядок, что сначала он звонит мне, а после, когда я отужинаю с соседями, то сама звоню ему. Подчас наши телефонные разговоры затягиваются за полночь, а поскольку собеседника не видишь, то бесплотность придает нашим беседам особое очарование; много раз мне казалось, будто я слышу прежнего Виктора, каким он был некогда в Лете; будто у нас каникулы, мы сидим в саду, при свете «летучей мыши», в той беседке, где наш отец обычно играл в шахматы с уездным врачом...

ПОЧТОВАЯ ОТКРЫТКА

(с видом сердечно-сосудистого санатория в Балатонфюреде) Не пугайся! Со мной все в порядке, потом объясню, Эржи. Самый сердечный привет. Пока что незнакомая Вам Паула.

ПИСЬМА

(Продолжение)

Будапешт

Прошлый раз я не дописала тебе письмо, потому что зазвонил телефон. Звонок был от Паулы. Едва я услышала: «Балатонфюред», — как руки у меня затряслись и я лишь усилием воли смогла удержать трубку; к сожалению, со мною всегда так, стоит мне хоть чуть разволноваться. Паула преподнесла мне всю эту историю так, будто она еще три месяца назад получила путевку в санаторий сердечно-сосудистого типа и начисто позабыла о ней; да и сейчас спохватилась, лишь получив от администрации письмо, в котором ее запрашивали, почему она не прибыла в срок. Паула предупредила, что не сможет прийти на обычную нашу встречу в кафе и на концерт Виктора на следующей неделе, хотя она тоже очень к нему готовилась. Паула просила меня в воскресенье проведать ее, и я с радостью обещала.

Все это произошло в пятницу. Сегодня уже понедельник. Начатое письмо к тебе все эти дни лежало на столе, но я не в состоянии была написать ни строчки. Паула, правда, уверяла меня, будто бы с сердцем у нее ничего страшного, речь идет всего лишь о «профилактическом лечении» и «перемене обстановки», но я этому не поверила. Она, как и ты, из тех людей, от кого даже в самый критический момент не услышишь ни слова жалобы, и лишь по случайным оговоркам я догадалась, что у нее не только с сердцем, но и с печенью неблагополучно. Всю пятницу я места себе не находила. Лишь в субботу на миг испытала облегчение, отправив ей срочной почтой открытку. В воскресенье утром я наконец-то села в поезд. Я была до того взвинчена, что даже заполнившая весь вагон шумная компания молодых людей — они ехали на па-

русную регату — для меня как бы не существовала. Надо сказать, что Паула обожает сладкое. С коробкой пирожных, прихваченных из Пешта, я поднялась к ней в палату, однако не застала ее в постели. Соседка по палате, мать одного известного эстрадного артиста, сказала лишь, что, когда она проснулась, Паулы уже не было; и правда, на тумбочке у кровати стоял завтрак: рогалик, масло, джем, — все нетронутое, и стакан с зубной щеткой. Наверняка она пошла куда-нибудь в эспрессо выпить кофе, предположила соседка по палате; хотя это и запрещено ей строго-настрого, но Паула уже не раз отличалась.

Фюреда тебе теперь бы и не узнать. На каждом шагу эспрессо, кондитерские, буфеты, рыбацкие харчевни; пока я обошла их все подряд, таская с собой пирожные, время перевалило за полдень. Паулы как след простыл. Я опять вернулась в санаторий. Мать эстрадного артиста спала, а на тумбочке у Паулы помимо зубной щетки и завтрака стоял давно простывший обед.

Теперь уж я не знала, что и думать. Ни дежурная сестра, ни привратник не могли мне сказать ничего путного. Я ушла из санатория. Пообедала, но где и что я ела, убей, не помню. Купила видовую открытку (которую мы написали тебе вечером, в поезде) и раскрашенную раковину, вот и сейчас она передо мной на столе. Тревога моя росла. Знакомо ли тебе такое состояние, когда неопределенность положения наводит на всякие кошмарные мысли? Пауле стало плохо с сердцем, и она потеряла сознание на улице. Паулу сбил автобус. Паула пошла на мол выпить кофе — и вот я уже лечу туда, — а там эта орущая толпа полуголых болельщиков парусной регаты столкнула ее в воду. Паула утонула. Найти ее не могут... Голова у меня раскалывалась. Рисовались картины одна другой бредовее. Друг мне вспомнил ее завтрак, так и оставшийся нетронутым. Фантазия моя заработала в другом направлении: теперь я пришла к выводу, что ночью у Паулы случился сердечный приступ и она умерла. Тело ее — дабы не волновать больную соседку — тайно, под покровом ночи, вынесли... Сломая голову я снова помчалась в санаторий. Медсестра и привратник в один голос твердили, будто прошлой ночью никто не умер.

Я не поверила. Во-первых, потому, что предположение мое казалось неопровержимым, а кроме того, я знала, что в санаториях для сердечников о смертных случаях ста-

раются помалкивать. Я выведала, где у них находится покойница. Дозналась, у кого хранятся ключи. Отыскала этого субъекта — за одноэтажным зданием, где квартиры служебного персонала; парень растянулся на одеяле и по транзистору слушал репортаж о парусной регате. При виде меня он даже не соизволил подняться. Никакой Паулы Каус, сказал он, среди вверенных ему покойников нет. Я спросила, что он, всех своих покойников знает поименно, что ли! Нет, сказал он, вовсе он не знает всех покойников поименно, но в данный момент их двое и оба — мужчины, а, стало быть, госпожи Каус среди них быть не может.

Слово за слово, и наши препирательства затянулись. Кончилось тем, что я обозлилась, пнула его в лодыжку и прикрикнула: «Извольте встать, когда разговариваете с дамой!» Он вмиг стал любезнее. Вскочил, сбежал за ключом, открыл покойницкую. Транзистор он, правда, захватил с собой, но попросил извинения, что не выключил: как раз объявлялы имена победителей, когда служитель приподнял простыню. Там действительно лежали двое мужчин: один — старик, другой чуть помоложе. Я поспешила опять в палату к Пауле.

Теперь у нее на тумбочке стоял и ужин. Мать эстрадного артиста недоуменно качала головой, но тут внезапно она обнаружила, что не хватает многих вещей Паулы: исчезли домашние туфли из-под кровати, чемодан со шкафа, да и в самом шкафу не оказалось ни платьев ее, ни белья. И тогда ей вспомнилось, что Паула при первом же врачебном обходе, выслушав все запреты, ограничения, предписания и методы лечения, заявила: «Уважаемый доктор, если выздороветь можно только такой ценой, то я предпочитаю оставаться при своих болезнях». Отсюда мы сделали вывод, что, наверное, еще на рассвете, когда все спали, Паула уложила свои вещи и сбежала из санатория насовсем.

Ты всегда подсмеивалась надо мною за то, что я верила в чудеса. Ну, так послушай, что было дальше. Из Фюрета на Будапешт по воскресным вечерам отправляется полтора десятка поездов, не меньше. Я села в первый попавшийся поезд — в руках у меня по-прежнему коробка с пирогами, — в головной вагон. Мне даже посчастливилось отыскать свободное место, но спокойно усидеть я так и не смогла. Как будто что толкало, влекло, звало меня... Потом оказалось, что и Паула тоже, точно по внутреннему

побуждению, начала проталкиваться из конечного вагона вперед по ходу поезда. Все проходы были забиты молодежью, крики, шум, гам отовсюду; разлило вином и потом, парочки висли друг на друге, теснотища была — яблоку негде упасть, однако же обе мы, работая локтями, пробивались навстречу друг другу, пропускали мимо ушей нелестные замечания, то переругиваясь, то прося извинения, пока наконец не столкнулись нос к носу, притиснутые к двери в туалет. Мы обе с радостным воплем кинулись на шею друг дружке, расцеловались, обе говорили одновременно, перебивая одна другую и уплетая пирожные, что было непросто, потому что нас вплотную притиснули друг к другу, и мы обе по уши перемазались кремом. Но я никогда в жизни не была так счастлива, как в тот момент!

Ты вращалась в избранном обществе и вряд ли помнишь Хуберта Пока; а в былые годы он слыл неотразимым сердцеедом и был знаменитым яхтсменом, который в двадцать девятом завоевал «Голубую ленту Балатона». Как оказалось, его-то и встретила Паула в парке при санатории, где дожидалась меня. Конечно, теперь он мало похож на ловеласа, но зато все еще состоит председателем судейского жюри парусной регаты. А поскольку он когда-то, видимо, ухаживал за Паулой, то и пригласил ее на катер, где находилось судейское жюри; более того, она самолично вручала призы победителям. Ей я, конечно, не сказала ни слова упрека, но перед тобой, дорогая Гиза, мне незачем таиться: меня немного задело, что Паула бросила меня, а вернее, попросту забыла обо мне ради какого-то старого поклонника, которого она двадцать лет и в глаза не видала. Собственно говоря, даже не столько сам этот поступок обидел меня, сколько то обстоятельство, что ей и в голову не пришло как-то оправдаться передо мною. А ведь стоило ей хоть слово сказать, и от этой крохотной занозы в сердце и следа не осталось бы.

Прошу тебя, не суди ее строго! Пожалуй, и я на ее месте поступила бы точно так же. Ты только представь себе всю красоту, что ее сманила: солнце, водная гладь и белая россыпь парусов! А когда Паула вручала грамоты и выпелы победителям регаты, ее снимали для кинохроники. В четверг мы с нею пойдем в кино, потому что обычно с четверга показывают новый выпуск хроники.

Сейчас я неожиданно для себя сделала открытие: я вовсе не сержусь на Паулу. Ведь в поезде, когда мы встре-

тились, первыми ее словами было: «Я сбежала, чтобы попасть на концерт твоего поклонника!» Когда человек относится к тебе с такой чуткостью, ему простишь что угодно.

Гармиш-Партенкирхен

Хуберт Пок в свое время был известен всему Пешту как человек весьма сомнительной репутации; в обществе его терпели только в качестве распорядителя балов. Когда начались преследования евреев, он стал у Бека управляющим фабрикой фибровых чемоданов; впоследствии по его доносу всю семью Беков угнали в Германию. У нас этому человеку было отказано от дома.

Будапешт

Возмутительно! В кинохронике показали только победителей регаты: запыхавшиеся, все в поту люди с поклонным получали свои призы, а Паула в кадр не попала, видна была только ее рука. Такое безобразие мыслимо лишь у нас!

Завтра выступление Виктора; по окончании концерта устраивают скромный банкет в честь артистов, но мы с Паулой тоже приглашены. Виктор, естественно, волнуется, я — еще того больше, и даже Паула, судя по всему, не осталась равнодушной. Она лишена музыкального слуха, но ей не хочется ударить в грязь лицом, поэтому она буквально засыпала меня вопросами. Ах, Гиза, мне бы твою образованность! Ведь музыку вообще невозможно объяснить словами; попробуй, к примеру, ответить на вопрос: что, собственно говоря, тебе нравится в музыке? Я призналась, что и сама не знаю. Быть может, именно эта ее бесплотность, вернее, то неуловимое, что впитывается слухом, нервами, всем своим существом... Глупость сморозила, верно? А почему моя любимая опера «Мейстерзингеры»? Тут я тоже встала в тупик. Только к вечеру задним числом сообразила, как ответить, и позвонила Пауле. От музыки «Мейстерзингеров» на меня нисходит великое умиротворение. Слушаешь ее, и проходят все горести и боли; не жалеешь о невозвратной молодости, не страшишься неизбежной смерти. «Как прекрасно сказано!» — восхитилась Паула; сама же я чувствую, что слова мои, может, и звучат прекрасно, но сути не передают. Впро-

чем, ладно; гораздо важнее, что Паула осталась довольна моим ответом.

Между прочим, я расспросила ее о Хуберте Поке. Они тоже не общались: Хуберт был школьным товарищем ее мужа, который сейчас живет в Канаде, оттуда и пошло их знакомство.

Завтра великий день. Молись за меня, дорогая Гиза!

8

НОЧНЫЕ ТЕЛЕФОННЫЕ РАЗГОВОРЫ

Разговор первый

— Вы еще не спали?

— Я только что успел переступить порог.

— Так поздно вернулись?

— Пришлось провожать домой эту вашу приятельницу.

— Должно быть, ухлопали на такси целое состояние.

— Ради вас я готов отдать последний грош!

— Вы отбиваете мой хлеб. Ведь это я собиралась говорить вам комплименты.

— Я очень плохо пел сегодня.

— Напротив, вы пели дивно, прямо заслушаешься. Я забыла обо всем на свете, мне казалось, что мы — как прежде — в Опере.

— Но голос мой — увы! — не тот.

— Он стал богаче.

— Чем же?

— Он стал теплее, естественнее, проникновеннее. Я была совершенно очарована.

— Меня почти не вызывали на «бис».

— Да что вы говорите! Публика была вне себя от восторга, все повскакивали с мест...

— Верно, все так и было, но не сегодня, а в «Альберт Холле» и десять лет назад... Тогда пришлось погасить свет на сцене, чтобы публика разошлась.

— Моя подруга тоже без ума от вас.

— Меня не интересует мнение вашей подруги.

— Она вам не нравится?

— Мне нравится вы.

— Неисправимый болтун! На сей раз, так и быть, прощаю вам вашу грубую лесть.

- Что это за платье на вас было?
- Из Мюнхена.
- Похоже, наша добропорядочная Гиза заделалась великосветской модницей.
- Чем все-таки вам не понравилась моя подруга?
- Говорю же, что мне понравились вы, в этом платье с вырезом...
- Нечего мне зубы заговаривать. Отвечайте на вопрос.
- Мне хотелось бы пощадить ваши чувства.
- О, тут я вполне беспристрастна! Паула, правда, несколько полновата, но лицо у нее красивое.
- Красивое? Душа моя, да у нее оплывшая, совершенно бесформенная физиономия!
- Ну, а как вам показались ее ножки?
- Я не присматривался, но, по-моему, они толсты до безобразия.
- Интересно, откуда бы вам это знать, если вы не присматривались?
- На собственном опыте я убедился, что, если у женщины толстые ноги, значит, она непременно «синий чулок». Да это и понятно: когда нельзя показать ноги, женщина выставляет напоказ душу.
- Только не Паула! Она не выставляет напоказ ни ноги, ни душу. Для этого она слишком возвышенная натура.
- В том-то и беда, что ее чересчур высоко заносит.
- Не понимаю, что вы этим хотите сказать.
- Видите ли, ангел мой, музыка для меня — нечто первозданное, как стихия. Вроде моря, к примеру. Я способен часами им любоваться, но когда мне пытаются объяснить, что такое море, я свирепею. По этой же самой причине я всю жизнь сторонился так называемой музыкальной братии. Например, когда ваш супруг после спектакля говорил мне: «Знаешь, Виктор, я мало что смыслю в музыке, но мне понравилось, как ты пел», — то для меня эти его слова значили больше, чем газетная писанина какого-нибудь критика на целую полосу.
- Бела действительно мало смыслил в музыке, бедняга.
- По-моему, именно это и ценно.
- А во время спектакля шуршал пакетиком, доставая конфеты.
- И правильно делал! Зато всякие псевдоценители,

невежды, возомнившие себя знатоками, для меня — нож острый.

— Вы намекаете на Паулу?

— Меньше всего мне хотелось бы разрушать ваши иллюзии. И потом, дело не только в ней, виновато, конечно, ее окружение.

— О каком окружении вы говорите?

— Ей ведь не аптекарь достался в мужа.

— Ну да, муж у нее зубной врач.

— С чего это вы взяли?

— Я знала его лично.

— Вы что-то путаете. Ее муж прежде работал в издательстве музыкальной литературы, а теперь в Канаде подвизается на поприще музыкальной критики. Нетрудно представить, что это за тип!

— Что-то я, возможно, и путаю, но уж зубоврачебное кресло я видела собственными глазами.

— Где вы его видели?

— В бомбоубежище. Доктор Каус притащил его туда на своем горбу и берег пуше собственной жизни. Да, вспомнила! Это кресло и по сей день в целости и сохранности.

— Вот как! И где же оно хранится?

— У Паулы. Точнее говоря, у врачихи, которой Паула сдает внаем зубоврачебный кабинет. Я сама его видела там, кресло это.

— Ну и наплевать на него! Не все ли равно, кем был муж Паулы?

— Не согласна с вами.

— Вполне вероятно, что этот зубодер вообще тут ни при чем. С таким же успехом она могла усвоить эти свои суждения от любого другого.

— Какие суждения?

— Вернее сказать, теории.

— Что еще за теории?

— Совершенно нелепые теории о природе музыки.

— Что же все-таки говорила Паула?

— Бог ее знает! Такую чушь обычно в одно ухо впускаешь, в другое выпускаешь.

— Все же мне хотелось бы знать.

— Объясняла мне музыку Вагнера. «Мейстерзингеры», видите ли, навевают покой; когда слышишь их, все горести уходят прочь.

— Интере-есно!

— Да полно вам! Эти банальности единственно тем и интересны, что с равным успехом можно утверждать и нечто прямо противоположное. Взять, к примеру, ее высказывание о бесплотности музыки.

— Это подлинные ее слова?

— Ну, не мои же!

— А по-вашему это не верно?

— Верно... С точки зрения невежды. Так же верно, что бесплотен воздух для бескрылых тварей. Но птица знает, что нет опоры более надежной, чем воздух.

— И когда это Паула успела вам сказать?

— Сегодня вечером.

— Я спрашиваю, когда именно. За ужином этой темы не касались, по дороге из Пештэржебета — тоже...

— В такси, пока я провожал ее домой.

— На такси до ее дома полторы минуты,

— Мы задержались в машине.

— И надолго?

— Порядочно. Водитель раз пять оглядывался на нас.

— Не узнаю Паулу! Меня она заверяла, будто бы совершенно не разбирается в музыке.

— Она и вправду совершенно не разбирается.

— И никогда на этот счет не высказывалась.

— Перед вами не высказывалась.

— Выходит, только перед вами? Но почему?

— Не хочу, чтобы вы разочаровались в своей приятельнице.

— Она кокетничала с вами?

— Кокетством меня не проймешь.

— Но пыталась кокетничать?

— Со мной все попытки бесполезны.

— Спокойной ночи.

— Как, уже? Почему это вы вдруг решили оборвать разговор?

— Совершенно засыпаю.

— Но я должен сказать вам нечто важное.

— Догадываюсь, что именно.

— Что же?

— Что на других женщин вам и смотреть не хочется,

— Вот и не угадали.

— Давайте отложим этот разговор на завтра.

— Но почему же?

— У меня глаза слипаются.

— Спокойной ночи, любовь моя единственная!

Второй телефонный разговор

- Я не разбудила тебя?
- Что ты! Лежу без света, а сна — ни в одном глазу. Ломаю голову и не знаю, на что решиться.
- А в чем дело?
- Да вот... не знаю, то ли сказать тебе, то ли промолчать.
- Это касается Виктора?
- Ты не обидишься, если я откровенно выскажу свое мнение?
- Надо понимать, он тебе не понравился?
- Как о певце я о нем судить не могу, но чисто по-человечески... Прости, это — чудовище!
- Я ведь заранее тебя предупредила, что он шумлив, назойлив и манеры его оставляют желать лучшего...
- Будь он только шумлив, это бы еще полбеды!
- Так что же он натворил?
- Сказать, что именно? Нет, язык не поворачивается!
- Неужели так ужасно?
- Расскажи мне прежде, что он собой представляет как человек? Что у него за душой? И вообще, ты давно с ним знакома?
- Я знала его еще до замужества.
- А если подробнее? Как ты с ним познакомилась?
- Я тогда училась на первом курсе по классу пения, а он был выпускником политехнического института, без пяти минут инженер.
- Странно как-то.
- Что же тут странного?
- Что позднее он стал профессиональным певцом, а ты вышла замуж за другого человека. Прямо в голове не укладывается. Разве ты не любила его? Или тот, другой, тебе нравился больше?
- Бедняга Бела? За него мама стояла горой. По мне, твердила она, лучше аптекарь, который желает остаться аптекарем, чем инженер, который лезет в оперные певцы.
- Но ты, по-моему, была не из тех, кто боится ослучиться маменьки.
- Ты права. По сути, я сама сделала выбор в пользу Белы.
- Почему?

— Теперь и не вспомнить. Думается, я боялась Виктора.

— И неудивительно. Как я тебя понимаю! Скажи, почему ты его боялась?

— Кому это интересно? Все прошло и быльем поросло.

— Тебе не хочется говорить об этом?

— О чем?

— Что именно тебя в нем отпугивало?

— Его необузданность. Вернее, ненасытная страсть. Он делался невменяемым, стоило ему только увидеть...

— Что увидеть?

— Мою грудь.

— У тебя была красивая грудь?

— Да, очень.

— Тогда в моде была большая грудь.

— Моя казалась большой по контрасту с осиной талией.

— Ты носила корсет?

— Один-единственный раз надела, и он мне тут же закатил сцену. «Женская грудь — это моя слабость. И если я еще когда-нибудь увижу на вас этот безобразный панцирь, то сорву его с вас прямо посреди улицы».

— Чудовищно! Весь человек в одной фразе! Пожалуй, он действительно способен был это сделать.

— Вполне способен. Стоило ему заметить легкое колебание блузки, и он себя не помнил: лицо его багровело, а рука как бы сама тянулась к моей груди. Ну, а уж если он был рядом, когда я шла по лестнице!.. Однажды он точно дикарь набросился на меня.

— Где это случилось?

— В Музыкальной академии на парадной лестнице.

— На глазах у всех?

— К счастью, в тот момент поблизости никого не было.

— И что он делал в таких случаях?

— Да ничего особенного.

— Ты, наверное, со стыда сгорала?

— Вовсе нет. Он лишь приник лицом.

— Как это?

— Спрятал лицо свое у меня на груди.

— А что потом?

— Покачивался и тихонько напевал, как бы убаюкивал себя.

— Напевал? И что же он пел?
— Просто тянул какую-то мелодию.
— Вот скотина! И ты терпела?
— Я не могла ему противиться.
— А что произошло, когда ты вышла замуж?
— Что должно было произойти, по-твоему?
— Ты порвала с ним?
— Порвать с ним невозможно. Он стал приходиться к нам на ужины. Мой покойный Бела души в нем не чаял, бедняга, а Виктор на каждое свое выступление присылал нам билеты в ложу.

— Твой муж тоже любил музыку?

— Нет, но ради меня он был готов на все. Купит, бывало, конфет, а как поднимут занавес, он изо всех сил пытается изобразить жгучую заинтересованность. Правда, во время сольных партий он, как правило, шуршал конфетными обертками, и меня это совершенно выводило из себя. «Перестаньте вы, наконец, шуршать этими проклятыми бумажками, единственный мой!» — шипела я.

— Он что, назло тебе старался шуршать?

— Нет, конечно.

— И так-таки ни о чем не догадывался?

— Трудно сказать. Знаю лишь, что Виктора он уважал, меня он любил и ни разу ни словом не обмолвился на наш счет...

— А ты?

— Я тоже любила своего мужа.

— Разве не Виктора?

— К чему ворошить прошлое?

— Иначе и я не решусь открыть тебе всю правду.

— Ладно, будь по-твоему: я не любила Виктора.

— Ни до замужества, ни после?

— Никогда.

— Но не отвечала ему отказом?

— Ответить можно, когда тебя спрашивают. А Виктор зря слов не тратит. Кровь ударяет ему в голову, лицо становится пунцовое, и руки у него сами так к тебе и тянутся. И словно бы рук этих не одна пара, а несколько. Точно щупальца у спрута...

— Точно у спрута! Верно подмечено! Я испытала то же самое.

— Что значит — «то же самое»?

— До сих пор, как вспомню, так мороз по коже!..

— Выражайся яснее.

- Ах, ты не поверишь... Он меня тискал!
- Где же это?
- В такси.
- И за какие же места он тебя тискал?
- Точь в-точь как ты сказала: всеми восемью щупальцами одновременно и везде, где только можно...
- Бедняжка!.. И как же ты вытерпела?
- Я была сама не своя. Онемела, забилась в угол и дрожала всем телом. Таксист несколько раз оглядывался на нас.
- Не говорила ли ты ему него о «Мейстерзингерах»?
- В тот момент я не могла бы даже сказать, как меня зовут.
- Я к тому, что, когда с ним заговаривают о музыке, он выходит из себя.
- У меня и в мыслях не было выводить его из себя!
- Прошу тебя, Паула, успокойся.
- Не могу. Ощущение такое, будто я вся искусана бешеным псом.
- Попытайся заснуть.
- Мне страшно... А вдруг он ворвется и снова набросится на меня? Не то что спать, я глаз сомкнуть не решаюсь.
- Прими снотворное.
- Давай больше никогда не говорить о нем.
- Это я тебе обещаю.
- Даже имени его не упоминай!
- Не беспокойся, не стану.
- Мне до того страшно, что я не решаюсь вынуть свою вставную челюсть.
- Ну, так и не вынимай ее.
- Тогда я заснуть не смогу.
- Прими снотворное.
- Разве что со снотворным.

9

ПИСЬМА

Гармиш-Партенкирхен

Миши обижен на меня. Это случилось впервые, и мне очень грустно.

А предыстория такова, что шестнадцать лет назад, на мюнхенском аэродроме он встретил меня словами: «Мама,

я выполняю все, что бы вы ни пожелали. От вас же прошу одного: держитесь подальше от наших соотечественников. Все годы, что я живу на Западе, я не общаюсь ни с кем из здешних венгров, а письма оттуда оставляю без ответа». — «За меня можешь быть спокоен, сын мой», — вот все, что я сказала.

И вот теперь, когда он возвратился из Баден-Бадена на два дня раньше срока, я как раз принимала у себя одну венгерскую чету; мы пили чай на террасе. Муж на родине был ветеринаром и здесь тоже работает по специальности. Он из очень хорошей семьи, широкообразованный молодой человек с безукоризненными манерами. Время от времени они с женой наносят визиты всем венгерским семьям в округе, но какое удовольствие они находят в обществе старой развалины вроде меня, право, не понимаю. Миши, заслышав венгерскую речь, сразу помрачнел. «Мы тут беседовали о наших общих знакомых...» — в растерянности попыталась я оправдаться. Миши кивнул головой, однако даже не счел нужным представиться. «Желаю приятного времяпрепровождения, мама», — сказал он и прошел в дом.

Это случилось позавчера. Вечером у меня не хватило духу спуститься к столу, и я попросила подать ужин в комнату. Я ждала, что Миши зайдет ко мне, но он не пришел. Что ж, он прав. И с тех пор я так и сижу в одиночестве, в своей комнате, наложив на себя добровольный арест, вполне мною заслуженный.

Кругом тишина, лишь мерно журчит фонтан. Я достала твои письма. Последнее письмо настолько взволнованное и сумбурное, что я предпочла перечитать прежние. Господи, как близки мы с тобою были! Какое удивительное родство чувств и мыслей, будто принадлежали они одному человеку, а не рождались в двух разных душах!.. Но разлука сделала свое дело. Так и бросаются в глаза какие-то новые, незнакомые мне выражения, провалы памяти, твои ошибочные утверждения. Вот читаю, например, что ты пишешь о смерти нашего дорогого отца. Неужели можно забыть, кто убил его? Я понимаю, что эта тема — не для письма, и все же ты смело могла бы признать, что наш отец достойно жил и столь же достойно умер. Ты всегда была *Liebling*, тебе грешно не помнить, как все было.

Эржи, нам нельзя терять друг друга. Я так боюсь за тебя! Воочию вижу, как ты в новых, неразношенных туф-

лях на опухших ногах ковыляешь по улицам Фюрета, среди толпы, с коробкой пирожных в руках, и лишена возможности сказать, что это не пристало тебе... Ты ли это? Подумать только: младшая дочь Скалла, моя родная сестра! Тот факт, что твоя подруга, эта дама приятная во всех отношениях, ни с того ни с сего убегает из санатория, свидетельствует о ее полнейшей бесхарактерности. А ты, вместо того чтобы удержать свою лучшую подругу от опрометчивого шага, еще и потворствуешь ей. Тут уж я просто слов не нахожу! Прежде я всегда была солидарна с каждым твоим поступком, но на сей раз отказываюсь тебя понять.

Я верю во всевышнего, в предначертания судьбы, но боюсь, что по фюретским улочкам тебя вела вовсе не рука судьбы, а какой-то злой рок.

Быть может, мне напрасно рисуются всяческие страхи. Не слушай меня! Я всего лишь старая, разбитая параличом женщина, коротающая время в беседах с лебедями. Возможно, что и родной венгерский я уже успела позабыть.

Будапешт

Гиза, твоя прозорливость поистине поразительна. Ты, человек, которого тот злополучный осколок двадцать лет назад, в сущности, обрек на полное одиночество, лучше разобралась в Пауле, ни разу ее и в глаза не видя, чем я, встречавшаяся с нею изо дня в день. Как ты права! Тот концерт открыл мне глаза. Видно, я и по сей день осталась прежней доверчивой гусыней. Неделями торчала я в этом треклятом «Нарциссе», ожидая по полчаса, если не по часу, пока ее милость снизойдет до встречи со мной. Официант, добрейший человек, страдающий диабетом (кстати, мы с ним на короткой ноге, я его зову просто «Ферике», а он меня — «госпожа Эржике»), конечно, заметил, что я каждый раз вскидываю голову, как только открывается входная дверь. Он пытался развлечь меня журналами, но я все равно смотрела больше на дверь, чем в журнал. Тогда он стал чаще подходить к моему столику, чтобы занять меня разговором, но я, сколько ни старалась сосредоточиться, не могла оторвать глаз от двери, хоть и чувствовала себя как оплечванная.

Ее милость иной раз оправдывалась тем, что она-де

лишена «чувства времени». Так это называется! Чувства порядочности, вот чего она действительно лишена. А если уж называть вещи своими именами, то эта двуличная особа врала напрапалую.

Ты спросишь, как я до этого докопалась? Так слушай.

После концерта она пыталась сразить Виктора тем, что ее муж якобы музыкальный критик в Канаде. В первый момент даже я в это поверила. Но потом заработала память. Я вспомнила осаду, бомбоубежище, зубоврачебное кресло доктора Кауса, от которого он боялся оторвать свой зад. Должно быть, воображал, будто русские только из-за того и ведут бои, чтобы в качестве трофея утащить в Кремль его рухлядь!

Мало-помалу мне припомнились и еще некоторые любопытные обстоятельства. В бомбоубежище мы оказались практически безо всяких съестных припасов (правда, Паула иногда подсовывала нам кое-какие обеды, чтобы не выбрасывать на помойку). Мой дорогой муженек при всей своей непрактичности умудрился прихватить с собой из аптеки «У янычаров» несколько ампул противостолбнячной сыворотки да пятьсот таблеток ультрасептила, конечно, ни сном ни духом не ведая, что вскоре это лекарство станет на вес золота. И вот, когда цена на ультрасептил подскочила, лекарство у нас исчезло без следа, и стащить его мог кто угодно, но только не музыкальный критик! Дело в том, что бедняга Бела захватил лекарство не в фабричной расфасовке, а, как он выразился, «нетто», то есть таблетки были ссыпаны в большую аптекарскую склянку без всякой надписи. Найди мне такого музыкального критика, который смог бы учуять ультрасептил в закрытой склянке без надписи, и я паду перед ним ниц!

Но и это еще не все. Эта особа пыталась внушить мне, будто бы не она флиртowała с Виктором, а Виктор пытался ухаживать за нею. (Виктор, которого и динамитом не оторвать от меня!) Он якобы набросился на нее в такси и принялся так беззастенчиво ее тискать и щупать, что даже водитель все время оглядывался на них... Ну, что ты на это скажешь! Неотразимая красotka, при виде которой мужчины теряют голову! Мисс Аризона, восходящая сексбомба с расширением аорты, камнями в печени и вставной челюстью! От злости лопнуть можно!

Но ты не беспокойся за меня, моя родная Гиза, я умею владеть собой. Каждый божий день с пяти до семи

я просиживаю с ней в «Нарциссе», улыбаюсь как ни в чем не бывало, восторгаюсь ее туалетами и рассуждаю о музыке. Еще не хватало, чтобы она подумала, будто я ревную!

Кстати сказать, это не меня подводит память, а тебя. Возможно, что на фотографии мы сняты в тот момент, когда встречали нашего бедного отца по возвращении из Солнока. Однако, судя по всему, ты забыла историю с доктором Санто! Доктора арестовали тогда и увезли из Леты за то, что после поражения красных он прятал у себя на чердаке нескольких раненых. И наш бедный папа отправился в Солнок, чтобы добиться освобождения своего давнего друга и партнера по шахматам. В Солноке командир карательного отряда обозвал папу «пособником красных» и на глазах у толпы зевак отхлестал его по щекам. После чего папа вернулся домой, спустился в подвал и там застрелился.

Это, по-твоему, прекрасная смерть?

Буданеит

Дорогая тетя Гиза!

Конгресс ядерных физиков, правда, уже закончился, но у меня еще уйма недоделанной работы. Поэтому пишу в телеграфном стиле. С мамой просто беда! Надо принимать какие-то меры! А вы — единственный человек, кого она слушает.

Когда я заметила, что она красит волосы, я смолчала. Однако позавчера выяснились совершенно невообразимые вещи. Вечером мы давали в ресторане «Геллерт» прощальный банкет для участников конгресса. За столом сидели: профессор Хауторн (Оксфорд), Альварес (Рио-де-Жанейро), Гальпин (из Киева), я в качестве переводчика с четырех языков, профессор Шомошкutti с супругой и его адъютнт, некий Сабо, утонченно воспитанный и наиболее европеизированный человек из всех участников конгресса.

Застольная тема — дежурная. Иностранцы хвалят то, что увидели в нашей системе, венгры поносят то, чего иностранцы не углядели. Пресловутый отдел кадров? У них тоже есть. Да, но не такой. Газеты врут? У них тоже врут. Да, но не так занудно. Жилищный кризис? И у них нехватка жилья. А коммунальные квартиры у них есть? Да, в Рио есть. Профессор Хауторн (из Оксфорда) не

знал, что это такое, поскольку он живет в Крист Колледже.

Сабо: коммунальная квартира — это совместное проживание с соседкой, которая путем подкармливания и разных других ухищрений переманивает вашу кошку, так что та навещает дом, к своим хозяевам, исключительно для того, чтобы гадить. (Общий смех.) Далее, — ты лишаешься возможности привести на банкет собственную супругу, потому что соседка украдкой извлекла из шкафа единственный вечерний туалет вашей жены, прогулялась в нем в свет, залила его красным вином и потихоньку повесила на место. (Новый взрыв смеха.) Профессор Хауторн предлагает Сабо поменять их комнату на его четырехкомнатную квартиру при Крист Колледже, потому что сам он кошек терпеть не может и соседке радости не доставит. (Общий смех.) «Где находится ваша квартира?» — спрашиваю я. Сабо: в зеленой зоне. Улица Чаттарка, дом семь, третий этаж, квартира два. Правда, есть преимущество: соседка стряпает великолепные ужины по весьма сходной цене. (Новый взрыв веселья, в котором я участия не принимаю.)

На следующий вечер, проведив гостей, я прямо с аэродрома заехала к маме. Она тут же раскричалась на меня. Все начисто отрицала, наотрез отказалась дать какие бы то ни было объяснения, и все это в обычной своей склочной манере. По какому праву я сую свой нос в ее жизнь? Хотя бы по тому, что я ее дочь. Дочь? Ха-ха-ха!.. Презрительный смех и плевков в мою сторону.

К сожалению, я не имею возможности опекать маму, как следовало бы. Ведь мне приходится выкраивать каждую минуту, чтобы учиться дальше. Йожи тоже работает без передышки, днем и ночью. В прошлом году его послали в Швецию на стажировку, он досконально освоил там всю сложнейшую аппаратуру при операциях на сердце. И теперь после хирурга он второе лицо в операционной. Единственный свободный день у нас — воскресенье, и он, естественно, отдан маме. Мы встречаем ее с распростертыми объятиями. Я готовлю запеченную куском свинину, потому что этим блюдом ограничивается все мое кулинарное искусство; к счастью, мама ее очень любит.

Тетя Гиза, вы, наверное, помните Виктора Чермлени, этого шута горохового, над которым вечно потешалась вся наша семья? Так вот, в пылу перебранки мама проговорила, что была на концерте этого Виктора. В каком же

платье? Якобы в очень скромном черном шелковом платье, которое она получила от вас. Я сказала, что правдивость никак не относится к числу ее достоинств. На что она театральным жестом воздела руки к небу и поклялась. Я заявила, что все равно ей не верю. Тогда она принялась стучать кулаком в стену, и в дверях, точно привидение, возникла какая-то худосочная прыщавая испуганная особа, явно затерроризированная мамой, и трясущейся рукой указала на черное шелковое платье. Так я и ушла ни с чем, вне себя от досады.

Понятия не имею, что за всем этим кроется. Спешу, меня дожидаются трое. Тетя Гиза, я знаю, что вы располагаете временем. Прошу вас, напишите маме. Родную дочь она ни во что не ставит, а к вашему мнению прислушивается. Кроме того, от малейшего волнения я вся покрываюсь сыпью. Три дня ходила в Академию наук походя на больную корью.

Будапешт

Уважаемая госпожа!

Прошу извинения, что, не будучи с вами знакомой, все же решила побеспокоить вас. Обращается к вам очень несчастная женщина, которую муж, Михай Алмаши, в новогоднюю ночь вытолкнул на улицу. Потому что я ему осточертела, сказал он. Не знаю, как меня называла Эржике в своих письмах к вам (Алмаши, Шарикой или Мышкой — это у меня ласкательное прозвище), но она наверное писала вам обо мне, иначе вы бы не прислали мне в подарок столько чудесных вещей одна другой краше, за что я вам премного благодарна от всего сердца.

Я живу по соседству с Эржике. Когда меня выгнал муж и я из Надьканижи приехала в Будапешт, у меня не было ни кола ни двора; три ночи я ночевала в зале ожидания на Восточном вокзале, а потом районный совет 11-го округа выделил мне эту жилплощадь, за что я благодарна по гроб жизни. Жилец, который тут жил до меня, повредился в уме и вдруг взял да и выбросился из окна; стены все до сих пор разрисованы и надписями разными исписаны, а только мне это не мешает. Эржике дала мне ключ от своей квартиры, а у нее есть ключ от моей; перегородка у нас между комнатами тонкая, каждое слово слышно. И если чего одной из нас надо, то можно просто в стенку постучать, и все. Эржике перед сном

всегда меня спрашивает: «Не плачешь, Мышка?» А я чаще; всего мяукаю в ответ, уж до того ловко умею подражать профессоршиной кошке, что и не отличишь.

Мне очень не хочется нагонять на вас страху, я знаю, как вы тяжело больны. Но к кому же мне еще обратиться? Эржике вас боготворит, считает вас своим примером в жизни, как сама она — пример для меня, ведь я ей всем обязана. Муж мой — человек тяжелый, его теперь с прежней работы, на железной дороге, уволили, — так он мне даже мое носильное белье согласился отдать, только когда нас по суду развели. А Эржике помогла мне, и я этого вовек не забуду; а уж потом, как увидела раз, до чего миленькую шляпку я себе смастерила из поношенной мужской шляпы, она-то меня и надоумила извлечь прок из этого моего умения. Заказами меня тоже Эржике обещала, и я ей от всей души благодарна. Жалование в конторе я получаю скудное, так что шляпки для меня — хороший приработок.

Даже затрудняюсь сказать, что меня навело на подозрения. Мы с Эржике будто совсем вместе живем, ведь за полтора года я каждый шорох, каждый скрип у нее в комнате изучила, знаю, какой что значит. Последние четыре-пять дней Эржике начала ходить по комнате взад-вперед, взад-вперед. Десять, пятнадцать минут кряду ходит и ходит не переставая. То вдруг остановится, будто мысль какая ее осенила, а потом давай опять расхаживать. Мыслей ее я, конечно, знать не могу, а состояние такое мне знакомо. Она как-то сказала мне: «Мышка, ни разу я не видела, чтобы ты улыбулась когда». Что же тут удивительного, до смеха ли, если мне такой человек в мужья попался! Раз как-то он схватил меня за правую руку, прижал ладонью к дверной притолоке да как хлопнет дверью изо всей силы. Пальцы так и хрустнули, в семи местах перелом. И до сих пор, если я долго пишу или печатаю на машинке, пальцы ледяные делаются и немеют. Поэтому в учреждении, где я работаю, меня посадили за швейцарскую счетную машину, там надо только слегка клавиш касаться.

Сегодня Эржике тоже долго расхаживала по комнате, а потом окликнула меня через перегородку и велела одеваться. Дело в том, что сегодня среда, а по средам мы с ней всегда отправляемся делать закупки к парадному ужину, каждый четверг к Эржике приходит в гости один оперный певец, известный на весь мир. Человек он пре-

красный и держится запросто: один раз ущипнул меня за нос.

Я сразу заметила, что и к покупкам она отнеслась не так, как обычно. Не знаю, известно ли вам, что Эржике все мясники в округе боятся пуше смерти. Не стану вдаваться в подробности, зная вашу тонкую и деликатную натуру. Но сегодня Эржике как подменили: глаза будто слепые, уставилась перед собой в одну точку. Выбираем курицу, а она даже не взглянет; мясник — он Эржике ненавидит — сразу это подметил и снимает с крюка самый жирный кусок свинины, а Эржике опять ни слова поперек. Я уж и то не выдержала. «Может, попустнее кусочек?» — говорю. А Эржике отмахнулась только. «И этот слишком хорош для него», — сказала.

Как вернулись домой, она опять принялась ходить взад-вперед. Вдруг — примерно с час назад — слышу, как она диктует по телефону телеграмму Виктору Чермлени (так зовут певца). В телеграмме, значит, она сообщает, что из-за болезни ног не смогла закупить продукты и поэтому, мол, завтрашний ужин придется отложить.

А ведь мы всего накупили: и мяса, и курицу, разную зелень и овощи, бутылку оливкового масла (в чем хворост жарить), деньжищ уйму потратили. И ноги у Эржике, помнится, были вовсе не отекие. Если все прикинуть, то получается, что причина отказа тут другая, может, та же самая, что ей покоя не дает и заставляет часами расхаживать. А уж какая она, причина эта, убейте, не знаю!

Покорнейше прошу простить. Рука у меня устала, так что продолжу свое письмо при первой возможности.

ТРИ ТЕЛЕФОННЫХ РАЗГОВОРА

1

Вас беспокоит абонентка Орбан. Полчаса назад я отправила телеграмму на имя Виктора Чермлени, Будапешт, улица Бальзака, двадцать. Я хотела бы отменить заказ... Как прикажете это понять? Нельзя?.. Но это привело бы к очень неприятным последствиям... Неужели никак, нельзя ее перехватить?.. К кому, вы говорите, мне обратиться?

Алло! Вас беспокоит абонентка Орбан. Полчаса назад я отправила телеграмму на имя Виктора Чермлени, Будапешт, улица Бальзака, двадцать. Мне хотелось бы отменить свой заказ... Ничего не понимаю! Телефонистка, которая приняла заказ, посоветовала обратиться к вам... Как это нельзя? Я говорю вам, что это необходимо. Вы должны предпринять все возможное... Ну, знаете ли, это беспримерное свинство!.. Хорошо. Благодарю вас.

...Вас беспокоит абонентка Орбан. Полчаса назад я отправила телеграмму на имя Виктора Чермлени, улица Бальзака, двадцать. Вы уже пятый человек, к которому меня отсылают. Телеграмма ни в коем случае не должна попасть в руки адресату. Поверьте, это вопрос жизни, дело может обернуться трагедией. Взываю к вам как человек к человеку!.. Да, разумеется, я помню текст: «Связи отеком ног продукты не закупила, ужин отменяется»... Что-что вы сказали? Не шутка ли это? Нет, тут не до шуток, дело крайне серьезное. Товарищ, речь идет о жизни человека!.. Правда? Ах, какое счастье! Спасибо большое. И вам лично и всему почтовому ведомству. Я всегда знала, что наша венгерская почта работает безупречно. Еще раз благодарю. И если я хоть чем-нибудь могу вам быть полезна, всегда к вашим услугам. Запомните: Орбан, улица Чатарка. Большое вам спасибо!

ПИСЬМА

(Продолжение)

Будапешт

Глубокоуважаемая госпожа, мужайтесь! К сожалению, я имела возможность на собственном опыте испытать, как люди в уме повреждаются. Тут такого насмотришься, что не приведи господь; достаточно разок взглянуть на стены в моей собственной комнате. Или хотя бы взять, к примеру, моего бывшего мужа. Незадолго до того, как

его уволили с железной дороги, он напал на своего подвыпившего сослуживца и в нескольких местах компостером продырявил ему ухо, будто билет. Теперь его отправили на трудовое излечение, на лесоповал, это больше всего подходит человеку с таким норовом. Не хочу вас запугивать попусту, но, похоже, вроде бы и у Эржике начинается расстройство нервной системы. Дай бог мне ошибиться, ведь для меня дороже нее в целом свете никого нету!

Позавчера (с тех пор я так и не успела закончить письмо вам) Эржике готовилась к четвергу, к ужину. Потом отправила телеграмму этому Виктору. Вскоре после того телеграмму отменила. Уже вроде бы странно. Вчера, когда я вернулась с работы, она жарила-парила, стряпала к званому ужину. Я, как заведено, стала ей помогать. Нажарили хвороста, штук с полсотни, в общем пока все шло, как надо. В полвосьмого Эржике, тоже по заведенному порядку, пошла переодеваться. Я осталась на кухне. Ровно в восемь я, как обычно, процедила куриный бульон, выловила куриную печенку, положила отдельно в небольшую кастрюльку и чуть покрыла бульоном. Этот знаменитый певец душу готов отдать ради куриной печенки. Но тут раздался телефонный звонок, а после началось светопреставление.

Что до меня, то я так думаю, этот телефонный звонок не должен бы так взбудоражить Эржике, ведь всего и разговора-то было, что у Чермлени затянулась репетиция на хлопчатобумажном комбинате — он там ведет хоровой кружок — и потому он к ужину не поспет. Ведь накануне вечером Эржике и сама собиралась отменить ужин! Не знаю, что и думать. Влетела она на кухню — глаза горят, губы трясутся, в лице ни кровинки, — ни слова не говоря, хватить большое фарфоровое блюдо с хворостом, ногой распахнула дверь в ванную и все содержимое — штук пятьдесят, наверное, — вывалила в унитаз. Потом спустила воду, и, пока хворост крутился в водовороте, она склонилась над унитазом и вне себя от ярости принялась кричать: «Чтоб ты сдох, старый боров! Чтоб ты сдох, старый боров!» — и так приговаривала, пока последний кусочек хвороста внутрь не втянуло. Тогда она бросилась на кухню за куриным бульоном. Но тут уж я, даром что обычно веду себя тише воды, ниже травы, вмешалась и бульон отстояла. Эржике только в этот момент меня и заметила. Уставилась на меня и смотрит, а глаза будто молнии мечут.

Потом схватила меня за плечи, встряхнула изо всей мочи да как закричит:

— А ты, дурища этакая, оденься поприличней и марш на улицу, подцепи мужика, первого же, какой подвернется!

Вот и достукалась я! А ведь у меня в доме, с позволения сказать, за эти полтора года ни один мужчина порога не переступил. Ума не приложу, что бы это могло Эржике так всю душу перевернуть, а только одно знаю на собственном горьком опыте, что, когда человек говорит этакое, значит, он не в себе. Молю вас, заклинаю, помогите мне вызволить Эржике; дороже ее у меня никого нету, она меня от верной гибели спасла, и я ей за это по гроб жизни обязана.

10

МЕЖДУГОРОДНЫЙ РАЗГОВОР

— Значит, мечешься из угла в угол.

— Неправда!

— Места себе не находишь. Каждую минуту принимаешь новое решение, бросаешься из одной крайности в другую.

— Ничего подобного!

— Иной раз ведешь себя так, что это уже переходит все границы.

— С чего ты это взяла? Приставила кого-то шпионить за мной?

— И шпионить незачем: достаточно прочесть твои сумбурные письма.

— Такая уж я есть, Гиза. Мне далеко до тебя с твоим самообладанием, с твоей целеустремленностью. Я и в двадцать лет так же бросалась из одной крайности в другую.

— Тебе уже не двадцать лет, Эржи. Пора бы поостыть,

— Ты это к чему?

— Так, к слову пришлось.

— В твоем замечании была какая-то колкость.

— О чем ты, какая колкость?

— Вот это мне и хотелось бы знать.

— Ну ладно. Будь добра, ответь мне откровенно: ты влюблена, что ли, в этого шута горохового?

— Я протестую!

- Против чего же?
- Непозволительно в таком тоне говорить о певце с мировой известностью.
- Не придирайся к моему тону. Отвечай: да или нет?
- Нет!
- К сожалению, в это трудно поверить.
- Ты знаешь, что я не привыкла врать.
- Я в этом не убеждена.
- А ты хоть раз поймала меня на вранье?
- Лучше оставим сейчас эту тему.
- Напротив, уж лучше все выяснить. Так вот: торжественно тебе заявляю, что я не влюблена в Чермлени. Он мне неприятен и даже более того — противен. Все в нем мне чуждо: его жадность, эгоизм, аморальность. Это какой-то дикий зверь.
- Прежде, когда я называла его чудовищем, ты обижалась.
- Чудовище и дикий зверь — это не одно и то же.
- Неужели есть разница?
- Да, есть.
- Ладно, не будем спорить на этот счет. Скажи, если ты разочаровалась даже в лучшей своей подруге и желаешь избавиться от этого Чермлени, то почему бы тебе не сделать так, как я прошу?
- Потому что меня многое держит здесь.
- Что тебя там держит?
- Тысячи разных нитей.
- Паула не в счет, Виктор тоже. Разве что Мышка и дочь, но и это очень слабые нити.
- Каждая по одиночке, может, и слабая ниточка, а вместе держат прочно.
- Значит, все-таки я права.
- В чем, родная?
- Да в том, дорогая моя, что ты до беспамяти влюблена в своего Виктора Чермлени, а эта твоя подруга, в которой ты души не чаяла, вскружила ему голову. Все тебя бросили, и ты в отчаянии.
- Бредовые фантазии, я даже отвечать на них не стану! Если хочешь знать, то Виктор за милую душу в прошлый четверг у меня ужинал, вот за этим самым столом, где я сейчас сижу...
- Что было на ужин?
- Все традиционные блюда, а к десерту хворост.
- Ну и что же, он его съел, твой хворост?

— Я надеялась, что останется соседям на ужин к следующему дню. Но он уплел все подчистую.

— Эржи!

— Ну, что тебе?

— Я уже сказала.

— Ты же знаешь, что мне и в прошлом году не удалось получить визу.

— Сейчас Венгрия оформляет Миши заказ на поставку искусственного волокна. Недавно ему звонил от вас заместитель министра. Ты можешь получить визу в течение трех дней.

— Я не могу уехать с насиженного места.

— Тогда мы были бы друг подле друга.

— Знаю.

— И ты ни в чем не испытывала бы нужды.

— Охотно верю.

— Ну приведи какой-нибудь разумный довод. Дай хоть какое-то приемлемое объяснение.

— Мы опять с тобой заболтались.

— Тебе известно, что эти расходы для меня не имеют значения.

— Но я жду звонка.

— От кого?

— Мышке должны звонить. Срочный заказ на шляпку.

— Взвесь наконец свое положение. Знаешь, кем ты там стала? Домашней прислугой!

— Никак не могу согласиться!

— С чем ты не можешь согласиться? Ты не живешь, а прозябаешь, состоишь в кухарках при этих своих учениках соседях. Думаю, что ты и уборкой занимаешься, только признаваться не хочешь.

— Прошу прощения, Гиза, но я не намерена дальше спускать тебе. Ты даже и представления не имеешь, как я на самом деле живу. Вовсе я не бедствую. Во-первых, мне идет пенсия по мужу, восемьсот семьдесят форинтов, а могли бы выплачивать и больше, если бы эти сутяжники из таксопарка не сумели доказать, будто мой несчастный Бела по собственной вине попал под машину. Во-вторых, деньги, которые адъюнкт с женой дают на питание. Эти чудачки по простоте душевной считают, будто дешево столуются. Так чтобы ты знала, Гиза: этих денег не только и мне самой хватает на пропитание, но еще и остается две сотни форинтов в месяц чистыми. Они платят за квартиру и несут половину расходов за телефон в

полной уверенности, что вторую половину плачу я. Как бы не так! Остальную сумму выплачивает Мышка. Подожди, Гиза, я еще не все сказала. Дочь с зятем, хотя я никогда их и не просила, присылают мне каждый месяц по почте триста форинтов. Вот и прикинь сама, Гиза. При том, что ни за квартиру, ни за телефон я не плачу, и на питание мне тратить не приходится, у меня в месяц набегает тысяча форинтов.

— Прислужой ты можешь быть и здесь. Ровно столько же, помимо полного пансиона, получает моя сиделка.

— Я предпочитаю быть прислужой здесь.

— Мы с тобой взяли какой-то неверный тон в разговоре.

— Прости меня, Гиза.

— Это я виновата, я очень нервничаю.

— Если из-за меня, то не стоит.

— Не только из-за тебя.

— Господи, уж не ухудшилось ли твое состояние?

— Нет, не ухудшилось. Ты знаешь, кто такой профессор Раушениг?

— Ну как же, твой лечащий врач.

— Во Франкфурте открылся санаторий, которым он заведует. Этому санаторию нет равных в мире: туда имеют доступ даже не десять тысяч из лучших семейств, а только элита в пятьсот человек. В воскресенье мы с Миши и Хильдегард побывали там.

— Уж не собираются ли тебя оперировать?

— Койки с помощью небольшого мотора подвергаются постоянной вибрации, чтобы избавить пациентов от пролежней. Одежд никаких не требуется, их заменяет электрообогреватель. В каждой палате установлена телекамера, и на контрольном пункте под постоянным наблюдением находятся все сто восемьдесят больных.

— По ведь у тебя поврежден центральный нерв.

— Раушениг считает, что надо попробовать.

— А доктор Лустиг ведь прямо сказал, что тут медицина бессильна.

— Профессора Раушенига приглашали на консилиум к Сталину.

— Ты кому больше веришь?

— Раушениг — друг дома. Кроме того, в нашем кругу каждый ревниво следит, как поступит другой, равный ему по положению. То бережливость считается хорошим то-

пом, то вдруг — расточительность. В таких случаях идти наперекор просто невозможно.

— Не слушай никого. Поступай, как тебе лучше.

— Для меня лучше всего, если бы ты приехала ко мне.

— Не проси меня об этом.

— Я никогда ни о чем тебя не просила.

— Ты внушила себе, будто я тебе необходима. А стоит мне приехать, и ты во мне разочаруешься.

— Мы всегда понимали друг друга.

— Это когда было, Гиза! А теперь немало таких пунктов, в которых мы расходимся.

— Назови хоть один.

— Наш отец.

— Ты имеешь в виду мои слова о том, что папа умер прекрасной смертью?

— Я имею в виду ту заведомую ложь, в которую ты уверовала.

— Это не телефонный разговор.

— Каратели в кровь разбили ему лицо, Гиза.

— Повторяю, это не телефонный разговор.

— Ведь это мы сами выдумали, будто отца расстреляли красные. Иначе маме не видать бы пенсии.

— Ради тебя самой прошу, прекрати этот разговор!

— Имя папы упомянуто в списке жертв террора.

— Где упомянуто?

— В книге «Зверства белого террора в комитате Яс-Надькун-Солнок». Из жителей Леты в списке замученных только двое: наш папа и доктор Миклош Санто.

— По-твоему, в книгах не может быть вранья?

— Соврали мы сами. А ты поверила в эту нашу легенду.

— Пусть так, пусть его избили каратели. Какая тебе корысть от этого?

— Никакой.

— Тогда чего же ты добиваешься? Хочешь вечно хранить там память об отце?

— Я просто привела пример, чтоб ты сама убедилась: на некоторые вещи мы теперь смотрим по-разному.

— Ну, это один случай.

— Есть и другие, Гиза.

— Какие же?

— Виза на выезд. Она мне не нужна.

— У вас там что, райская жизнь?

— Не сказала бы.

- У тебя там ни одной близкой души.
- Верно.
- Ты обслуживаешь чужих людей.
- Вкусно готовить всегда было моей страстью.
- Но пойми, ты нужна мне!
- И ты мне — тоже.
- Тогда почему же ты не хочешь приехать?
- Потому, Гиза, что я хочу околоть здесь.
- Похоже, нам не сговориться.
- Да, Гиза.
- Так что же нам делать?
- Не знаю.
- Прощай, Эржи.
- Прощай.

11

ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМО

Будапешт

Это письмо посылаю заказным и авиапочтой. Гиза, если ты действительно еще любишь меня, помоги мне, иначе я пропала! То, о чем я тебя попрошу, для меня — вопрос жизни и смерти. Вам же для того, чтобы все уладить, достаточно одного телефонного звонка или записки в несколько строк. Но я знаю, с каким недоверием Миши относится ко всем венграм, поэтому необходимо твое тактичное посредничество.

Я расскажу тебе все как есть, без прикрас, и тогда ты сама увидишь, до чего я докатилась. Утаивать мне так и так нет смысла, ведь когда у меня возникли только смутные подозрения, ты уже обо всем догадалась. Факт остается фактом, что Паула, «та самая Паула» (и тут ты оказалась права), эта мерзавка, потаскуха, эта шлюха подзаборная (другого слова для псе нету), действительно опутала Виктора. И с обворожительной улыбкой разглагольствуя за мраморным столиком в «Нарциссе» на музыкально-эстетические темы, она при этом не брезговала самыми низменными средствами, чтобы отбить его у меня!

Да только ведь меня — не то что Паулу — любят все официанты. (Точно так же, как почтальоны, продавцы в табачных лавках, мясники, хотя я и порядком ругаюсь с ними.) И вот этот симпатичный Фери — страдающий диа-

бетом официант из «Нарцисса» — и открыл мне глаза. Правда, меня и саму насторожило, что Паула, которая, как известно, «лишена чувства времени», вдруг заделалась пунктуальной. Она стала приходить на встречи со мною минута в минуту, и, даже когда мы были уже вместе, она нет-нет да и взглядывала на часы, словно торопилась куда-то. Уходить она каждый раз стала раньше, всегда у нее оказывалось какое-нибудь неотложное дело. Дошло до того, что однажды она едва успела заказать кофе, как тут же выдумала какой-то предлог и даже не стала дожидаться, пока подадут. Расплачиваться пришлось мне. И вот, когда я доставала деньги, Фери кивнул на дверь и говорит: «Ишь как спешит в Буду госпожа Паула». У нее, говорю, безотлагательные семейные дела. Знаем мы эти «безотлагательные дела», говорит Фери.

Оказалось, что из «Нарцисса» недавно уволили девушку, которая обслуживала кофеварку; то ли она обсчиталась где, то ли сама кого обсчитала. Словом, девушка эта устроилась в одну кондитерскую в Буде. На днях она заходила за своим форменным халатом и рассказала, что Паула, видно, подцепила себе какого-то ухажера, потому что каждый божий день они в той кондитерской встречаются и сидят в укромном уголке, друг к дружке прижавшись... «Ну, что вы скажете? — закончил Фери. — В ее-то годы!» Вы правы, сказала я, экая пошлость.

Я заподозрила неладное, но самого худшего, конечно, не предполагала. Без четверти восемь подхожу я к дому; в привратницкой дверь настежь, и кухонные ароматы — на весь подъезд. Принимаю: запеченный окорок. Что, говорю, у вас за праздник, милая, или вы теперь и по вечерам жарите-парите?

Хегедюш, привратница наша, троих дочек-гимназисток на ноги поднимает; вот она и подрядилась для желающих обеды стряпать, а дочки ее обеды эти разносят за казикам на дом. И я — поскольку Паула стряпуха ну-дышная — еще в самом начале нашей дружбы порекомендовала ей эту привратницу, так что Паула не знала, как меня и благодарить... Тут меня будто толкнуло что, я — в привратницкую. И что же я вижу, Гиза? Ты, наверное, догадалась. Вижу куриный бульон, запеченный окорок, сдобное печенье и огромные судки для пищи, но тут же все у меня поплыло перед глазами, огненные круги замельтешили. Ухватилась я за стенку и плюх на стул. Лапшичкой или галушками, спрашиваю, управляете

бульон, милочка? Велено, говорит, крупными манными клецками. А что это вы с лица какая бледная сделались?

С полчасу я провалялась на диване, пока не прошел приступ удушья. Потом отправилась к Пауле. Как обычно, на звонок открыла дверь зубная докторша. «Вы к госпоже Каус?» — спросила она, и, как всегда, неприветливо. Я соврала, будто у меня болит зуб, и докторша тут же стала обходительнее. Через минуту я уже сидела в зубо-врачебном кресле доктора Кауса, и задернутая портьерой дверь — единственное, что отделяло меня от комнаты Паулы.

Знаешь, сколько у меня зубов? Двадцать четыре собственных, и ни один не болит. Агоштон, докторша эта, конечно, сразу же обнаружила дырку в здоровом зубе. Спрашивает, сделать ли укол. Я говорю: не надо. Даже если бы она мне гвоздь загнала, я и то ничего бы не почувствовала, потому что в это время из соседней комнаты донеслось вожделенное причмокивание, и издавать эти звуки мог только Виктор.

Докторша начала сверлить зуб. Несколько раз она делала мне замечания, чтобы я не вертела головой. Слов я не могла разобрать, отчасти портьера приглушала, а отчасти бормашина, которая гудела над ухом, но, видимо, действует в нас какая-то особая сигнальная система. Ты меня знаешь, Гиза. Я долго могу терпеть, так что по моему виду ни о чем не догадаешься. Взрыв у меня наступает неожиданно. Некоторое время я сидела как истукан, так что даже докторша похвалила меня за дисциплинированность, но по долетавшим шорохам, звяканью посуды, обрывкам слов я уловила самый критический момент... Ты, конечно, осудишь меня. К сожалению, я чересчур энергично оттолкнула докторшу. Сорвала портьеру, о чем теперь тоже сожалею. Распахнула дверь и появилась там, как и предполагала, в самый подходящий момент.

Не стану уверять тебя, Гиза, будто бы я была совершенно спокойна; однако если бы я не увидела блюдо с потрошками и зеленью, я бы еще, пожалуй, могла совладать с собой. За столом, прикрыв необъятный живот столь же необъятной салфеткой-простыней, восседал этот старый негодник и со сладострастными стонами и всхлипываниями смотрел, как Паула наливает ему бульон. Это не было для меня неожиданным ударом. Увидеть, как бывший оперный певец, а ныне старик-пенсионер ест куриный

бульон, — от этого еще никто не умер. Но когда я убедилась, что эта женщина, на которую я чуть ли не молилась, неделями и даже месяцами методично вытягивала из меня все самые сокровенные тайны, вот тут я закусила удила.

Должна тебе пояснить, Гиза, что Виктор любит процеженный бульон. При этом куриная печенка должна подаваться отдельно, в маленькой кастрюльке, а на блюде, тоже отдельно, должны быть выложены вареная петрушка с зеленью, куриный желудок и шейка, ну, и манные галушки. Увидев это блюдо с зеленью, потрошками и галушками, я схватила его и опрокинула на голову Пауле; та завизжала и выскочила за дверь, замаскированную обоями, а манные галушки стекали у нее по волосам. С тех самых пор я ее милость не видела.

Ты меня знаешь, Гиза: стоит мне сорвать злость, и я тут же остываю. Смею утверждать, что в последующие минуты я вела себя безукоризненно; даже ты была бы мною довольна. В создавшейся ситуации у меня было одно преимущество, а именно то, что Виктор не мог тотчас же вскочить с места. У него дурная привычка (впрочем, других за ним и не водится, сплошь одни дурные) во время еды снимать под столом ботинки. Видимо, он их ногой затолкал куда-то, а в носках предстать стеснялся; он шарил ногой под столом и никак не мог нащупать ботинки. Я же с надменным спокойствием, почти любезно сказала ему: «Сожалею, что почтеннейшая госпожа Каус покинула нас. А вас, уважаемый сударь, я отныне и знать не желаю».

Как он закричал, заюлил, засуетился — это надо было видеть, Гиза! Я, оказывается, превратно истолковала обстоятельства, и потому он умоляет выслушать его. «Сочувствую вам, — сказала я ему, — однако вынуждена вас просить в дальнейшем избавить меня от ваших посещений». На это он заявил мне, что не может жить без меня; конечно, мне эти слова были приятны, но, слава богу, я от них не растаяла. Напротив, тут меня осенила гениальная мысль, и я ответила: «Я же, со своей стороны, надеюсь, что вы свыкнетесь со стряпней моей дворничихи».

Помню, что в руках я еще сжимала сорванную портьеру. Я была до такой степени спокойна, что аккуратно сложила ее, попросила докторшу простить меня великодушно и удалилась с гордо поднятой головой. Я чувство-

вала себя счастливой, свободной, во всем теле ощущала невесомую легкость. Довольная собой, я легла спать и спала как младенец, а наутро проснулось вся истерзанная, будто проглотила острое лезвие. Каждая клеточка во мне исходила кровью. Я вмиг осознала то, в чем никогда не решалась признаться самой себе: что я люблю этого человека.

Что я после этого пережила, врагу не пожелаю. Не сердись, но я не в силах таить в себе свои муки. Мне вспоминается сейчас тот вечер в больнице, когда я осталась вдовой. Я сказала тогда: «Теперь всему конец, Гиза». Ты процитировала какого-то немецкого поэта. Старость, сказала ты, это сплошная цепь компромиссов, но после каждой сделки нам удастся хоть что-нибудь урвать у жизни. «Чем меньше нам достается, тем оно для нас ценнее...» Та малость, которую урвала я, — это моя любовь.

Теперь я могу тебе во всем открыться: это Виктор должен был приехать из Солнока. Его ждала я в тот момент, когда нас фотографировали, ему я радовалась, навстречу ему бежала. В тот вечер я впервые отдалась ему. Признаюсь, что наша связь длилась все эти долгие годы, в Лето и в Будапеште, до моего замужества и после, вплоть до того самого дня, когда несчастного Белу из операционной привезли в палату. Едва успев очнуться после наркоза, он сразу принялся взглядом искать меня; и тут я разревелась. С тех пор я больше не позволяла Виктору прикасаться ко мне; но я не переставала его любить и просто не пережила бы, если бы мне довелось потерять его. Объятия сменились ужинами. Он ел отвратительно — с жадностью, как задыхающийся хватает воздух, — но зато он ел *мою* стряпню... Гиза, даже покупать продукты для ужина и то было для меня радостью: брать в руки мясо, зелень, которые он потом съест. Я пишу чувшь несусветную, но что делать, если я и люблю его так же безрассудно! Люблю даже этот его необъятный живот. Люблю его имя — Виктор! — и не только само имя, но каждое слово, которое хоть чем-то его напоминает. В войну я сочувствовала англичанам, пожалуй, только из-за пресловутого жеста Черчилля, адресованного немцам: два пальца, расставленных буквой V — victoria. Ты спросишь: если я до беспамятства любила его, то как могла таить это даже от себя самой? Не спрашивай, Гиза. Выходит, могла. Могла таиться даже от самой себя; но только до утра прошлой среды.

Сейчас расскажу тебе, что произошло с того утра. Когда ты узнаешь, до чего я дошла, ты не откажешь мне в помощи. Ну, а твоё желание — для Миши закон.

Проснувшись, я сразу схватилась за телефон. У меня было такое чувство, что, не поговори я с Виктором, я тут же умру. К сожалению, эта старая мегера, его мать, узнала меня по голосу. После первого же моего «алло!» она бросила трубку.

Я какое-то время выждала. Позвонила снова. И опять трубку сняла его мамаша.

После этого я поставила перед собой часы и принялась названивать ему через каждые десять минут, однако Аделаида Брукнер теперь уже вообще не снимала трубку.

Тогда я написала ему письмо, в котором все объяснила. Отправила письмо срочной почтой, но матушка перехватила его (на следующий день оно вернулось ко мне нераспечатанным).

К вечеру я подослала с запиской Мышку, которую эта карга не знает в лицо. Однако она заподозрила неладное и выставила Мышку за порог.

Когда стемнело, я отправилась туда сама. Они живут на улице Бальзака, квартира расположена в бельэтаже, по счастью, невысоком, так что если встать на цыпочки, то с противоположного тротуара можно заглянуть в окна.

Виктор тоже был дома, судя по тому, что в обеих комнатах горел свет. Его самого не было видно, зато я хорошо видела эту фурию, его мамашу, которая бездельничала, рассевшись под торшером.

Я прождала с полчаса в надежде, что Виктор, может, подойдет к окну и я дам ему знак. К сожалению, он так и не показался.

На мое счастье, прямо против их окон я обнаружила телефон-автомат. Я вошла в кабину и набрала номер Виктора. Заметив, что к телефону опять подходит старуха, я повесила трубку.

Ты знаешь, Гиза, какой настырной я могу быть, если меня доведут! Я засела в будке. Не знаю, сколько я ждала, но в конце концов Аделаида Чермлени-Брукнер заерзала в кресле, встала, прошлепала через всю комнату и нырнула в дверь, скрытую обоями. По всей вероятности, ей захотелось в уборную. Я моментально набрала номер. И что бы ты думала? Эта мегера не поленилась даже из уборной выскочить! Пришлось снова бросить трубку.

Я решила сделать последнюю попытку. Прямо над моей головой, тоже в бельэтаже, помещалась довольно известная школа танцев. «Курс танцев для взрослых» — эта ее реклама, расклеенная в трамваях, то и дело бросалась в глаза. Я позвонила у входа. Дверь открыла супруга учителя танцев. При виде меня она несколько опешила, но затем провела меня в танцевальный зал. Мы сейчас проходим «ча-ча-ча», сказала она, а я любой ценой пытаюсь незаметно подобраться к окну.

Мадам толковала мне, что современные танцы доступны для любого возраста.

Я сказала, что тоже об этом слышала, только как-то не верилось. Приглядевшись к танцующим, я сделала несколько шагов.

Позволительно ли поинтересоваться, сколько мне лет?

Шестьдесят два, сказала я и протиснулась между двумя парочками.

Это еще не возраст, утешила меня мадам. О чем она еще говорила, убей, не знаю, потому что наконец-то я добралась до окна и увидела его! Духотища в тот вечер была невероятная, и он, разоблачившись до трусов, лежал на софе под струей маленького вентилятора. Я давно не видела его раздетым. С тех пор он растолстел еще больше. Я даже не пытаюсь быть объективной, иначе мне пришлось бы сказать, что больше всего он походил на чудовищную тушу. Но до объективности ли тут, когда боль полоснула такая, что я едва удержалась от слез!

Пока мадам, не переставая, зудела мне что-то в ухо, я ловко пыталась привлечь внимание Виктора, но под конец вынуждена была оставить попытки. Еще с полчаса я проторчала в подъезде. Свет погас сначала в комнате Виктора, затем в соседней. Но я все равно не в силах была уйти. Я смотрела на темное окно, где перестал гудеть даже вентилятор, пока подъезд не закрыли на ночь. Привратник подозрительно уставился на меня, пришлось отправиться домой, я едва успела на последний автобус.

Дома я легла. Ты знаешь, как легко я засыпаю обычно; но тут я и глаз сомкнуть не могла. Мысленно я пыталась расправиться с Паулой, изобретая всевозможные способы смерти. Вот в руках у нее взрывается электрическая лампочка, и от Паулы остается мокрое место... Я ломала голову, как мне быть, что делать дальше. Заснула я где-то под утро.

Утром я снова позвонила Виктору. Говорила я тоненьким детским голоском; мне вспомнилось, что Виктор помимо хора хлопчатобумажной фабрики ведет еще какой-то детский хоровой кружок. К телефону опять подошла его мать. Я наплела, будто из-за острого воспаления миндалин не смогу участвовать в сегодняшней спевке. Старуха клюнула на удочку. Не расстраивайся, деточка, сказала она, сегодняшняя ваша репетиция все равно не состоится, потому что господин хормейстер сегодня вечером выступает в Доме культуры в Надьбабоне...

Где он находится, этот злополучный Надьбабонь и как туда добраться? От волнения меня прихватила такая одышка, что даже целой таблетки нитромина оказалось недостаточно.

В ящике стола у адьюнкта я отыскала автодорожный атлас. Как оказалось, Надьбабонь находится в комитате Боршод. Я вовремя поспела на автобус, который в восемь вечера подвез меня прямо к надьбабоньскому Дому культуры.

Я тотчас направилась к кассе и выяснила, что сегодня будет кино. О выступлении столичных артистов никто ничего не знал. Возможно, сказали мне, концерт состоится не в самом Надьбабоне, а при надьбабоньском сахарном заводе. Там тоже есть Дом культуры, и автобус из Пешта там останавливается. Разумеется, тот автобус, которым я приехала, давно ушел.

Я заглянула в автодорожный справочник. Расстояние до сахарного завода восемь километров, и через двадцать минут должен пойти следующий автобус.

Ровно час я прождала на остановке, после чего выяснилось, что по этому маршруту автобусы ходят только в свеклоуборочный сезон. Ну, а поезда? Нет, и поезда не ходят. Как же туда добраться? Пешком или на попутной машине.

Ах, Гиза, сколько я ни сигналила, ни одна попутная машина не остановилась! Кончилось тем, что я плюнула и пошла пешком. Огоньки Надьбабоня остались позади, а дальше — тьма, хоть глаз коли, но я иду себе и иду. Чувствую, как чулки начинают сползать и сбиваются в туфлях. Затем кожа на щиколотках напряглась, того гляди лопнет: верный признак, что ноги стали отекать. Но я шла и шла без остановки. Перешла через какой-то мост, миновала шлагбаум. Опять кругом темнота. Тут я почувствовала, что и трико начинает с меня сползать. Ну, ду-

маю, если и дальше так пойдет, то вся одежда с меня свалится. Но тут меня нагнал грузовик. Я сунула шоферу десятку, и он меня подвез.

В Доме культуры при сахарном заводе в тот вечер не было ни кино, ни других мероприятий. Там даже свет нигде не горел. Я принялась барабанить в окно; наконец оттуда высунулась какая-то тетка и в ответ на мои расспросы сообщила, что столичные артисты действительно приезжали сюда на машине, но, поскольку было продано всего четырнадцать билетов, они выступить отказались и сразу же поехали дальше.

Когда окошко захлопнулось, я ничего не почувствовала. Ни разочарования, ни боли, ни отчаяния. Мне страстно хотелось одного: увидеть хоть где-то светящееся окошко и выйти на тот огонек... Я опять двинулась в темноту. Можно было различить только контуры предметов. Вот дерево. Вот складское помещение. Это — бетонная ограда. А это — железнодорожная колея, вот шпалы. Выбраться обратно на шоссе я не сумела и решила идти наугад по шпалам.

Я шла и шла и вдруг почувствовала, как откуда-то потянуло густым, сладковатым и очень знакомым запахом. Я остановилась, приняухалась и пошла дальше с такой уверенностью, будто мне точно указали путь. И вот далеко-далеко я увидела огонек: в окне горел свет.

Гиза, ты помнишь нашу весовую в Лете? Весовщика звали Лайош Сэл. Когда привозили свеклу на взвешивание, обычно я снимала показания весов, а ты записывала в книгу; Лайош только указывал тебе, в какую графу... И вот когда я шла к этому освещенному окну, у меня вдруг возникло чувство, будто я видела где-то этот дом необычной конфигурации, поднималась по этим ступенькам, входила в эту дверь, здоровалась с этим человеком... Представь себе, это действительно оказался он, дядя Лайош из Леты, вернее, его сын. Он и теперь работает весовщиком, но только в свеклоуборочный сезон, а в остальное время числится ночным сторожем. У него я поужинала, у него же и заночевала. Обходился он со мной сверхпочтительно.

Мы об этом Лайоше ничего знать не могли: он появился на свет, когда мы уехали из Леты. Но зато он слышал о нас столько хорошего! Он знал, что ты вышла замуж за единственного сына Данцигеров и живешь очень счастливо. Я, правда, вышла за бедняка, помощника про-

визора, но тоже счастлива в браке. А уж какие мы были раскрасавицы и между собой дружные! Дерзкого слова от нас никто никогда не слышал, только шутки да смех. И мы занимались плаванием, играли в теннис, когда это еще не было принято среди барышень. Про тебя говорили, что ты более сдержанная и умная, а я более резвая, своенравная. У тебя глаза были чудо как хороши, а у меня — волосы. Что же касается нашего бедного дорогого папы, то он был непревзойденный знаток своего дела. Только войдет, бывало, в вагон со свеклой, потянет носом разок-другой и в точности определит содержание сахара; лабораторный анализ впоследствии всегда подтверждал его мнение. А я таких подробностей даже не знала. Разговорились мы далеко за полночь. Я позабыла обо всех своих горестях и уснула почти блаженным сном.

Наутро меня ждал готовый завтрак. Теплая вода для умывания. Новая губка, которую хозяин наверняка бережно хранил не один год. После завтрака он запряг какую-то дряхлую клячку. Вместо брички тоже оказалось нечто допотопное о четырех колесах. Сам он, невозможная смущение, примостился рядом со мной, чтобы отвезти меня к автобусной остановке в Надьбабонь. А по дороге и говорит: «Вот уж не думал, не гадал, что удостоюсь чести прокатить младшую барышню Скалла!» Каждое слово, каждый жест его проникнуты были рыцарской почтительностью, адресованной непонятно кому. Нашему отцу? Нам самим? Или она была вызвана какими-то другими чувствами, о которых мы не догадываемся? Я не могу понять этого до сих пор. В пристанционном буфете Надьбабоня он купил мне две булочки с ветчиной, чтобы я не проголодалась в дороге.

Обратное путешествие тоже прошло чудесно. Какой-то солдат встал и уступил мне свое место. А сидевший рядом мальчик поменялся со мной местами, — пропустил меня к окну. Дорога шла через горы, солнце пробивалось сквозь зелень деревьев, мелькали разные названия станций, а я всюду видела милую нашу Лету. Все беды, которые ждали меня дома, снова вернулись ко мне только под вечер, когда я переступила порог своей комнаты. Я огляделась по сторонам. Должно быть, сходное чувство испытала ты в тот момент, когда Миши на руках снес тебя в ваш фамильный склеп. Разница лишь в том, что я здесь замурована заживо! Вот он, под рукой, телефон, да позвонить некому. В двух шагах от меня улица, а пойти

некуда... Я без сил рухнула на постель. За стеной, в соседней квартире мяукнула Мышка.

Это у нас такая игра. Я прихожу домой, Мышка мяуканьем окликает меня, тогда я выпускаю соседскую кошку, и та отзывается на Мышкин голос. Мышка отвечает кошке, а кошка — Мышке... Собственно, это даже и не игра, а такой у нас обычай. Я встаю с постели, открываю дверь. Кошки нет как нет. Зову — не идет. Прошла на соседскую половину, всюду обыскалась, кошки и след простыл, даже ящик с песком и тот исчез. Гнусный, завистливый сброд, вежливые автоматы без души, без сердца! Предпочли передарить кошку в чужие руки, лишь бы мне не доставалась!

Дорогая Гиза, замолви словечко Миши. Ведь столько знаменитостей приезжает к вам на гастроли! Не пойми меня превратно, я и не мечтаю об оперном ангажементе, такой нагрузки Виктору теперь не выдержать. Как видишь, я сужу вполне объективно. Зато профессионализм и культура пения у него сохранились, и петь с душой он может; к примеру, с песнями Шуберта он и теперь бы не осрамился, даже в Германии. Все это я пишу ради Миши, поскольку знаю, что он сторонится венгров и, очевидно, не без основания. Но в Викторе он не разочаруется! Ты меня знаешь, Гиза: просить кого-либо об одолжении — для меня нож острый. Но сейчас положение у меня совершенно безвыходное. Наверное, и у вас в ходу такая форма гастролей, когда группа артистов разъезжает на машине по разным городам, каждый вечер они выступают на новом месте. О большем я и мечтать не смею; я была бы тебе благодарна по гроб жизни, если бы при содействии Миши мне удалось преподнести Виктору сюрприз: контракт на заграничное турне. Представляешь, какую удивленную мину он бы скроил! Но если с приглашением в Западную Германию не получится, то для нас и Австрия сойдет; вдруг с Веной у Миши более тесные контакты! Первый вариант был бы предпочтительнее потому, что тогда мы могли бы повидаться с тобой. Ведь Виктор едва ли отважится на столь утомительное и долгое путешествие без меня, ну, а я, со своей стороны, не отказалась бы сопроводить его... Поговори с Миши. Дело не терпит отлагательства. Контракт вышли авиапочтой. Нет, это тоже не выход, авиапочта идет три дня. Как только будет подписан контракт, уведоми меня телеграммой.

(Это письмо Эржебет Орбан порвала в клочки.)

ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМО

(Отправленный вариант)

Буданеиш

Посылаю это письмо авиапочтой исключительно для того, чтобы успокоить тебя.

Ты, Гиза, во много раз умнее меня, но именно потому ты иногда усложняешь самые простые вещи. Ведь это надо же до такого додуматься: будто бы я влюблена в Виктора, в этого дурака набитого, а Паула, поверхностная, но в общем вполне порядочная женщина, будто бы вскружила ему голову! Бред, да и только.

Они вовсе даже и не подходят друг другу. Паула — в этом я полностью с тобой согласна — не способна на глубокие чувства. В начале нашей внезапно вспыхнувшей дружбы я несколько переоценила ее; время показало, что и здесь ты была права. Только при моей глупости можно было растрогаться от проявленного ею интереса к моей жизни. Ах, сколько она задает мне вопросов! Ах, как она участлива! А оказалось, что это не более чем рисовка. Или, вернее, что-то похожее на патологию. Когда моего бедного Белу сбilo такси, то помимо внутреннего кровоизлияния он получил еще сотрясение мозга. Врачи сказали, что этим объясняется нарушение водного обмена. Перед кончиной он, бедняга, выпивал по пять литров воды за сутки, и, несмотря на это, ему постоянно хотелось пить. Примерно так же обстояло и у Паулы с этой ее жаждой выпрашивать. Вроде бы она испытывала неутомимую потребность знать все про все, а что ей ни ответишь, она пропускала мимо ушей, ей одинаково безразличны как собственные вопросы, так и чужие ответы. Я заметила за ней это, только когда она в пятый раз принялась расспрашивать меня об одном и том же. Вернее, даже не я, а Виктор подметил эту ее странность, но, щадя мою чувствительность, не стал сразу мне говорить. Лишь после своего выступления он решился упомянуть об этом в очередной наш четверг, да и то в прихожей, где он от растерянности не мог даже нащупать выключатель.

Вот что он сказал: «Единственная моя (это у него такая форма обращения), я не вправе вмешиваться в вашу личную жизнь. Ваша подруга Паула — женщина элегантная, и манеры у нее безукоризненные, но она пу-

ста, как выведенное яйцо. Вы, конечно, можете общаться с ней, если это доставляет вам удовольствие, я же попросил бы впредь избавить меня от встреч с нею. Я знаю, что она больна и болезнь ее сопровождается повышенной температурой, но мне неприятно, что от нее постоянно разит потом. Впрочем, это все пустяки. Главное же в том, что дамская внешность теперь оставляет меня равнодушным, а упиваться блеском чужого остроумия мешает леность собственного ума. Для меня куда ценнее ваш абсолютный музыкальный слух, ваше молчаливое участие, ваше внимание, которые сопровождали меня с самого начала моей карьеры и ее взлета вплоть по сегодняшний день. Мне хотелось бы сохранить эту дружбу до могилы».

Виктор несколько сентиментален, но искренняя его привязанность подкупает. И вот это его предупреждение и твое недоверчивое отношение к Пауле — постепенно отрезвили меня. Нет, до открытого разрыва дело не дошло; просто наши свидания в «Нарциссе» мало-помалу стали реже, я под разными предлогами старалась уклониться от встреч. Теперь лишь она время от времени звонит мне в надежде увидеться, но я каждый раз нахожу какую-нибудь отговорку.

Все это я пишу только для того, чтобы ты не беспокоилась за меня. Ты же, хоть ради меня, обещай, что не станешь спешить с операцией. Какое-то чутье подсказывает мне, что все эти мюнхенские светила не умнее дядюшки Лустига.

Звонил торговый партнер Миши, с которым ты опять прислала мне посылку. Что бы в ней ни оказалось, я принимаю ее с благодарностью, но мне хотелось бы, чтобы впредь ты перестала это делать. Правда, в прошлый раз я сама просила тебя прислать платье из голландских кружев, но это тоже остается на совести Паулы. Пусть между нами все будет, как и прежде, Гиза. Такая уж, видно, у меня дурацкая натура, что мне приятнее самой давать людям; если же я принимаю от них, это меня унижает. Отнесись ко мне с пониманием. Единственная роскошь бедняка — его гордыня.

ПОСЛЕДНИЕ ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ ЧАСА

Ночная прогулка в Надьбабонь не прошла вдове Орбан даром. Ноги у нее распухли, как тумбы, трое суток она была вынуждена проваляться в постели; но даже на четвертый день ни одни туфли не налезали.

Однако больше она не могла валяться без толку; элегантно разодетая, но в домашних шлепанцах отправилась она из дома в свой последний путь.

Впрочем, вынужденное свое затворничество она сносила спокойно, или, вернее, покорно. Супруги Сабо, приготовившись к худшему, с удивлением обнаружили, что Орбан не только смирилась с утратой кошки, но даже, когда они объявили ей, что свою жилплощадь на год уступают семье лаборанта с двумя детьми, это не было встречено ею в штыки. Кстати, предположение о том, что чета Сабо из ревности сплавила кошку в чужие руки, оказалось ошибочным. Адьюнкт и его жена неожиданно получили Рокфеллеровскую стипендию на год; поэтому кошку они препоручили родителям жены, а комнату временно сдали внаем.

Узнав эту новость, Орбан заметила лишь, что и она была бы не прочь съездить на годик в Америку.

В колодец свет проникает только сверху. Старость же освещается только прошлым. Старики — подобно ребенку, у которого одна-единственная книжка с картинками, — без конца листают одни и те же страницы. Бывают, однако, среди стариков и такие, кому одной книги оказывается недостаточно. Орбан, к примеру, когда воображение увлекало ее, ловко умела обходить собственные воспоминания, будто лужу на дороге. Но в последний день своего вынужденного лежания она велела Мышке извлечь из глубины шкафа обувную коробку, в которой хранились старые фотографии, письма, газетные вырезки со статьями музыкальных критиков и прочие разные пустяки — памятные вехи прожитой жизни.

— Смотри не перевороши, — цыкнула она на Мышку. Фотографии, на которых были изображены люди, она проглядела мельком. Ей не хотелось видеть лица. Она искала что-то другое.

— Взгляни-ка, — сказала она Мышке, — вот он был, тот завод.

— Какой завод?

— Сахарный завод Данцигеров.

— А почему вы сказали «был»?

— Потому что его закрыли.

— Зачем же его было закрывать? Прелесть, до чего милый заводик!

— Он устарел и перестал приносить прибыль. Когда Лайоша Сэла перевели в Надьбабонь, туда же перевезли и все оборудование. В квартирах для служащих первое время еще оставалось несколько жильцов, но впоследствии Тиса размыла шоссе, и добираться из поселка в Лету стало хлопотно. Крыши растащили, вдоль стен вымахал бурьян. (На фотографии виднелся лишь угол дома, поросшего плющом.)

— Жалость какая! — вздохнула Мышка.

— Написать об этом Гизе у меня так и не хватило духу.

— У меня и то сердце кровью обливается.

— Принеси-ка вон ту коробку, перевязанную шнурком.

У Орбан скопилась целая уйма разных коробок, но ни в одной она не нашла того, что искала. Настал черед ящика шкафа. И тут Мышка обнаружила крохотный заклеенный пакетик, судя по описанию хозяйки, именно тот, что был нужен. Пакетик вскрыли: в нем находились какие-то мелкие обрывки бумаги.

— Что это? — спросила Мышка.

— Сейчас увидишь. Возьми банку из-под компота, налей воды больше чем до половины и принеси сюда.

Бумажные клочки в воде принялись набухать, расти, разворачиваться, и через несколько минут, к величайшему изумлению Мышки, в воде колыхались экзотические цветы самых причудливых форм и красок.

— Как называется это чудо? — спросила Мышка.

— Японские волшебные цветы.

— Откуда же у вас эта красота неопишуемая?

— Раньше их продавали во всех табачных лавках.

Орбан велела Мышке накрыть банку целлофаном, стянуть резинкой и упаковать в шелковую бумагу. Сверток она поставила на подоконник.

— Кому вы хотите это подарить? — любопытствовала Мышка.

— Одному человеку, сентиментальному вроде тебя. А теперь давай сюда мои туфли.

Туфли не налезли. На следующее утро и в полдень — та же история. И во второй половине дня — тоже. К тому

времени Орбан до того распалась, что в сердцах плюнула на свои опухшие ноги. Надела шлепанцы. Принарядилась. Подвела ресницы черной тушью. Заказала такси. Бережно прижала к себе банку с японскими цветами. На улице Бальзака она остановила такси за два дома раньше. Она надеялась, что если придет пешком, то сумеет незаметно прошмыгнуть в подъезд. Не тут-то было.

Аделаиде Чермлени-Брукнер весной исполнился девяносто один год. Все, что на лице ее когда-то было выпуклым, теперь стало вогнутым, будто по рельефу отлили барельеф. С медицинской точки зрения она была слепой, однако определенные, как правило, нежелательные объекты обостряли ее эмоциональную зоркость, словно бомбардировали ее глаза потоком альфа-частиц. Она запросто могла бы налететь на афишный столб, зато паука способна была углядеть даже на закопченном потолке своей комнаты. Эржи Орбан, к примеру, которая относилась скорее к разряду пауков, нежели афишных тумб, старуха учуяла издали. Не дожидаясь звонка, она распахнула дверь; тем самым расчет Орбан застать хозяев дома врасплох провалился.

— Ты к кому? — встретила ее старуха вопросом. — Держу пари, что не ко мне.

— Будь любезна, Адика, разреши мне войти.

Аделаида Чермлени-Брукнер впустила ее, но сесть не предложила. Сама она тоже осталась стоять. Старуха боялась многих вещей на свете, но больше всего она остерегалась перелома шейки бедра, поэтому старалась как можно реже вставать и садиться. По этой же причине она никогда не выпускала из рук туристский посох с острым железным наконечником, которым был истыкан весь пол.

— Раньше ты хоть изредка навещала меня, а теперь только и знаешь, что околачиваться по ночам у нас под окнами. Что с тобой стряслось?

— Мне хотелось бы поговорить с Виктором, Адика.

— Насколько мне известно, ты порвала с ним.

— Поэтому я и хочу с ним поговорить.

— К твоему сведению: мне пришлось вызвать к нему районного врача. Ему делали укол за уколом, и теперь, когда он наконец-то успокоился, я не позволю снова волновать его.

— Я не стану его волновать, Адика.

— И вообще я довольна ходом событий.

— Каких событий?

— Нет-нет, милочка, не подходи ко мне ближе!

Каждого, кто приходил с улицы, старуха считала бациллоносителем. В комнате стоял резкий запах обезьянника, так как окна не открывались годами. И не только из-за боязни микробов: извечный страх профессиональных певцов перед сквозняками у Аделаиды Чермлени-Брукнер превратился в манию.

— Всю жизнь ты была злым гением моего сына. К сожалению, он до сих пор, как малое дитя, не может устоять перед соблазном.

— Это заблуждение, Адика! Я никогда и ничем его не соблазняла.

— Каждый четверг ты пичкала его, как гуся, хотя ему нельзя прибавлять ни грамма. И эта манера звонить по ночам, когда он должен спать! Так что оставь свои домогательства, милочка, никакими словами ты не заставишь его изменить свое решение.

— Какое решение?

— Не подходи ко мне! Единственное, что мне хотелось бы знать, детка: чего ты, собственно, добиваешься от Виктора?

Воздух был спертый, как в гробнице фараонов. По стенам были развешаны серые, пропыленные лавровые венки и выгоревшие трехцветные ленты; казалось, достаточно одного прикосновения, чтобы они рассыпались во прах. Орбан отступила. Сделала глубокий вдох.

— Я люблю е г о , — сказала она.

— Ненормальная! — заключила Аделаида Чермлени-Брукнер.

— Будь добра, Адика, не говори со мной в таком тоне.

— Сколько, бишь, тебе лет, деточка?

— Шестьдесят два будет.

— Ах, будет? — бывшая певица, а ныне пенсионерка, потрясла своим туристским посохом. — Тебе, дорогая моя, хотелось бы выдать желаемое за действительное. Будто я не помню, что ты с тысяча восемьсот девяносто девятого года! Кстати, что у тебя на ногах, туфли или тапочки?

— Тапочки.

— Ну, вот мы и дома! В туфли она втиснуться не может, а явиться сюда и задурить голову бедному парню — это пожалуйста... И всегда ты была такая! Хлебом ее не корми, только дай взбаламутить людей, потрепать им нервы!

— Мне бы хоть десять минут поговорить с ним, Адика.

— Если ты действительно любишь Виктора, не становись ему поперек дороги.

— Ну, хотя бы пять минут.

— Хочешь разрушить его счастье? И не притворяйся, будто тебе ничего не известно.

— Что мне должно быть известно?

— Так они тебе ничего не сказали?

— Кто?

— Дети.

— Какие дети? О чем мне должны были сказать?

— Что они решили пожениться.

Орбан стало нечем дышать. Воздух в комнате сделался тягучим и вязким, как плавленный сыр.

— Ах, об этом? Как же, сказали! — выдавила она из себя между двумя судорожными вдохами.

— Возможно, тебе это неприятно слышать, но я лично очень довольна таким оборотом дела. Твоя подруга — во всем тебе противоположность: она и сама женщина спокойная, и на других действует успокаивающе. Прошу тебя, не подходи ко мне!

— Все равно я хочу...

— Чего ты хочешь?

— Поговорить с Виктором в последний раз. Я имею право на это.

— Но его нет дома.

— Я слышу его сопение.

— Тебе послышалось.

— Можно я загляну к нему в комнату?

— Они ушли покупать электрогрелку.

— Так я могу пройти к нему?

— Ты что, не веришь мне на слово?

Орбан прошла в комнату Виктора. Там не было ни души. На раздвижной тахте, застланной вытертым плюшевым покрывалом, лежала гигантских размеров пижама. При виде ее вдове Орбан пришлось ухватиться за спинку тахты, чтобы не упасть.

— Тебе дурно? — спросила Аделаида Чермлени-Брукнер.

— Нет, все в порядке.

— Одышка, что ли? — допытывалась бывшая оперная колоратура.

— Я абсолютно здорова.

— Передо мной можешь не притворяться, — сказала певичка. — Сейчас дам тебе таблетку нитромина.

— Не нужны мне никакие лекарства.
— Тогда, может, сигарету с астматолом?
— Благодарю. Не требуется.
— Я смотрю, ты обиделась. А только напрасно отказываешься, у меня лекарств — целая аптечка.

— Но я никаких лекарств не принимаю. У меня лично, — добавила она, выразительно подчеркнув эти слова, — нет никаких органических заболеваний.

Отступление прошло относительно успешно. В подъезде она приняла таблетку нитроминта и решительной, быстрой походкой направилась по улице, чувствуя на себе взгляд Аделаиды Чермлени-Брукнер.

Она не сбавила темпа, даже когда уже скрылась с глаз престарелой певицы. Что-то подгоняло, подстегивало ее, будто бы тот поступок, к которому она готовилась, мог быть совершен только в строго установленный час.

Войдя в первую попавшуюся аптеку, она попросила трубочку снотворного. Ей не дали, потому что у нее не было рецепта.

Тогда она вспомнила, что поблизости есть еще одна аптека, где работает знакомый ее мужа. Представившись провизору, она напомнила, что ее покойный муж когда-то был помощником провизора в аптеке «У янычаров». Знакомый мужа — за неимением рецепта — предложил ей какое-то безобидное успокоительное средство, но она отказалась.

Теперь к подстегивающей ее спешке прибавилась и нервность. Всякое движение вокруг казалось ей как бы замедленным. Трамвай слишком медленно тащился в Буду, кондуктор с раздражающей неторопливостью щелкал компостером, пробивая билеты. А постовой регулировщик, как назло, еще и перекрыл движение. Орбан встала за спиной вагоновожатого, словно бы так скорее можно было добраться до цели.

Попав наконец в Буду, она направилась в парикмахерскую, которую в свое время порекомендовала ей Паула. Здесь ей пришлось изрядно прождать. Когда подошла ее очередь, она попросила мастера перекрасить ей волосы, чтобы они опять стали седыми.

Мастер и слышать не хотел. Радоваться надо, сказал он, что удалось получить этот теплый, естественный оттенок; и вообще перекрашиванием седина не восстанавливается.

— Но, господин Фабиан, — нетерпеливо перебила она, — я хочу стать седой!

Мастер пояснил, что этот оттенок красного дерева можно бы снять обесцвечивающим составом, а затем обработать волосы синькой, но какой получится результат: седина, льняная белизна или морковно-желтый оттенок, — гарантировать невозможно.

Все равно, какой ни получится, сказала она, только пусть парикмахер приступает поскорее.

Волосы получились седыми, без какого бы то ни было ненатурального оттенка. Несмотря на это, Орбан разругалась с кассиршей, у которой не оказалось мелочи.

Она сходила и разменяла деньги. Затем села в автобус, который должен был привезти ее к дому дочери, но сошла гораздо раньше, заметив у очередной остановки телефонную будку.

Не успела она туда подойти, как будку занял долговязый юнец с рапирой под мышкой. Он говорил со своим приятелем, долго и пространно.

В телефонной будке были выбиты два стекла. Дождавшись своей очереди, Орбан мыском домашней туфли ритмично постукивала об угол кабины. Время от времени губы ее беззвучно шевелились, словно она сочиняла фразы, которые предстояло сказать.

Долговязый молодой человек распространялся о том, что он вовсе не влюблен. Перечислил поименно трех других своих приятельниц, судя по всему, предшественниц его теперешнего «предмета». Ни в одну из них, утверждал молодой человек, он тоже не был влюблен, хотя и признает, что со стороны это могло выглядеть иначе. А вообще любовь, по его мнению, — иллюзия, самообман, в котором участвуют двое, и третьему, со стороны, никогда и не понять, что на самом деле происходит между ними. Факт, он признает, что у него эгоцентрический склад характера, да, он прагматик, обеими ногами стоит на земле. А может, он по своей конструкции вообще не приспособлен для любви, на этот счет у него имеется кое-какой опыт. Парень только было собрался поделиться этим своим опытом, но тут разговор прервали. Молодой человек выскочил из будки и побежал покупать жетон для автомата. К тому времени как он вернулся, Орбан успела занять будку и дозвониться до Виолы Агоштон, зубной докторши и соседки Паулы. Парень, тыча рапирой в асфальт, нетерпеливо дождался у выбитого окна.

Орбан просила докторшу кое-что передать ее соседке. Она, мол, специально улучила этот момент, так как знает, что Паула уехала в город покупать электрогрелку, и, значит, можно избежать с ней личного контакта. Да и передать-то она просит всего лишь, пусть Паула не винит себя, что бы с ней, Орбан, ни случилось. Паула — слишком мелкая сошка для того, чтобы играть хоть какую-то роль в ее жизни. В равной мере это относится и к некоему третьему лицу — Паула сообразит, о ком речь, — которое для нее, Орбан, вообще пустое место. Она просила докторшу непременно упомянуть, каким спокойным и бесстрастным тоном говорила она об отношениях упомянутых лиц. Ей действительно кажется, что те двое подходят друг другу. И она от души желает им обоим успехов, счастья, здоровья, да-да, в первую очередь здоровья.

Но как она ни сдерживалась, голос ее при последних словах предательски дрогнул. Дальше остается предположить, что эта минутная слабость только усугубила копящееся в ней раздражение. Выходя из телефонной будки, она зацепилась ногой за рапиру и обрушила на долговязого парня поток слов — грубых и даже чересчур. Эта же раздраженность не давала покоя ей и в такси, когда она ехала к Илуш. Она придиралась к тому, что такси тащится слишком медленно, а в гору вообще ползет еле-еле, что снаружи машина грязная, а внутри провоняла чесноком. Поскольку шофер выслушал все ее замечания с полнейшим равнодушием, Орбан была взвинчена до предела и, готовая в любой момент разрядиться, как перегруженный аккумулятор, позвонила в квартиру своей дочери.

У Илуш были гости.

Орбан хотела ретироваться, но прежде попросила дочь дать ей какое-нибудь сильнодействующее снотворное.

Однако Илуш пояснила, что все лекарства хранятся у мужа в запертом ящике письменного стола; правда, Йожи вызвали на операцию, но это было еще до ужина, так что он должен скоро вернуться.

Орбан вошла. Илуш представила ей трех своих сотрудниц, а затем усадила мать в кресло возле торшера. Она принесла ей бокал вермута, несколько бутербродов, заграничный иллюстрированный журнал, где были помещены фотографии лунной поверхности с обратной стороны, и вернулась к своим гостям.

Все четверо развлекались игрой, которую они же сами и придумали. Каждому участнику поочередно задавался вопрос: какое-нибудь сложное научное или техническое понятие, — и нужно было перевести его на немецкий, английский и русский. Тот, кто не мог ответить на вопрос, вносил десять филлеров штрафа в общую казну, а за удачный ответ на трех языках можно было сорвать весь банк. Таким образом, игра эта была не только поучительной, но и азартной. Участницы ее обложились словарями — для решения спорных вопросов, и на все время игры включили магнитофон: при очередной встрече приятельницы прокручивали последнюю запись, что было хорошим способом повторения пройденного.

Орбан какое-то время созерцала фотографии оборотной стороны Луны, а потом задремала. Она очнулась, когда гости собрались уходить.

Илуш проводила гостей. Потом она убрала со стола, вытряхнула пепельницы, но выключить магнитофон забыла. Йожи еще не вернулся и по телефону не позвонил, что втайне нервировало Илуш. Их разговор с матерью, который продолжался минут десять, по причине внутренней взвинченности обеих перешел в резкую перепалку.

Было уже близко к полуночи, когда позвонили из больницы. Йожи просил передать, что операция неизвестно сколько продлится, так что пусть Илуш не ждет его, а ложится спать.

Орбан тоже решила, что не стоит ждать. Илуш лишь в прихожей заметила, что на ногах у матери шлепанцы. По-видимому, это вызвало в ней некоторое сочувствие; обычным своим сухим, деловым тоном она попросила извинить ее за все сказанное в запальчивости. Орбан кивнула, сказала, что не обижается, и ушла.

По крутой будайской улочке она пешком спустилась вниз и одним из последних трамваев добралась до больницы. Привратник только после долгих объяснений согласился впустить ее. Она поднялась в хирургическое отделение. Остановилась в коридоре перед операционной. Молодая сестра, которая вышла из операционной, спросила, по какому она делу.

— Я жду своего зятя, — ответила она.

— А кто он, ваш зять? — допытывалась сестра.

— Йожеф Гал.

— Пока еще неизвестно, когда кончится операция, сказала сестра.

— Ничего, я подожду, — кивнула Орбан.

Она села на окрашенную белой краской скамью. Через минуту она уже спала.

13

МАТЬ И ДОЧЬ

(Магнитофонная запись на квартире у Илуш)

— У вас накрашены губы, мама. И даже глаза подведены!

— Тебе тоже не мешало бы краситься.

— Я в парикмахерскую и то не хожу, хотя постоянно на людях, работаю с утра до вечера. Голову мою дома, и все-таки у меня всегда вид приличный.

— Капустный кочан тоже воображает о себе, будто он красивый.

— Неужели вы не понимаете, мама, что сами делаете из себя пугало?

— По-твоему, если женщине шестьдесят один год, то она должна выглядеть, как смертный грех?

— Не досчитались, мама: вам будет шестьдесят пять.

— Шпилька вполне в твоём духе. Ну, ничего, когда-нибудь ты об этом пожалеешь, да только поздно будет.

— Никогда я не пожалею о том, что просила родную мать не выставять себя на посмешище.

— Это еще вопрос, кто из нас двоих более смешон.

— Кто из нас двоих влюблен в этого Чермлени, я или вы?

— Кто угодно, только не ты. Бесчувственный чурбан не способен влюбиться.

— Прошу вас, заклинаю: бросьте вы этого мерзкого шута! Мало вам, что он загубил вашу молодость, так хотите, чтобы он отравил вам и старость?

— Я всю жизнь видела от него только добро.

— Всем он врал, всех обманывал напрапалую. Это ни для кого не секрет, только вы, мама, об этом знать не желаете.

— Если он когда и лгал, то лишь для того, чтобы не огорчать другого. Да и обманы его все были по пустякам. В этом огромном человеке заключено большое, нежное сердце и необъятная преданная душа.

— Услышь я подобное от двадцатилетней девчонки, я бы умилилась ее перевозданной наивности. Но когда такие слова произносит старуха, тошно слушать.

— Мне тоже противно слушать, когда дочь в таком тоне разговаривает с матерью.

— Поверьте, мама, я делаю это не от хорошей жизни. Но у меня нет другого выхода. Те, от кого я ждала помощи, отстранились.

— От кого это ты ждала помощи?

— Неважно теперь, раз уж не получилось.

— Я все равно желаю знать.

— От человека, с мнением которого вы считаетесь.

— Ты посмела наябедничать Гизе?

— Я обрисовала ей ситуацию.

— Исподтишка сделать гадость — этим ты отличалась всю жизнь. Ну, и что она ответила?

— Как обычно: выдала набор глубокомысленных изречений.

— Покажи письмо.

— Его у меня нет.

— Где же оно?

— Порвала, чтобы Йожи не увидел.

— Не хватает духу показать мне письмо!

— Отчего бы мне не показать его, будь оно у меня?

— Оттого, что и Гиза тебя недолюбливает.

— А вы, мама, кого любили, кроме этого шута горохового?

— Всех на свете. Даже тебя любила, пока ты была маленькая.

— Оно и видно! Младенцем до груди ни разу не допустили.

— Потому, что твой отец строго-настрога запретил кормить тебя, чтобы не испортить грудь. Бедняга был помешан на этом.

— Сроду вы с отцом не считались! Даже когда с ним случилось несчастье, мы не могли вас отыскать.

— Когда его привезли из операционной, я уже ждала его.

— Должно быть, и в тот день развлекались со своим Виктором.

— Только раз взглянул на меня, бедняга, и все. Потерял сознание.

— Почему вы не решаетесь посмотреть правде в глаза? Стыдитесь собственных воспоминаний?

— Начни я жизнь сначала, я опять во всем поступила бы точно: так же.

— Прожили бы жизнь точно так же?

— Да, для меня моя жизнь была прекрасной.

14

ПИСЬМО ГИЗЫ К ИЛУШ

Гармиш-Партенкирхен

Ты пишешь, что я единственный человек, с мнением которого считается моя сестра. Не знаю, насколько это так, и не знаю даже, хочу ли я вообще, чтобы она следовала моим советам. Тебе было семь лет, когда мы простились с вами на аэродроме. Ребенок часто судит по внешним признакам. Авторитет же не всегда есть признак духовного преимущества, порою он прикрывает собой внутреннее банкротство, когда у человека в душе пустота. Мне кажется, что ты неверно понимаешь наши истинные взаимоотношения. Я всегда взирала на твою мать снизу вверх. Какой прок, что я жила в достатке, спокойствии, благополучии; я смотрела на нее с уважением, даже когда понимала, что она поступает безумно, опрометчиво. Если я из двух возможных вариантов всегда выбирала наиболее удобный, у нее хватало мужества идти на риск. Оглядываясь на прожитую мною жизнь, я вижу анфиладу блестящих залов, сверканье хрустальных люстр и зеркальные паркетки, но — без людей. Мой покойный супруг, обладатель крупного состояния, до самой смерти пребывал в страхе потерять свои капиталы. Миши также является жертвой подобного страха. Твоя мать никогда не ведала страхов. Никогда не подавляла в себе свои естественные чувства. С Виктором Чермлени я едва знакома, потому что сестра всегда старалась прятать его от меня. Возможно, он и вправду «шут гороховый», и, по всей вероятности, ты права, пытаешься уберечь мать от него. Я тоже боюсь за нее, но в то же время и завидую ей. Парализованная на обе ноги, я наполовину мертва, но не потому, что нахожусь на склоне жизни, а оттого, что у меня хватало мужества жить лишь вполсилы. Какой же совет могу я дать своей сестре? Опасайся, Эржи, обманщиков и проходимцев? Старайся, как и я, жить вполсилы? Следуй моему примеру? Избегай опасностей? Вместо этого я луч-

ше дам совет тебе: постарайся, детка, извлечь для себя урок из жизненного опыта твоей матери, хотя бы в той мере, в какой можно учиться на опыте других. К сожалению, я никогда ошибок не совершала; вся моя жизнь была подобна долгой зимней спячке, потому что я боялась холода жизни.

15

СНОТВОРНОЕ

Занимался рассвет. От бессонной ночи лицо Йोजи заметно осунулось. Глаза покраснели и ввалились.

— Давно вы здесь сидите, мама?

— Я заходила к Илуш. А от нее — прямо сюда.

— И с тех пор так и дожидаетесь?

— Я присела на скамейку и заснула.

— И вы еще просите снотворное? — Йोजи рассмеялся. — Хороша бессонница, если человек способен уснуть, сидя на жесткой скамейке!

Йोजи покачал головой и опять направился в операционную. Потом вышел оттуда с трубочкой снотворного. Орбан поблагодарила.

— Вы видели когда-нибудь человека, который засыпает на ходу? — спросил Йोजи, двумя пальцами массируя лоб.

— Я верю, что ты устал, мой мальчик.

— Тогда хоть посочувствуйте мне.

— Сочувствую тебе, сынок.

— Теперь поцелуйте меня. — Он подставил щеку.

Она чмокнула его в щеку и пошла к выходу. Йोजи окликнул ее:

— Случилось что-нибудь, мама?

Она отрицательно качнула головой.

Йोजи, хотя сам от усталости валился с ног, поспешил догнать ее.

— Дайте-ка я на вас взгляну, мама.

— Чего на меня глядеть?

— Что-то вы бледны немного.

— Не бледнее, чем всегда.

— А отчего у вас бессонница?

— Оттого, что не спится.

— Однако здесь, на жесткой скамейке, вы заснули?

— Вздремнула просто.

— Вы не больны?

— Нет.

— И с вами ничего не случилось?

— Абсолютно ничего.

— Честное слово?

— Честное слово.

— Ну, хорошо, — сказал Й о ж и . — Обождите минуту. Дайте-ка мне обратно это снотворное.

Он унес в операционную трубочку со снотворным и дал Орбан взамен другое.

— Это снотворное намного сильнее, — сказал он.

— Спасибо тебе большое.

Она спустилась по лестнице. Светало. Кроны деревьев проступали из тумана — легкой утренней дымки бабьего лета.

Улицы были точно вымершие. Ни машин нигде и ни единого человека. В такой час площади кажутся шире, улицы длиннее, а все дома — выше. Орбан — единственная живая частица безлюдного города — походила скорее на мелкий, вслепую катящийся неодушевленный предмет, нежели на человека. И кругом — ни звука, только шарканье ее домашних туфель.

Весь дом еще спал, но парадное было уже открыто.

На цыпочках она пробралась к себе в комнату, чтобы не потревожить спящих соседей.

Села на кушетку, потеряла спину, все еще ноющую после сна на жесткой скамейке.

Затем она встала и, стараясь не поднимать шума, принялась разбирать и приводить в порядок свои вещи. Долго искала, куда бы положить пустую кофейную банку, будто очень важно было, где эта жестянка потом очутится.

Рядом с кушеткой стоял стакан воды, приготовленный на ночь.

Орбан села па кушетку, ссыпала в стакан таблетки снотворного, подождала, пока они постепенно растворились в воде, потом помешала в стакане пальцем, отчего вода вспенилась пузырьками и превратилась в густую белую жидкость, похожую на молоко.

Она тяжело вздохнула и выпила противную жидкость.

Еще раз глубоко вздохнула. «Вот и в с е , — сказала она себе. — Вот и все».

Она улеглась на кушетку, но прежде машинально, по привычке, подстелила под ноги газету. Не успела она вы-

тянуть ноги, как газета соскользнула на пол. Она встала, подняла газету, постелила ее на место. Опять легла. Закрыла глаза. Глубоко дыша, она скрестила руки на груди и стала ждать.

Через какое-то время она опять встала, бесшумно прокралась в ванную и мокрой ватой смыла краску с ресниц. Посмотрела на себя в зеркало и ужаснулась. Затем снова легла, скрестила руки на груди, закрыла глаза. Принялась ждать.

В такой позе она пролежала довольно долго.

Потом снова открыла глаза. Сбросив домашние туфли, она осмотрела свои ноги; отеки спадали на глазах. «Странно, — подумала она, — ведь до этого двое суток не было никакого улучшения. Впрочем, не все ли равно теперь», — докончила она свою мысль. Она снова улеглась на кушетку и закрыла глаза. Потом вдруг вскочила как подброшенная и беспокойно огляделась по сторонам.

— Что за чертовщина! — проворчала она. — Совсем не действует!

Сидя она вытянула вперед руки и пошевелила пальцами, словно перебирая клавиши рояля.

— То-то же! — довольная, пробормотала она. — Пальцы уже немеют.

Она вытянулась на кушетке, скрестила руки на груди. Из соседней комнаты Мышка осторожно постучала ногом в перегородку. Орбан на мгновение приоткрыла глаза, но на стук не ответила.

Минут через пятнадцать зазвонил телефон. Орбан открыла глаза. Некоторое время она слушала, как надрывается телефон, потом встала.

Звонили Мышке, одна из ее заказчиц, привередливая дамочка, которая имела обыкновение раз пять возвращать одну и ту же шляпу на переделку. Орбан довольно раздраженным тоном заявила, что в данный момент ей некогда с ней разговаривать. Но услышав, что эта истеричка посмела назвать «слишком спортивной» зеленую шляпку, которую сама же в ее, Орбан, присутствии просила выполнить «на манер охотничьей шляпы», Эржи взвилась на дыбы.

— Давайте говорить начистоту, уважаемая! — сказала, а вернее, закричала она. — Эту самую шляпку, которую моя приятельница дважды для вас переделывала, вы в конце концов одобрили, расплатились за нее и взяли.

Тем самым мы со своей стороны считаем вопрос улаженным. Я знаю, что до сих пор вы всячески злоупотребляли уступчивостью моей приятельницы, но на сей раз ваш номер не пройдет. Может, она-то и согласилась бы еще раз переделать вашу шляпку, но смею вас заверить, уважаемая, что в таком случае вам придется иметь дело со мной!

— Барахольщица проклятая! — ругнулась Орбан, снова укладываясь на кушетку, и опять скрестила руки на груди. На сей раз, однако, у нее оказалось еще меньше времени, чтобы подготовиться к собственной кончине, потому что минуту спустя после телефонного разговора задребезжал звонок в прихожей.

Она поспешила к двери. У порога стояла привратница с тарелкой в руках, тарелка была аккуратно прикрыта салфеткой. Поняв по лицу Орбан, что та готова взорваться, привратница смутилась. Она попросила прощения, что заявила некстати. Орбан заверила ее, что ей ничуть не помешали. Привратница Хегедюш сказала, что принесла госпоже Орбан на пробу шоколадного безе; она испекла его по новому рецепту, и, кажется, безе вполне удалось. Орбан поблагодарила, но, сославшись на то, что сейчас у нее нет аппетита, обещала отведать безе немного погодя. Привратница явно почувствовала себя задетой. Ну, хоть одну штучку, упрасивала она, потому как ей не терпится узнать мнение госпожи Орбан. Пришлось попробовать; Орбан съела безе, похвалила и тут же взяла еще одно печенье, совершенно осчастливив привратницу Хегедюш.

Остатки печенья — шесть штук — она поставила на тумбочку у кушетки. Снова легла, но потом приподнялась на локте и съела все шесть штук безе.

После этого она откинулась на спину, закрыла глаза, скрестила на груди руки и минуту спустя погрузилась в глубокий, освежающий сон.

16

ПОСЛЕДНЕЕ «ПРОСТИ»

(Полусон)

В молодости она была слегка горбоносой (что, впрочем, не лишало ее женственности). К старости лицо ее вытянулось, нос заострился, что, вместе взятое, придава-

ло ее облику выражение строгости. Смерть же смягчила это строгое выражение, лиловатые, склеротические жилки, испещрившие кожу, исчезли, вернув ей девическую свежесть. Правда, дряблые желтоватые мешки под глазами так и остались, зато все морщины разгладились, черты сделались спокойны, подобно тому как под воздействием прекрасной музыки вдохновенно преображается даже самое безобразное лицо.

Сейчас ей действительно больше шестидесяти двух было не дать. Этот факт констатировала привратница Хегедюш. «А лоб какой гладкий, будто мраморный», — сказала молочница Миштот. Вы спросите, как она там очутилась? Ах, да не все ли равно! Знакомых собралось столько, что в комнате яблоку упасть было негде. Все плакали, причитали и единодушно сошлись на том, что Орбан необычайно помолодела.

В последний путь ее провожала такая уйма народу, что на кладбище было черным-черно от множества фигур в трауре.

Похоронную процессию возглавляла Гиза, и этот факт тоже довольно трудно объяснить. Самоубийство Орбан настолько потрясло окружающих, что никому не пришлось в голову телеграммой известить сестру. Однако Гиза безо всякого извещения, повинувшись неизъяснимому внутреннему побуждению, прибыла на родину именно в день смерти своей сестры.

С аэродрома ее на «скорой помощи» доставили на квартиру Орбан, откуда в день похорон опять же в карете «скорой помощи», вместившей инвалидное кресло-коляску, отвезли на кладбище.

Орбан похоронили рядом с мужем.

Когда гроб опустили в могилу, Виктор Чермлени, всемирно прославленный оперный певец, склонясь над могилой, возопил:

— Эржи, не покидай меня! Эржи, вернись!

Не ухвати его несколько человек вовремя, и он рухнул бы за ней в могилу. А так он только кричал. Глаза у него покраснели от слез, жилы на лбу вздулись, мощный голос его заполнил собою все кладбище, выплеснулся за каменную ограду, раскатился до главных ворот, — да что там, еще дальше! — до конечной остановки автобуса.

КОШКИ-МЫШКИ

Орбан глубоким сном проспала с утра и до второй половины дня.

Разбудил ее звонок у входной двери. Когда звонок сменился нетерпеливым гроханием в дверь, она с трудом поднялась и, держась за столы-стулья, побрела открывать.

В дверях стояли двое санитаров с носилками. На носилках лежала Гиза.

В первый момент она просто не поняла, что происходит.

— Да что же это такое! — обрушилась она на непрошенных гостей. — Помереть не дадут спокойно!

Гиза смотрела на нее снизу вверх. Орбан шагнула к ней, склонилась над носилками. У нее перехватило горло.

— Гиза! — пробормотала она. — Родная, любимая моя Гиза...

Гиза в полной уверенности, что сестра хочет поцеловать ее, приподнялась на локте и подставила ей свою беломраморную щеку.

Однако Орбан вместо этого зевнула.

— Представь себе, — сказала она, — мне приснилось, будто бы ты приехала. И санитары доставили тебя ко мне.

Ей действительно приснилось нечто в этом роде. Правда, не все обстоятельства совпадали, но это неважно...

Откуда они сейчас прибыли, спросила она санитаров.

Прямо с аэродрома, ответили санитары.

— Вот видишь! — воскликнула Орбан. — Что я тебе говорила?

Она посторонилась. Санитары внесли носилки. Она проковыляла за ними и опять взобралась на кушетку. Санитары вышли, чтобы принести кресло-коляску, а она, сидя на кушетке по-турецки, заспанными глазами, сквозь редешую пелену сонного дурмана наблюдала за тем, что происходит в комнате.

Санитары подняли и усадили Гизу в кресло-коляску.

Гиза поправила прическу.

Она была так хороша, что санитары и те глаз не могли отвести от нее. В черном платье, черных перчатках, в ожерелье из крупного черного жемчуга, с ослепительно-

белой сединой и такой же ослепительно-белой кожей, она напоминала негатив с фотографии негритянской мадонны.

Гиза попросила подать ей сумочку. Вынув кошелек, она вручила санитарам по стомарковому банкноту.

Санитары оторопело уставились на ассигнации; Гиза решила, что им этого мало, и вытащила еще два стомарковых билета.

— Премного благодарны, — прочувствованно сказал тут один из санитаров. — Этого нам за труды вполне достаточно.

Санитары распрощались и ушли. Дверь захлопнулась. Сестры остались одни.

Гиза развернула кресло, чтобы лучше видеть сестру. — Я смотрю, дорогая, ты опять стала седой.

Орбан ответила не сразу. В первый момент человек не ощущает боли даже от огнестрельной раны. Она изучающе смотрела на свои лодыжки; отеки еще не прошли окончательно. Вдруг она резко опустила ноги и расплакалась.

Сердце сжималось смотреть, как она плачет. Обычно человек в слезах изливает горе, надеясь хоть чуть облегчить душу и тем самым начать выкарабкиваться из беды. А Орбан рыдала и рыдала, не убаюкивая себя надеждой, а только глубже погружаясь в бездонное свое горе.

Все лицо ее было мокрым от слез. Когда человеку все безразлично, он слез не вытирает. Орбан всхлипывала, шмыгая носом. Плакать тоже можно красиво, но порой даже и в этом нет смысла.

Гизу охватил ужас. Что стряслось, спросила она сестру.

Орбан только махнула рукой, продолжая плакать.

Гиза подкатила свое кресло к кушетке. Перегнувшись через поручень, она протянула к сестре руки.

Орбан оттолкнула ее.

— Осел безмозглый, — всхлинула она, указывая на дверь, будто бывший оперный певец стоял у порога. — Совсем рехнулся на старости лет, ни стыда, ни совести.

— Что все-таки случилось? — спросила Гиза. — Вы поссорились?

У Орбан слезы катились градом. Все лицо ее расплылось, мешки под глазами набрякли.

Гиза беспомощно смотрела, как она плачет. Когда ры-

дания сменились жалобными всхлипываниями, она попросила сестру высморкаться.

Орбан отмахнулась.

Гиза принялась умолять ее успокоиться и излить душу. Возможно, если она выговорится, ей станет полегче.

Орбан и тут отмахнулась было, но потом без всяких дальнейших уговоров, голосом, прерывающимся от слез, выложила все как на духу. (За исключением попытки отравиться снотворным.) Отдельные события, о которых она ранее сообщала в своих письмах, сейчас она пересказала заново, однако на сей раз были вкраплены такие эпизоды, о которых она прежде тщательно умалчивала. (Залитое красным вином платье супруги адьюнкта, визит к Аделаиде Чермлени-Брукнер и т. д.)

Когда она кончила рассказывать, Гиза, спрятав лицо в ладонях, содрогнулась и сказала, что более печальной истории она в жизни своей не слышала.

Это явно польстило Орбан. Она глубоко вздохнула и принялась шарить по карманам в поисках носового платка. Не найдя его, она высморкалась в шелковый чулок, висевший на спинке стула.

Гиза попросила ее подвинуться к ней поближе.

Орбан подползла к краю кушетки.

Гиза привлекла ее к себе и стала гладить. Она говорила ласково, успокаивающе, дав каждому из участников этой истории очень мудрую и в то же время тактичную характеристику.

Паулу, к примеру, она причислила к тому типу обворожительно-безнравственных женщин, «звезда которых быстро закатывается».

О Чермлени же она сказала, что такие «на первый взгляд легкомысленные и своенравные богемные натуры» под конец всегда начинают соображать, «у какой печки теплее».

Орбан была целиком и полностью согласна с этими характеристиками. Она выпрямилась, села на кушетке и — снова указав на дверь — заявила:

— Вот увидишь, он на брюхе приползет опять ко мне.

Гиза поинтересовалась, как поступила бы сестра в случае, если это произойдет.

Орбан заявила, что вышвырнула бы его вон.

Судя по всему, Гизу это не до конца убедило, потому что она покачала головой и привела одну из максим Ла-

рошфуко: «En vieillissant, on devint plus fou et plus sage»¹.
Понятно ли ей, спросила она сестру.

Орбан сказала, что непонятно, но это не имеет значения. Она, как это с ней уже не раз происходило, от одного присутствия Гизы, как по мановению волшебной палочки, излечилась от всех своих бед и горестей.

А ведь она еще и не произнесла волшебного слова, с улыбкой заметила Гиза.

Что это за волшебное слово, спросила Орбан.

Лета.

Что значит — Лета?

Лета есть Лета, улыбнулась Гиза. Их родной, незабываемо прекрасный край. Там они поселятся...

Кто это там поселится, поинтересовалась Орбан.

Они обе.

С какой это стати им селиться в захолустье, допытывалась Орбан.

Лета не захолустье, сказала Гиза. Лета — это Лета.

Но кому это нужно, изумилась Орбан.

Им обеим, а в первую очередь ей, Эржи, пояснила Гиза.

Нечего с ней разговаривать как с больной, она еще не свихнулась, заявила Орбан.

Гиза выразительно посмотрела на нее.

— Я вернулась на родину, — сказала она, — затем, чтобы ты утешила меня, дорогая. Но теперь вижу, что ты больше меня нуждаешься в утешении.

— Ну и свинья же я! — воскликнула Орбан. — Ко мне приехала сестра, которую я шестнадцать лет не видела, а я только о себе да о себе!

Ее охватила нежность, бурная и безудержная, как нервный приступ. Она обнимала-целовала Гизу, взад-вперед катала ее кресло, чтобы отыскать для нее наиболее удобное место, засыпала ее вопросами, почему она не дала телеграмму о своем приезде, уж не случилось ли какой беды и если не случилось, то зачем она приехала на родину, не устала ли она, не проголодалась ли, не выпьет ли чаю, кофе, минеральной воды, обычной воды из-под крана. Даже спросила, не надо ли ей по малой нужде.

¹ К старости люди становятся безрассуднее и мудрее (*фр.*)

— Ничего мне не надо! — оттолкнула ее Гиза. — И хватит ходить вокруг да около!

Орбан спросила, кто это ходит вокруг да около.

Она, Эржи, кто же еще, сказала Гиза, должно быть, потому, что ей не нравится идея переселиться в Лету.

Орбан заявила, что она готова примириться со всем, чего хочет Гиза. И вообще она сыта этим вонючим Будапештом по горло, так что с радостью уедет хоть к черту на кулички.

Гиза спросила, не кривит ли она душой.

Она говорит откровенно, заверила ее Орбан.

Гиза заявила, что не полностью убеждена в этом.

Орбан предложила взять с нее клятву.

Гиза отказалась.

Орбан все же поклялась.

Гиза вздохнула. Хорошо, если так, сказала она. Потом поинтересовалась, можно ли нанять машину от Будапешта до другого города.

Орбан сказала, что можно.

А можно ли заказать эту машину по телефону.

Можно.

Если они хотят осмотреть Лету, сказала Гиза, то лучше всего было прямо сейчас заказать эту машину, при условии, конечно, что существует такая машина, где вместится и ее кресло-коляска.

Тут Орбан стала проявлять явные признаки раздражения. Она сказала, что и в Будапеште можно заказать такси по телефону, далее, существуют два типа такси, большая машина и маломестная, и вообще собаки и здесь поднимают заднюю ногу, как и во всем мире, но дело не в этом; просто, к ее бесконечному сожалению, из этой затеи ничего не получится, потому что бывший завод Данцигеров уже десять лет как перевели из Леты в другое место и в прежних квартирах для служащих теперь никто не живет.

О чем же тут сожалеть, спросила Гиза; по крайней мере, им никто не станет мешать.

Но беда в том, что квартиры эти совершенно непригодны для жилья. Крыши и оконные переплеты порастащили на дрова, стены оплел плесень.

И это не беда. Более того, можно отстроить дом заново таким образом, как для них будет лучше, сказала Гиза.

Отстроили бы, да не на что, сказала Орбан.

Как это не на что? Миши будет счастлив им помочь.

На это возразить было нечего. Помрачнев, Орбан уставилась перед собой.

Гиза хотела взять ее за руку. Орбан руку отдернула.

Гиза грустно улыбнулась. Она еще раз попыталась красноречивыми и разумными доводами убедить сестру. Ведь Миши тоже не желал понять, почему она так рвется обратно в Лету, но для Миши это слово — ничего не значащее географическое название. Для них же, сестер Скалла, «длинная фраза их жизни» может завершиться лишь тем словом, с которого она началась. Ей приелась жизнь в Гармиш-Партенкирхене, и у нее такое ощущение, что Эржи тоже сыта по горло всеми этими историями с Паулой и Чермлени, вечной суматохой и неустойчивостью. Она надеется, что Орбан разделяет эти ее чувства.

Гиза выжидательно смотрела на сестру, которая, позабыв о приличиях, вместо ответа мяукнула.

Что бы это значило, спросила Гиза.

Ничего, сказала Орбан.

Но ей послышался какой-то звук, настаивала Гиза.

Ничего особенного. Просто она разок мяукнула, сказала Орбан.

Зачем она это сделала?

Затем, что Мышка вернулась с работы. У них так заведено, что Мышка, придя домой, дает о себе знать мяуканьем, а она отвечает ей.

Ах, вот оно что, сказала Гиза.

Орбан попросила разрешения позвать к ним Мышку.

В другой раз, сказала Гиза, конечно, при условии, если Мышка не обидится.

Мышка на редкость чувствительная натура, сказала Орбан и кулаком стукнула в перегородку.

Мышка тотчас явилась и расплзлась от счастья, будучи представлена сестре Эржике. Она готова была провалиться от смущения, когда Орбан, знакомя их, сказала, что Мышка до того ловко умеет подражать соседской кошке, что и не отличишь.

Когда же Орбан пожелала, чтобы Мышка мяукнула, та деликатно, но решительно воспротивилась.

Орбан прикрикнула на нее, чтобы не кривлялась, не то по шее схлопочет.

Мышка зарделась всеми своими прыщами. Застенчиво отвернулась. Потупила голову, как великие певцы перед началом ведущей арии. И даже после своего выступления так и не решилась поднять глаз.

Ну каково, спросила Орбан Гизу.

Гиза вежливо улыбнулась. Сказала, что замечательно.

Мышка выпалила, что Орбан умеет это делать ничуть не хуже.

Орбан не пришлось упрашивать. Она даже отворачиваться не стала, а мякнула прямо в лицо Гизе.

Гиза рассмеялась. Такого она от своей сестры и не ожидала, сказала она.

Окрыленная похвалой, Орбан велела Мышке занять место по другую сторону стола. Сперва они, перегнувшись через стол, после каждого очередного мяуканья стучались носами, а затем, ухватившись за край стола, обошли его вокруг, соприкасаясь при этом кончиками носов.

Это, конечно, еще больше насмешило Гизу.

Орбан вошла в раж. Быстро, решительным тоном отдавала она распоряжения. Мышку выставила в прихожую, а сама отворила шкаф и спряталась за дверцей.

Гизе она объяснила, для чего это нужно. Игра гораздо увлекательнее, сказала она, когда кошки не видят друг друга.

Сначала Мышка мяукала снаружи, а Орбан из-за дверцы шкафа зазывно отвечала ей. Затем Мышка кончиком носа толкнула дверь и, возбужденно мяукая, на карачках вползла в комнату.

— А теперь будь добра следить повнимательнее, дорогая Гиза, — предупредила сестру Орбан.

Она вылезла на четвереньках из шкафа и, сердито мяукая, бросилась на Мышку. На ковре завязалась нешуточная борьба. Орбан, несмотря на значительную разницу в возрасте, удалось оттеснить Мышку под стол.

В пылу сражения обнаружилось, что Мышка невероятно боится щекотки. Тогда Орбан начала тыкать ее носом в чувствительные места, отчего та время от времени взвизгивала.

— Тебе нас видно? — интересовалась из-под стола Орбан.

Гиза успокаивала ее, что видит преотлично.

Между тем Мышка от многочисленных толчков и тычков стала еще больше бояться щекотки. Обессилев от смеха, визга, мяуканья, она попыталась выскользнуть из-под стола, но Орбан пустилась в преследование.

Гоняясь друг за дружкой вокруг стола, они поочередно просили Гизу вмешаться; то Мышка молила ее о помощи, то Орбан наущала креслом-коляской преградить противнику путь.

Однако Гиза, покатываясь со смеху, не в силах была пошевелиться.

И тут Мышка исподтишка подстерегла Орбан, опрокинула ее навзничь и ползком перелезла через нее. Халатик ее, зацепившись за что-то, порвался вдоль, позволяя увидеть ее худенькое, костлявое тело, обтянутое тонким розовым трико. Завидев, что Орбан опять переворачивается на живот, она взвизгнула и широкими прыжками, как лягушка, ускакала в прихожую, а оттуда через коридор — к себе домой.

Орбан преследовала ее только до передней. Смеясь, кричтя, с трудом переводя дыхание, возвратилась она в комнату и без сил ткнулась лицом в кресло Гизы.

Вскоре Гиза позвала ее по имени.

Орбан с большим трудом удалось сесть.

— Чего тебе, Гиза? — спросила она.

Гиза склонилась к ней.

— Прости, — шепотом сказала она, — но я наделала под себя.

Орбан попыталась подняться, но не сумела.

— Бедняжка ты моя, — вздохнула она. — А ведь перед этим я тебя спрашивала.

— Тогда мне еще не хотелось, — сказала Гиза. — Я не привыкла так подолгу смеяться.

— Сейчас, — сказала Орбан. — Дай только отдышаться.

Лицо у нее было чумазое и руки грязные; встрепанные волосы свисали спереди, закрывая лицо. По комнате летала поднятая пыль, забиваясь повсюду: в глаза, в нос, даже во рту ощущала она кисловатый привкус пыли. Она сделала еще одну попытку подняться, но опять плюхнулась на место.

Безнадежно махнув рукой, она осталась сидеть, с трудом лоя воздух.

ФОТОГРАФИЯ

Когда был выполнен этот снимок — в 1918-м или 1919-м — и что, собственно, на нем изображено, можно только гадать.

Ясно одно, что на нем видны барышни Скалла, первые красавицы комитата Солнок, обе в пышных кисейных платьях, с растрепавшимися на ветру волосами; они бегут с холма вниз, смеясь и размахивая руками на бегу. Но навстречу кому и чему они бежали, кому и чему радовались, — остается загадкой.

1963





СЕМЬЯ ТОТОВ

Если змея (редкий случай!) проглотит самое себя, останется ли после нее пустое место? И еще: есть ли сила, способная заставить человека проглотить свою человеческую суть — до последней крохи? Есть или нет? Есть? Каверзный вопрос.

Письмо с фронта

Дорогие мои родители и Агика! Вчера я узнал, что наш горячо обожаемый командир, господин майор Варро, отбывает на родину в двухнедельный отпуск по причине пошатнувшегося здоровья. Я тут же поспешил доложить ему и попытался уговорить, чтобы он отказался от шумной квартиры своего младшего брата, расположенной в пыльной столице, и воспользовался гостеприимством моих любезных родителей, но он отклонил приглашение под тем предлогом, что со своими расшатанными нервами никому не желает быть в тягость. И действительно, вам я могу признаться, что из-за больших неприятностей, доставляемых партизанами, наш горячо обожаемый господин

майор страдает бессонницей и к тому же очень чувствителен к запахам. Одни запахи он просто не переносит, другие же, например аромат хвои, действуют на него успокаивающе. К счастью, я вспомнил, что квартира его родственников находится по соседству с заводом, где перерабатывают падаль. Тут я снова поспешил к господину майору и сызнова живописал ему наш домик в Матрасентанне, залитый солнцем сад, чудный вид на гору Бабонь и нежный сосновый аромат, который окутывает всю долину, и — подумайте только! — господин майор принял приглашение. Его отбытие, если партизаны к тому времени оставят нас в покое, намечено на начало будущей недели. Вы даже не можете представить себе, какой это поворот судьбы для меня! Эшелон с отпускниками отправляется из Курска, и господин майор обещал, что мне разрешат проводить его на батальонной машине до города. Господи, ведь я смогу вымыться в бане!

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Матрасентанна — это маленькая деревушка в горах. Канализации там нет. Чтобы подвести воду к отхожему месту, надо бурить специальную скважину и устанавливать насос. Такую роскошь мог позволить себе только профессор Циприани, единственный в деревне обладатель виллы. Остальные смертные об этом и мечтать не смели.

В том числе Тоты. У Тотов, как и у всех прочих обитателей деревушки, для этих нужд имелась лишь скромная будочка.

На шоссе перед домом Тотов стояла, распространяя вонь, ассенизационная бочка, ребристый шланг толщиной в руку тянулся от этой бочки через дощатую калитку по кустам георгинов, вдоль стены дома, прямо к заветной будке, укрытой в густой зелени.

— Ну так что, качать или не качать? — спрашивал Лайоша Тота владелец ассенизационной бочки.

— В зависимости от того, пахнет тут у нас или не пахнет; сам-то я уже настолько привык к этому запаху, что решать вопрос только вам, господин доктор, — отвечал Тот.

Владелец бочки закрыл глаза и через нос несколько раз глубоко втянул воздух. Затем он изрек:

— Я буду откровенен с вами, господин Тот. В настоящий момент запах из отхожего места несколько резковат, но отнюдь не неприятен.

— Если есть запах, тогда давайте качать, — сказал Тот. — Ведь речь идет о жизни нашего Дюлы, глубокоуважаемый господин доктор.

Владелец бочки имел диплом доктора юридических наук, но чистка уборных приносила ему дохода в два раза больше, чем адвокатская практика. Доктор вдумчиво нюхал воздух.

— Нелегко найти единственно правильное решение дорогой господин брандмейстер. Допустим, я начну откачивать. Представим воочию, как будет протекать процесс. Масса всколыхнется, и я понапрасну стану уменьшать содержимое ямы, тем самым я только усугублю положение, вместо того чтобы принципиально исправить его. А сейчас, коль скоро масса находится в состоянии покоя, подсохший верхний слой в значительной степени препятствует распространению запаха.

— Так что же тогда делать, уважаемый господин доктор?

— По моему мнению, из двух зол следует выбирать меньшее. Возникает вопрос: в какой степени майор чувствителен к запахам? Что по данному поводу сообщает ваш милейший сын?

— Дюла пишет только, что очень чувствителен...

— Тогда рассмотрим проблему с другой стороны: какие у вас основания полагать, что именно этот запах будет раздражать господина майора?

— Потому как мне вспомнился случай, когда один из наших жильцов жаловался на запах, — признался озабоченный хозяин будки. — А ведь тому жильцу было куда как далеко до майора, он был всего-навсего проводником спального вагона.

— Дорогой господин брандмейстер! — после некоторого раздумья произнес владелец ассенизационного устройства. — Будем откровенны! Я и без того не привык вводить в заблуждение своих постоянных клиентов, тем более в столь важном деле. Положение таково, что с момента откачивания и до полного исчезновения запаха — если допустить априори, что вообще существуют отхожие места абсолютно без запаха, — необходимо, как минимум, четыре-пять недель. Располагаете ли вы таким временем до прибытия гостя?

— Высокий гость прибывает с первым эшелонотпускников.

— Тогда лучше ничего не предпринимать.

— Очень вам благодарен за дельную консультацию, — сказал Тот. — Позвольте спросить, сколько я должен?

— Плата взимается исключительно в случае пользования насосом, — ответил владелец ассенизационной бочки. — Консультации я даю бесплатно.

Из Матрасентанны на Эгер первый автобус отходит в 5.30 утра; было еще два рейса — в 13.20 и 17 часов. Спруга Тота отправилась в город дневным автобусом. Прибыв в Эгер, она поспешила в кинотеатр «Аполлон».

В фойе было пусто, только у кассы сидел какой-то плешивый мужчина. Не иначе как сам господин Асоди, новый владелец.

— Позвольте спросить, не вы ли будете господин Асоди?

— Да, это я. С кем имею честь?

— Раньше, еще при господине Бергере, я состояла у них в прислугах.

— Говорите потише, — попросил новый владелец, поскольку в зале шел сеанс, а двери из-за полуденной жары были открыты. — Наверное, вы госпожа Тот? Или вы Маришка?

— Фамилия моя Тот, а зовут меня Маришкой.

— Так, значит, вас упоминали под двумя разными именами, — шепотом заключил новый владелец. — Но каждый раз очень хвалили...

— Весьма приятно такое слышать, господин Асоди. Двенадцать лет я ходила к господам Бергерам. Госпожа изволили кушать кошерную пищу, а хозяин признавал только французскую кухню; и я не только готовила, но и прибирала.

— Не вернетесь ли вы на прежнее место? — поинтересовался владелец кинотеатра. — Тем более что теперешняя уборщица боится темноты.

— Сейчас пока нет, — сказала Маришка. — Я теперь берусь только за стирку, да к тому же мы со дня на день ждем в гости командира нашего сына. Как раз в связи с этим у меня есть одна просьба к вам, господин Асоди. Одолжите нам, пожалуйста, недели на две дезодоратор.

— А что это такое? Какой-нибудь паровой движок?

— Нет, что вы! Раньше, еще при Бергерах, мы пользовались им для освежения зала.

— Что-то наподобие курильницы? — допытывался новый владелец.

— Скорее вроде велосипедного насоса, — шепотом объяснила Маришка. — Но на те две недели, пока в доме будет важный гость, это для нас вопрос жизни и смерти: опрыскивать все хвойной эссенцией.

— Да берите, пожалуйста, — великодушно прошептал новый владелец. — Хотя, признаться, я даже не знаю, цели он.

— В прежние времена, еще при господине Бергере, мы хранили его на винтовой лестнице, что ведет в кинобудку.

— Поищите там сами, душенька, — сказал новый владелец. — Только осторожнее, а то лестница скрипит.

Маришка на цыпочках поднялась по винтовой лестнице. Дезодоратор висел на старом месте, на том самом гвозде, который торчал из стены еще при господине Бергере.

Одним из основных источников дохода для жителей Матрасентанны являлась сдача комнат отдыхающим. К сожалению, служба пансионатов ИБУСа¹, сославшись на плохую питьевую воду и отсутствие канализации, отнесла деревню к разряду С/2, то есть чуть ли не к самой последней категории; и посему в Матрасентанну, как правило, приезжали отдыхать совсем небогатые чиновники да прижимистые пенсионеры. Приезд майора, даже по военным временам, когда майоров бывает больше чем обычно, явился событием чрезвычайным.

Шло уже третье лето войны, и в армию был призван не только сын Тотов, школьный учитель. Примерно у шестидесяти процентов семей кто-то из близких находился на фронте. Приезд майора будил в обывателях Матрасентанны смутную надежду, словно одно уже присутствие гостя в деревне означало какую-то защиту для всех сыновей-солдат.

Но Агика об этом не догадывалась. Она даже толком не знала, что значит слово «майор». Самым высоким чином на всем белом свете она считала брандмейстера Матрасентанны. Ко всему прочему она пребывала в том чувствительном возрасте (ей минуло шестнадцать), когда

¹ Венгерское акционерное общество иностранного туризма.

девушки ничего так не страшатся, как поставить себя в смешное положение.

— Негневайтесь, — возражала она матери. — Но этого вы никак не можете от меня требовать, мама.

Дело в том, что жители деревни, стараясь получше обслужить приезжих гостей, частенько выручали друг друга. Супруга Тота, у которой дел было по горло, подробнейшим образом записала на бумажке, что у кого должна попросить взаймы Агика (покрывало с китайским узором — у Кастринеров, форму для пудинга — у приходского священника Томайи, желатин для заливного — у кухарки профессора Циприани и т. д. и т. п.). Но чтобы девушка столь нежного возраста возила по деревне нелепую детскую коляску, выпрашивая у соседей кучу нелепых вещей, — нет и нет! Подобного не может требовать от своей дочери ни одна мать!

За этими пререканиями и застал их Тот.

Он даже не нахмурился, только взглянул на Агику.

— О чем это вы беседуете, дочка? — мягко спросил он.

Агика покраснела. Там, где появлялся отец — подтянутый, богатырского сложения мужчина в сверкающей пожарной каске, со спокойным, но твердым взглядом, — все проблемы теряли значимость.

— Ни о чем, — ответила Агика. — Я иду по маминому поручению.

Она схватила за ручку детской коляски и отправилась в путь — без проволочек, но и без энтузиазма. Ну и что же из этого вышло?

Старики Кастринеры сначала, когда она с пятого на десятое изложила просьбу матери, страшно переполошились.

— А что это за гость, для которого вам требуется покрывало?

— Какой-то военный, — сказала Агика и даже чуть отступила назад в знак того, что уж она-то к этому гостю не имеет совершенно никакого отношения.

— Что за военный?

— Какой-то майор.

— А как он попал к вам, этот офицер?

— Он командует нашим Дюлой.

— Боже милостивый! — всплеснула руками старуха Кастринер, у которой не только сын, но и племянник находились на Восточном фронте. — Ну-ка, выкладывай все по порядку.

Агика вышла из дому рано утром, а возвратилась лишь после полудня. За это время детская коляска доверху наполнилась взятыми напрокат вещами, а сама Агика стала центром всеобщего внимания и зависти. В каждом доме ее снова и снова заставляли рассказывать удивительную историю. Вздурораженные обитатели деревушки, сгорая от любопытства, наперебой приглашали Агику зайти, угощали ее всевозможными лакомствами и принимали как почетную гостью, в результате чего майор, которого она поначалу чуждалась, с каждым часом становился в ее глазах фигурой все более привлекательной и все больше походил на ее отца. Такой же высокий и представительный. С плавными, размеренными движениями, точь-в-точь как у папочки. А уж до чего смел! И какой щедрый! Даже привычки не имеет носить кошелек. Бумажные деньги рассованы у него по всем карманам, просто так, смятые как попало, в комок; и если нужно где расплачиваться, он знай себе расшвыривает эти комочки. Свои солдаты его боготворят, а неприятельские, чуть слышат его имя, удирают во все лопатки... Вот он какой, этот майор; одно слово — герой!

Под конец путешествия воображение Агики увело ее так далеко, что вернуться домой, в будничную обстановку, ей было просто не вмоготу. Она лишь толкнула коляску во двор, а сама отправилась дальше, туда, где шоссе поворачивало, дома кончались и ничто больше не закрывало вид на поросшую лесом вершину Бабоня и Барталапошскую долину. Здесь даже ветрам было привольнее. Напряглось ее разгоряченное тело и нежно округленная грудь, и, грезя наяву, с широко раскрытыми глазами Агика упоенно шептала:

— Офицер! Офицер! Офицер!!!

Телеграмма

Извещаем, что прапорщик Дюла Тот (полевая почта 8/117) пал смертью храбрых в бою с врагом.

Венгерский Красный Крест

В Матрасентанне, когда началась война, сразу же призвали на фронт почтальона. Вместо него выполнять обязанности письмоноши вызвался горбатый косноязычный придурок. Все звали его просто папаша Дюри.

Папаша Дюри страдал манией во всем четко приживаться равновесия, правда, эта особенность его пси-

кики была нарушением не слишком серьезным. По утрам, разнося письма, он шел абсолютно точно по воображаемой средней линии шоссе и не любил, если что-то нарушало эту симметрию. Попадавшиеся на пути жестянки и палки он ногой отшвыривал к обочине, а если у кого-нибудь не хватало терпения ждать почту и он выходил на дорогу, тем самым ломая симметрию, папаша Дюри в наказание вручал ему письмо лишь на следующий день.

Дойдя до артезианского колодца, он свешивался через край, норовя устроиться так, чтобы отражение смотрело на него точно из центра водного зеркала. Люди частенько ругали и даже гнали его от колодца, будучи в полной уверенности, что он плюет в воду. Но это была неправда. Папаша Дюри лишь выпускал изо рта тонюсенькую, как шелковинка, струйку слюны и, едва только ему удавалось направить эту струйку по воображаемой оси колодца, тотчас же втягивал ее обратно. Эти упражнения как-то бодрили его.

В том, кто и когда получал письма, также далеко не последнюю роль играла его страсть к симметрии. К примеру, папаша Дюри ненавидел профессора Циприани, невропатолога с европейским именем, чей автомобиль нередко стоял у ворот виллы на обочине шоссе — в вопиющем противоречии со всякой симметрией! Зато он очень любил семью Тотов, и в первую очередь самого Лайоша Тота.

В брандмейстера он был буквально влюблен. Установлено, что оборванцы как на высшее существо взирают на каждого облаченного в форму, а калеки — на людей безупречного телосложения. Но это еще не все. Лайош Тот неукоснительно следил за собой. Никто никогда не видел его в каске, хоть чуть сдвинутой на лоб, или же с торчащим из кармана носовым платком. В понимании папаши Дюри Тот воплощал в себе высшую степень человеческой симметрии, ибо даже прическу его пробор разделял строго посередине — другими словами, если острым ножом расщепить Лайоша Тота пополам, то брандмейстер распался бы на две совершенно одинаковые половины, что, как известно, нелегко проделать даже над яйцом.

Благодаря всем этим обстоятельствам Тоты получали с фронта одни только хорошие вести. Поэтому и открытку от Дюлы (хотя речь там шла всего лишь о легком отравлении колбасой) папаша Дюри собственноручно уничтожил из лучших побуждений.

Окно почты в Матрасентанне выходило во двор. Под окном, на расстоянии вытянутой руки, стояла бочка для дождевой воды, полная студенистой зеленой жижи. Папаша Дюри, добросовестно просматривая дневную почту, бросал в бочку обреченные на уничтожение письма.

Здесь угодили в один и тот же день обрамленный золотой каемкой пригласительный билет профессору Циприани с супругой на летний бал к регенту и телеграмма Красного Креста, где сообщалось о гибели Дюлы Тота. Тем самым не только профессор получил щелчок, но и симпатичных Тотов удалось уберечь от печального известия. Равновесие в мире было восстановлено.

В полдень, когда папаша Дюри встретил на улице брендмейстера, он еще издали принялся ободряюще кивать ему и подмигивать, тем самым давая понять, что, мол, выше голову, — покуда он почтальон, не зная горя милому семейству. Его жизнерадостное кривлянье не укрывало от внимания Тота.

— Чему радуешься, папаша Дюри? — спросил он.

— Чего есть, то дрянь, а будет и того хуже! — ответствовал письмоноша с кривой ухмылкой, которая заменяла ему улыбку.

— Других новостей нет?

— В остальном все в ажуре.

Тот пригласил его на стаканчик вина. Они распили его за здоровье младшего Тота, боевого прапорщика.

Матрасентанна — такая дыра, куда весьма редко заезжают майоры. Однако в одно прекрасное июльское утро с рейсового автобуса, прибывшего из Эгера, в Матрасентанне сошли сразу два майора.

Один спрыгнул, не дожидаясь остановки автобуса. Это был рослый мужчина с молодежавшей осанкой и внешностью человека, привыкшего отдавать приказы; из всех майоров то был наипервейший майор. Именно таким Тоты представляли себе командира Дюлы.

Их удивило, что гость тут же уверенным шагом направился к ресторанчику Клейна.

— Господин майор! — окликнул его Тот, но приезжий даже не оглянулся.

Они догнали майора только в садике перед рестораном. Обступили его и с замиранием сердца уставились на приезжего; майор же атаковал их весьма воинственно:

— Ну, чего привязались?

— Глубокоуважаемый господин майор! — начал глава семьи. — Я — Тот.

— А мне что за дело?

Тот, подбодрив взглядом дочь, подтолкнул ее к майору.

— Сердечно рады поздравить господина майора с приездом и просим чувствовать себя как дома в нашем скромном гнездышке, — дрожащим от волнения голосом пролепетала Агика и вручила майору букет алых роз.

— Вы меня с кем-то путаете! — взорвался майор. — Я еду в офицерский дом отдыха в Матрасентмиклош и только теперь увидел, что это не Матрасентмиклош, а Матрасентанна.

Майор повернулся и двинулся назад, к автобусу. Розы он прихватил с собой.

Тоты недоуменно проводили его взглядом, потом испуганно посмотрели друг на друга и бросились вон из сада.

Их подозрения оправдались!

Другой майор, который уже не мог быть никем иным, кроме как их майором, ждал у автобусной остановки.

Тот почувствовал разочарование. Неужто бывают такие плюгавые майоры? А этот не только ростом был меньше первого, но и невзрачнее, весь какой-то потрепанный. В разбитых сапогах и выгоревшей пилотке он стоял, устало прислонившись к срубам артезианского колодца... Лишь юного сердца Агики не коснулось разочарование. Правда, другой майор ей тоже понравился, ну а от этого она была просто в восторге. Даже темные масляные пятна на кителе казались Агике следами кровавых ранений, и она оторопело воззрилась на майора, как если бы перед нею предстало во всей красе само ожившее боевое знамя, пробитое пулями и овеванное пороховым дымом. Больше всего Агике хотелось бы поцеловать майора, как священную реликвию.

После первых приветствий Тот начал было оправдываться, но майор не принял происшествия близко к сердцу, он одним мановением руки отмел недоразумение, а ведь общеизвестно, как обидчивы иногда бывают лица высокого звания.

Тоты почти совсем успокоились. И тут облачко нового недоразумения омрачило эту встречу, на которую уже пустились с двумя майорами бросила некую тень.

Вне сомнения, майор говорил несколько глуховато, будто вся пыль и копоть долгих дорог осели на его голосо-

вых связках. Но это никак не могло служить оправдание ему дальнейшему, потому что майор говорил хотя и слегка приглушенно, однако вполне разборчиво.

К тому же, если быть точным, он сказал следующее: — А я и не думал, что у вас такая взрослая дочка!

Столь вежливое замечание Тоты — и что интересно, все трое, без исключения! — поняли следующим образом; «Хотелось бы знать, от кого это разит, как из пивной бочки!»

Все трое, пораженные, замерли. Но больше всех напугался Тот, который — поскольку ничего другого ему не оставалось — тотчас перестал дышать.

Дабы уяснить ситуацию, надо представить себе, сколько усилий приложили Тоты, добиваясь, чтобы все вокруг их дома отменно благоухало. Будку в саду они обсадили рассадой душистой резеды. Сначала они целыми днями проветривали будку, а потом при помощи дезодоратора опрыскали каждый уголок сосновой эссенцией. И только после всех этих экстраординарных мер Лайош Тот, бывший маневровый диспетчер, а ныне деревенский пожарный, известный своим острым умом и обстоятельностью, позволил себе сесть и прикончить свой обычный завтрак — стаканчик палинки и три гренка с чесноком.

Жена и дочь с ужасом уставились на него; проследив за их взглядом, майор тоже посмотрел на Тота. Когда лицо Тота стало приобретать багровый оттенок, а глаза начали вылезать из орбит и по лбу покатились крупные капли пота, майор вежливо осведомился:

— Вам нездоровится, дорогой Тот?

— Расстраивается, бедняжка, — пояснила Маришка, — что на завтрак позволил себе съесть гренки с чесноком.

Майор смерил пожарного взглядом с головы до пят и продолжил беседу:

— Видите ли, любезные Тоты, в результате девяти-месячного пребывания на фронте моя нервная система серьезно травмирована, в чем львиная доля вины падает на партизан с их крайне бесцеремонными методами ведения войны. Очевидно, я совершенно напрасно все это вам объясняю, но тем не менее приведу один пример, чтобы вы имели хоть какое-то представление о ситуации.

В качестве примера майор рассказал о случае, когда они, только успев зарезать свинью, подверглись нападению партизан, которые отбили у них свинью и заодно чуть не угробили весь штаб батальона.

Обеих женщин захватил и взволновал рассказ, и лишь хозяин дома не выказал видимых признаков заинтересованности. Это не укрылось от внимания майора.

— Вам неинтересно то, что я рассказываю?

Тот не ответил, но из малинового сделался прямо-таки синим,

— Ну что вы, как может быть неинтересно! — вместо него возразила Маришка.

— Мы все только одно и слышим — фронт да фронт, — с горящими глазами вмешалась Агика. — А что там творится, до ваших слов и понятия не имели.

— Отчего это ваш отец на глазах посинел? — полюбопытствовал гость.

— Он не решается выдохнуть чесночный запах, — пояснила Маришка.

— Немедленно извольте дышать! — прикрикнул на Тота майор.

Команда подействовала. Тот глубоко вдохнул, отчего глаза его вернулись в нормальное положение.

— Чтоб этого больше не повторялось, — неодобрительно заметил майор. — Я требую не обращать никакого внимания на мои нервы. Я человек дисциплинированный и умею владеть собой... А кстати, что там у меня за спиной, любезный Тот? — внезапно перебил себя майор.

— Только ресторанчик Клейна и дом священника.

— Тогда все в порядке, — успокоился гость.

Далее майор заявил, что он ни за что на свете не согласится быть в тягость хозяевам и, если заметит, что его присутствие стесняет кого-то, тотчас уедет... Майор настоятельно просил считать, будто его совсем нету, при этом он почему-то несколько раз оглядывался; затем снова обратился к Тоту:

— Вы заметили что-то необычайное позади меня?

— Ровно ничего, глубокоуважаемый господин майор.

— Так зачем же вы туда смотрите?

— Я смотрю исключительно на глубокоуважаемого господина майора.

— Видите ли, уважаемые Тоты, — пояснил майор. — Достаточно того, что, как ни повернись, определенная часть мира всегда оказывается позади нас. Так зачем же усугублять беду, постоянно заглядывая за спину?

Наступила пауза. Тоты пребывали в замешательстве. Они не поняли толком, чем было вызвано недовольство майора, лишь видели, что гость по-прежнему нет-нет да

и обернется, а ведь подошла как раз обеденная пора и на улице не было ни души.

«К чему бы это?» — размышляла Маришка. Самым заветным ее желанием было, чтобы дорогой гость чувствовал себя как можно лучше, ведь любое обидное или, скажем, досадное воспоминание через несколько недель, чего доброго, может стоять жизни ее сыну... Сознание этого увеличивало ее тревогу; она боялась, что пылинка, попавшая в глаз майору, заставит плакать ее сына... Нет и нет! Ничего подобного она не могла допустить.

— Ты уж следи, пожалуйста, за тем, куда смотришь, родной мой Л а й о ш , — мягко вмешалась она.

— А куда, по-твоему, я смотрю? — раздраженно парировал Тот.

— Да ради бога, смотрите туда, куда вам заблагорассудится, — сдержанно проговорил м а й о р . — У меня совершенно нет ни претензий, ни каких бы то ни было особых желаний.

Этими словами он хотел успокоить Тотов, но хозяева отнюдь не успокоились. Ведь если не знаешь причин болезни, трудно найти от нее лекарство. Тот сперва потупился, потом поднял взор к небу, затем попробовал изменить позу, но все его старания выглядели лишь полумерами. Теперь уж майор не только поворачивал голову, но сам вертелся направо-налево, отчего все предметы поочередно оказывались у него за спиной.

Когда разум отказывает взрослым, положение иной раз спасают дети. Так было и в нашем случае.

— Вот что! — жизнерадостно воскликнула А г и к а . — Если папа чуть-чуть сдвинет каску на лоб, то глаза совсем спрячутся и тогда будет безразлично, куда он смотрит.

— Еще чего! — возмущенно проворчал Тот.

— Ты все-таки подумай над этим, родной мой Л а й о ш , — сказала Маришка.

Самой достопримечательной особенностью формы деревенских пожарных была каска; спереди ее украшала круглая кокарда, на которой было выгравировано: «Сельский пожарный». Козырек под кокардой предназначался для защиты глаз пожарного от летящих искр. Согласно уставу Северовенгерского управления сельской пожарной охраны, вертикальная ось тела пожарника и горизонтальная ось каски должны находиться под прямым углом по отношению друг к другу. Конечно, Лайош Тот был не из

тех людей, что в подобные ответственные моменты жизни думают о параграфах; просто он боялся показаться смешным, то есть в глубине души стремился сохранить свой престиж.

В Матрасентанне Тот пользовался всеобщим уважением. Раньше, до тех пор пока его еще не выбрали сельским пожарным, во всей округе для деревни не было другого названия, кроме как «тлеющая головешка». А ведь его предшественник — верткий, неугомонный, обуреваемый жаждой деятельности человек — целыми днями носился, хлопотал, ругался, не давая покоя жителям. Он устраивал учебные тревоги, оглашал заковыристые запреты, штрафовал прохожих, если тем случалось бросить непотушенную сигарету, — ну и чего же он в конце концов добился? Пожар следовал за пожаром!

Лайош Тот не делал ничего подобного. Судя по всему, уже в самом облике прирожденного пожарника кроется нечто такое, что предотвращает возникновение пожара. Ежедневно обходил он деревню в своей импозантной форме, которая великолепно сидела на его статной фигуре, вступал в разговоры с прохожими, заглядывал к знакомым, и, хотя ни разу даже замечания никому не сделал о нарушении противопожарных правил, стоило хоть где-то появиться дымящемуся окурку, как двое-трое добровольцев бросались его тушить, отталкивая друг друга. И за все четырнадцать лет его беспорочной службы ни разу не возникло ни одного пожара.

Однако влияние Тота не ограничивалось вопросами пожарной охраны. На деревенских свадьбах ему отводили самое почетное место. При спорах о наследстве решающее слово тоже оставалось за ним, и к нему же обращались за советом, если хотели сложить печку. И даже когда кто-нибудь умирал, фельдшера для осмотра покойника звали лишь после того, как Тот выносил свое заключение: «Отмучился, бедняга».

А между тем и в печном деле, и в вопросах юриспруденции, равно как и в медицине, он разбирался не больше, чем всякий другой. Он всегда говорил то, что на его месте сказал бы любой, разве что минутой позже. А поскольку никто не догадывался, что сказанное Тотом рано или поздно им самим пришло бы в голову, брендмейстер прослыл по всей деревне отменного ума человеком. Все, что он делал, он делал правильно. Даже если он отбрасывал в сторону камень, тот непременно ложил-

ся в нужной точке, на своем единственно возможном и окончательном месте (где бы ни находилось это место). Ведь авторитет — это как печать: она не имеет ничего общего с документом, на котором стоит, но тем не менее последний лишь благодаря печати и приобретает свою силу.

Так что на месте Тота любой дважды подумал бы, прежде чем среди бела дня пройти по единственной оживленной магистрали Матрасентанны в нахлобученной по самые брови каске.

А он тем не менее подчинился молящему взгляду Матришки, как если бы к нему обратились глаза его любимого сына. Он сдвинул каску на лоб.

— Н у о т , — проворчало н . — Теперь хорошо?

— Х о р о ш о , — ответила ж е н а . — Ты самый отзывчивый человек, родной мой Лайош.

— Вам даже и д е т , — добавила А г и к а . — Да, вы правда стали еще красивее, папочка!

— Лучшего решения нельзя и представить, — подтвердил майор.

Тот с мрачным видом выслушал эти признания его заслуг, и настроение его не улучшилось, даже когда, окружив майора, они двинулись по шоссе к дому. А не будь его каска нахлобучена на глаза, он со спокойной совестью мог бы утверждать, что это было подлинно триумфальное шествие по Матрасентанне. Там, где они проходили, настезь распахивались окна, приподнимались занавески, и в глубине за ними мелькали тени. Сабо вытащили во двор своего параличного деда, а некая Гизи (особа предосудительного поведения) поспешно начала срывать с веревки, на которой сохло белье, оскорбляющие взор принадлежности туалета, что не помешало ей, маскируясь простынями, подробнейшим образом разглядеть гостя Тотов. Попадавшие навстречу повозки останавливались, ребяташки бросали игру и, разинув рты, глядели вслед процессии.

Сам майор не обратил ни малейшего внимания на интерес, проявляемый к его особе. Майора занимали явления совершенно иного свойства. Так, например, он подозрительно заглядывал в сточную канаву перед каждым домом. От него не укрылся обрывок бечевки, змеившейся по бетону и исчезавшей в зарослях сорняков у обочины. Майор опасно обошел ее и крикнул Тотам:

«— Осторожно! Не наступите на нее!

Позднее, когда им навстречу промаршировал отряд бойскаутов и их командир внезапно дунул в свисток, майор моментально исчез за деревом у дороги.

— Как они смеют свистеть, сопляки! — раздраженно бросил он.

Немного погодя, когда они вновь продолжили путь, майор заметил:

— Все время забываю, что я в тылу.

Еще в самом начале встречи, только приехав, майор выглядел заметно усталым. А долгий марш и сопряженные с ним опасности вконец измотали его. Когда процессия добралась до дома Тотов, гость едва стоял на ногах. Он не удостоил своим взглядом ни знаменитые георгины Маришки, ни дивный вид, открывающийся с застекленной веранды, и даже оставил без внимания крепкий сосновый аромат, которым был пропитан весь дом. Безропотно позволил он хозяину и его супруге снять с себя мундир, облачить в пижаму и уложить в постель.

Когда глаза его уже закрывались, он, борясь со сном, успел предупредить Маришку:

— Милая Маришка, если вдруг заглянет переодетая попом старуха и предложит поменять сотовый мед на соль, будьте добры, пристрелите ее.

— Все будет в полном порядке, глубокоуважаемый господин м а й о р, — заверила его хозяйка.

Затем она на цыпочках пробралась на веранду и с затуманенными от слез глазами вздохнула:

— Бедный, бедный, дорогой наш господин майор!

— Сколько он, должно быть, выстрадал! — вторила ей Агика.

Она тоже глотала слезы. Один лишь Тот стоял мрачный и безучастный. Какое-то смутное, тревожное предчувствие не давало ему покоя.

— Хотелось бы только знать, чем это я ему не угодила, — проворчал он.

— Не накличь беды, родной мой Л а й о ш, — тотчас отозвалась жена.

— Я уж и так взглянуть никуда не смею, чтобы не вывести его из терпения, — вслух размышлял Тот.

— Вот увидишь, он непременно полюбит т е б я, — ободрила его М а р и ш к а. — Пусть только сначала отоспится как следует! Хоть немного придет в себя. Ведь тебя все, все любят!

Тот лишь покачал головой, как человек, не очень-то уповающий на лучшее. И, словно эхо его сомнений, напротив, через улицу, в саду Циприани тоскливо завyla овчарка профессора.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Майор Варро спал до самого вечера.

У Маришки и Агики дел было по горло. Пока они жарили, парили, стирали и гладили, хозяин дома принимал посетителей. Многим из тех, кто прозевал торжественную церемонию прибытия, не терпелось хоть одним глазком взглянуть на майора. Тот на цыпочках проводил желающих к затворенной двери, приоткрывал ее и шепотом приглашал:

— Смотрите на здоровье.

Он не торопил любопытных. Каждый имел возможность внимательнейшим образом разглядеть спящего гостя — барышня Бакош, учительница, господин приходский священник Томайи, Шандор Шошкути, механик, и многие другие. Последним явился Лёринцке, сосед-железнодорожник, который вроде был приятелем Лайоша еще с тех пор, когда Тот работал на железной дороге, а в глубине души всегда люто ему завидовал.

Эту зависть удваивало то обстоятельство, что после случившегося однажды неудачного маневрирования поездов всю верхнюю часть туловища Лёринцке (кроме левой руки) заключили в гипс, и с тех пор кожа у него постоянно зудела. А зуд, как известно, точит и характер. Еще в полдень, когда майор только что прибыл, Лёринцке привлек всеобщее внимание тем, что демонстративно захлопнул ставни своего дома. Однако теперь и он заявился, да еще прихватил с собой бутылку кислого вина, очевидно, в надежде застать майора уже бодрствующим, чтобы угостить его, подпойть, подружиться с ним, а может, и переманить к себе. Но и Лёринцке не продвинулся дальше порога. Там он мог стоять сколько душе угодно и вдоволь любоваться гостем, хотя с отведенного ему места открывалась для обозрения только голая ступня правой ноги майора. Лёринцке сделал вид, что и от этой возможности он в полном восторге.

— Какая очаровательная маленькая нога у господина майора! — заметил он.

— Нога как нога, вполне нормальная, — парировал Тот, подозревая подвох.

— Я и не говорил, что она ненормальная, — прошептал завистливый сосед.

— Но ты как будто принизил ее.

— И в мыслях не было принижать, — запротестовал сосед, который, как видно, и здесь не мог совладать со своим желчным характером. — Я просто слегка удивился, что у такого человека, как майор, и вдруг такая нога.

— Какая «такая»?

— Я же ничего особенного не сказал, — слицемерил железнодорожник. — вполне нормальная и здоровая нога.

— Ты лучше не умничай! — осадил его Тот, тихонько прикрывая дверь. — У всех майоров такая нога.

Но заноза все же засела в душе. Тот вернулся, приоткрыл дверь и принялся изучать майорову ступню, которая, если присмотреться, словно и не была частью человеческого тела... Чьего же тогда? Может, ящерицы или другого холоднокровного существа, либо такого создания, какого он еще отродясь не встречал... Тот поскорее прикрыл дверь, уселся в кресло, и тут, на счастье, его сморил сон.

К тому времени, как майору проснуться, Маришка выстирала, высушила и отгладила его мундир, до блеска начистила пуговицы и всякие знаки отличия. Агика же, насколько хватало умения, мягкой тряпочкой протерла майоровы сапоги, навела на них блеск собственным жарким дыханием и слюной — так молодая кобылица заботливо обихаживает только что народившегося жеребенка. Агика не пожалела времени и сил, и разбитые, потрепавшиеся сапоги ослепительно сверкали, когда майор вышел в них на веранду.

Вид у гостя был хмурый.

— А что, для свиной колбасы обязательно нужно провертывать мясо? — первым делом спросил он.

— Н у ж н о, — ответили Тоты.

— Сейчас приснилось, будто меня похитили партизаны и решили провернуть на фарш. До сих пор чувствую, как я хрустел.

— О господи! — ужаснулась Маришка. — Что же они, выходит, сначала опалили высокоуважаемого господина майора?

— Что было самое неприятное! — подтвердил м а й о р, —

Не считая упомянутого обстоятельства, я спал довольно сносно.

Это сразу бросалось в глаза. Не только мундир стал импозантнее, но и сам носитель его. Во взгляде майора исчезло выражение затравленности, голос звучал бодро, начальственно. Он с аппетитом съел гуляш, курицу и компот. А после ужина настроение его настолько улучшилось, что он пожелал осмотреть окрестности.

Как радовались Тоты, когда гость восторгался, глядя на поросший лесом склон Бабоня и живописную Барта-лапошскую долину! Ничто не укрылось от его внимания. Майор отметил чистоту в доме, похвалил ухоженный сад и словно напоенный сосновым ароматом воздух.

Тут он вконец расчувствовался.

— Дорогие Т о т ы , — сказал майор, когда они вернулись на застекленную веранду, — я сердечно рад, что принял ваше приглашение. После девятимесячного пребывания на фронте, в постоянной воню, я чувствую себя сейчас как бы заново родившимся.

Он поднял свой бокал и осушил его за здоровье находящегося далеко от дома Дюлы Тота. Теперь пришел черед Тотов растрогаться.

— Мы тоже счастливы, — прерывающимся голосом начала Маришка, — что вы соизволили принять наше приглашение. А ведь нам и во сне не могло привидеться, что у нашего сына такой командир, такой командир — ну прямо золото!

— О сыне вам меньше всего следует беспокоиться, — заявил майор. — Обещаю, как только наступят холода, я прикомандирую его к себе. Там, при хорошо отапливаемом штабе батальона, ему не только не страшны будут морозы, но и сама его жизнь будет вне всякой опасности.

Майор благосклонно кивнул и направился к себе в комнату.

Тоты и слова не в силах были вымолвить. Волнения многих недель, непомерная усталость от приготовлений к приему гостя и вечная тревога за Дюлу наконец-то дали свои плоды, а еще вернее — и почки, и цветы, и плоды сразу.

— Вот видишь, родной мой Л а й о ш , — вздохнула Маришка, — доброе отношение чудеса творит.

Постепенно сгущались сумерки. Маришка прижалась к мужу и притянула к себе Агику. Так они провели несколько счастливых минут. Над их головами сверкало

звездное августовское небо; Бабонь, словно гигантские зеленые легкие, дышал вечерней прохладой, из комнаты доносились размеренные и спокойные шаги майора. Тоты радовались тому, что майор здесь, рядом, что за столом он дважды подкладывал себе фаршированной курицы и что он наслаждается тонким сосновым ароматом... Дюла, Дюла, лишь бы тебе все это пошло на пользу! Лишь бы тепло топили в батальонном штабе! Лишь бы не пробрались туда партизаны! Дюла, Дюла, только бы не случилось с тобой беды! Дюла, только бы ты не замерз!

С четверть часа сидели они на свежем воздухе, в немой тишине, так как думали, что гость лег спать. Они тоже устали от волнений долгого дня; Маришка уже собралась было пойти ложиться, когда Тоту вздумалось выкурить сигару.

Он сходил за ней в дом и закурил, с наслаждением вдыхая табачный дым. Он умел ценить эти малые радости жизни: прохладу вечера, удобное кресло, близость родных, терпкий привкус сигарного дыма. В моменты, когда столь приятные ощущения сливались воедино, Тот любил потянуться и похрапеть. В таких случаях он чаще всего поминал свою матушку.

Вот и сейчас он всласть похрустел суставами и протонал:

— Ох-хо-хо, мать ты моя родная, и зачем ты, бедная, меня покинула!

В последовавшие за этим днем две недели ему уже не представилось больше случая всласть потянуться и похрапеть, потому что в этот момент распахнулась дверь, и на пороге возник майор.

— Что случилось? — испуганно вскинулся он. — Ранило кого?

— Ничего не случилось, — слегка смутившись, успокоил его Тот.

— Мне как будто послышался стон.

— Это я стонал, — сказал Тот.

— И как будто бы кто-то звал свою мать?

— И звал тоже я, — признался Тот.

Он пояснил, застенчиво улыбаясь, что это у него такая привычка потягиваться. И когда потягивается, он стонет. Но совершенно без всякой причины. Он стонет от хорошего самочувствия.

— Чему я весьма рад, — отчеканил майор.

Он смерил Тота взглядом и вновь скрылся в комнате. Тоты остались одни. От неожиданности они не знали, что делать, но все равно ничего не успели бы сделать, потому что в дверях снова показался майор. Он дважды обошел вокруг Тота, затем спросил:

— Ну, что нового?

— Ровно ничего, глубокоуважаемый господин майор.

— Вы по-прежнему хорошо себя чувствуете?

— У меня нет причин жаловаться, — сказал Тот.

— А почему это вы так хорошо себя чувствуете?!

— Почему? — задумался Т о т . — Да просто так.

Майор внимательно оглядел Тота с головы до пят, отчего последний пришел в крайнее смущение и решался теперь выпускать дым лишь маленькими колечками, пока гость не удалился в свою комнату. Однако немного погодя он опять вышел и снова принялся разглядывать Тота.

— Что-нибудь случилось?

— Нет, ничего не случилось.

— Но ведь у вас не горит сигара.

— И правда, — признался Т о т . — Я ее погасил.

— Так что, собственно говоря, вы делаете здесь, на веранде?

— Просто дышу свежим воздухом.

— И ничего больше?

— Да почти ничего, — признался после короткого размышления Тот.

Удовлетворило ли гостя подобное объяснение, так и не удалось установить. Но теперь майор уже более стремительно вышагивал по комнате и гораздо скорее вернулся обратно, чем в прежние разы.

— Послушайте-ка, Т о т , — обратился он к хозяину, который испуганно вздрогнул. — Не хотите ли сыграть партию в шахматы?

— Очень сожалею, господин майор, но я не умею.

— Может, перекинемся в картишки?

— И в картах я тоже ничего не смыслю, — смутился Тот.

— Тогда сыграем в домино.

Тот едва осмеливался дышать.

— Дело в т о м , — наконец отважился о н , — что я вообще не разбираюсь ни в каких играх.

Майор, всем своим видом выражая осуждение, направился к себе в комнату. Даже шагов его больше не было

слышно. Ни малейшего звука не доносилось из комнаты, и это чрезвычайно угнетающе действовало на Тотов. Все трое замерли, скованные воцарившимся в доме безмолвием, и боялись даже глядеть друг на друга.

На этот раз дверь отворилась не так скоро. Тот попытался даже попятиться назад вместе со своим креслом, ибо гость остановился вплотную перед ним и уставился на брандмейстера пронзительным взглядом.

— Дорогой Тот, — начал он. — Надеюсь, мое присутствие не стесняет вас?

— Ни в коей мере, — ответил Тот.

— Тогда поговорим откровенно. Нет ли у вас ощущения, что вам чего-то не хватает?

Тот глубоко задумался.

— Вот разве что мой вишневый мундштук... он куда-то запропастился, но я вырежу себе новый.

— Я ставил вопрос не в материальном смысле. Я намекал на пагубные последствия бездеятельности.

Тот растерялся. Он вопрошающе посмотрел на жену, которая, в свою очередь, недоуменно взглянула на него, словно ожидая разъяснений.

— Я вижу, вы не можете взять в толк, — заключил майор Варро. — А суть вот в чем, Тоты. В темной комнате малейший звук кажется во много раз громче. Точно так же и ничегонеделание — оно действует на весь организм, как темнота на органы слуха. Оно усиливает внутренние шумы, вызывает миражи в поле зрения и треск в мозгу. Когда моим солдатам случается сидеть без дела, я всегда заставляю их отрезать и снова пришивать пуговицы к штанам. Это их великолепно дисциплинирует. Надеюсь, теперь вы понимаете, что я хочу сказать?

Тоты снова переглянулись, еще более беспомощно, чем прежде. После некоторого колебания Маришка решила:

— Если у глубокоуважаемого господина майора где оторвались пуговицы, я с удовольствием их пришью.

— Вы совершенно неправильно истолковали мои слова, — недовольно отмахнулся майор. — Скажите мне, по крайней мере, не найдется ли в доме мотка хорошенько перепутанной бечевки?

— Наверняка найдется, — обрадовалась Маришка. — А для чего она понадобилась глубокоуважаемому господину майору?

— Чтобы ее распутать! — раздраженно бросил гость. — Я не могу, как вы, сидеть без дела.

— Так отчего же вы не изволили сказать нам раньше! — звонко воскликнула Агика, которая уже не в первый раз быстрее схватывала ситуацию, нежели взрослые. — Ведь мы обе, мама и я, сроду не сидим сложа руки.

— А чем же вы занимаетесь?

— По вечерам, когда все другие дела переделаны, мы обычно складываем коробочки.

Глаза майора сверкнули.

— Коробочки?.. — повторил он. Затем воскликнул: — Страшно интересно! А что это за коробочки?

В связи с запросами военного времени производство перевязочных средств на фабрике «Санитас» в Эгере увеличилось во много раз. Однако там имелся всего лишь один автомат для штамповки коробок, и горы марли, бинтов и ваты не во что было упаковывать... И тогда немало нуждающихся людей, даже полуевреев, получили легкую надомную работу.

Тоты забирали с фабрики листы картона, которые затем Маришка по трафарету разрезала, а Агика складывала из них коробочки. Глава семейства в такие часы обычно просто сидел, курил и с нежной улыбкой взирал на жену с дочкой. Если же время было позднее, он даже подремывал, и тогда Маришка старалась не шуметь «обрезальным станком». Свою резалку они так называли потому, что и переплетчики на аналогичном устройстве обрезают края картона; в действительности же резалку смастерил сам Тот из нескольких досок и пришедшего в негодность кухонного ножа, чтобы Маришке удобнее было вырезать заготовки из картона.

До сих пор никому в семье и в голову не приходило, что Тот тоже может принять участие в работе. Очень трудно было бы совместить достоинство сельского брендмейстера с этим сугубо женским занятием.

Но майор Варро не опасался за свой авторитет.

С видимым удовольствием разглядывал он большие шероховатые листы картона. Взволнованно следил, как привинчивают резалку к столу. А когда из нарезанного картона начали складывать коробочки, майор настолько воодушевился, что тотчас же придвинул себе стул. Отклонив вежливые протесты хозяев, он с огромным увлечением и завидной ловкостью тоже принялся складывать коробочки. Позднее, после небольшой тренировки, майор освоил и резалку.

— Какая у вас легкая рука! — поражалась Маришка.

— Вы один делаете больше, чем мы вдвоем! — добавила Агика.

Слышал их майор или нет? Во всяком случае, он даже ухом не повел, и только руки его все двигались. И двигались безостановочно, словно боялись пропустить хоть одно движение. Все работали в полном молчании. И лишь когда выросла уже порядочная гора готовых коробочек, майор обратил внимание на Тота.

— А вы, любезный господин Тот? — поинтересовался он. — Что же вы не присоединяетесь к нам?

— Я? — изумился Тот. И улыбнулся.

А женщины рассмеялись над столь нелепой идеей. Однако майор не смеялся и не улыбался, а принялся всерьез уговаривать хозяина смастерить хоть одну коробочку.

Тот после недолгих колебаний сдался, но уродливое, лишь отдаленно напоминающее коробочку сооружение, которое он с большим трудом сложил, тут же и развалилось у него в руках. Ладонь у Тота была величиной с хорошую сковороду.

— Это не для меня, — улыбнулся он.

— Почему же?

— Нет у меня нужной ловкости в руках.

— И у меня ее не много, — сказал майор, — но ведь я как-никак справляюсь...

Человек иногда (например, в состоянии аффекта) говорит совсем не то, что хотел бы сказать. Меж тем Тот был абсолютно спокоен и не только тогда, но и позже клялся, что на слова майора он весьма учтиво, и более того, чуть ли не заискивающе ответил следующее:

— Глубокоуважаемый господин майор очень даже хорошо справляются.

Эти слова возымели чрезвычайно неожиданное действие.

Сначала майор Варро ошеломленно уставился на Тота. Потом побледнел. Глаза его сузились, коробочка выпала у него из рук. Он вскочил и вне себя закричал:

— Я требую, тотчас повторите, что вы сказали!

— Я сказал, — повторил Тот, — что глубокоуважаемый господин майор очень даже хорошо справляются!

— Вы слышали? — обратился майор к женщинам. Затем, красный от возмущения, обрушился на Тота: — По какому праву вы осмеливаетесь называть меня «чертом»?

Я — майор и предупреждаю вас, что на фронте за подобные оскорбления расстреливают!

Наступила тишина. Такая тишина, что и описать невозможно. Такая тишина бывает в могиле, где похоронен глухонемой. Никто не решался заговорить, сознавая, что тем самым только усложнил бы и без того неловкое положение.

Дело в том, что не только майор чувствовал себя оскорбленным (и с полным правом) за то, что его называли «чертом».

Обиделся и хозяин дома (и тоже не без основания), он был уверен, что сказал не «черт», а «майор». Нет тяжелее унижения, чем когда извращают смысл слов, сказанных тобою из лучших побуждений.

Была смущена и Маришка. Ей, правда, послышалось слово «майор», другого слова и не могла бы услышать преданная жена, которая уважает, почитает и любит своего супруга. Но беда в том, что майора Маришка тоже уважала... Вот почему в столь ответственный момент она просто молчала, переводя испуганный взгляд с одного кумира на другой.

Ну, а дочь? Агика смотрела только на отца, и розы на ее алых щечках запылали еще пунцовее. Дело в том, что она не слышала ни слова «майор», ни слова «черт». Агике показалось, будто отец обозвал майора «ослом». Нет, тут что-то не так.

Природа возвращает в детях ростки иронии по отношению к недостаткам родителей. Однако Агика была исключением из правила — один случай на тысячу. Поэтому она, хоть и ясно слышала слово «осел», предпочла не поверить собственным ушам, нежели осудить обожаемого папочку. Более того, она даже приподнялась и голоском от волнения тонюсеньким, словно ниточка, выпала:

— Не извольте гневаться! Мой отец не мог произнести такого дурного слова!

— Конечно! — спохватилась Маришка. — Здесь какое-то недоразумение. Мой муж сроду никого не обидел, правда ведь, Лайош, родной мой?

— Никогда! — сказал Тот, которого прямо-таки воодушевило удачно найденное слово «недоразумение». — Только один раз случилось, что я принял жену господина профессора Циприани за огородное пугало и невежливо повернулся к ней задом. Но ведь в том случае вышло

недоразумение. А уж господина майора я не могу оскорбить даже по недоразумению!

Майор заколебался.

— Может, я действительно не расслышал, — сказал он. — Но я бы не хотел, чтобы нечто подобное еще раз повторилось.

Тоты облегченно вздохнули. Поклялись, что подобного не повторится. Майор успокоился.

— Забудем все, любезный Т о т , — великодушно предложил он , — и вернемся к нашим коробкам. Право, жаль каждой потерянной минуты.

Они сели. И Тот тоже сел. Почтенный Тот, который еще совсем недавно презирал это занятие, считая его бабским делом, сейчас радовался, что может заняться им вместе со всеми... А ведь его никто не неволил, просто все без лишних слов потеснилось, освобождая ему рабочее место. Правда, как ни старался Тот, из-под рук его выходили сплошь неудачные, перекошенные коробочки, но, к счастью, никто не упрекнул его, самое большее — снисходительно улыбались.

Мир был восстановлен. Теперь они подолгу не обменивались ни единым словом, слышалось только резкое лязганье резалки.

Свежей ночной прохладой потянуло с гор. На лесных полянах по склонам Бабоня замерцали костры смолокуров. Но Тоты ничего этого не замечали. Забыв обо всем на свете, они все резали и резали и складывали коробочки. Через час майор вежливо поинтересовался:

— Может, вы хотите спать?

У Тота слипались глаза, однако он заверил майора, что у них и в мыслях не было ложиться спать. Работа продолжалась.

Через какое-то время майор повторил свой вопрос. Тоты в один голос твердили, что сна у них — ни в одном глазу.

Когда майор спросил в третий раз, Маришка, у которой нестерпимо чесался левый глаз, ответила, что если господин майор не прочь отдохнуть, то и они согласны отложить работу.

— Да не хочу я отдыхать! — запротестовал м а й о р . — К сожалению, я очень плохо сплю.

— От свежего горного воздуха у нас засыпали гости, страдавшие застарелой бессонницей, — заметил Тот.

— Мне и самый целительный воздух бессилен по-

м о ч ь , — махнул рукой майор В а р р о . — Будь моя воля, я бы с удовольствием складывал коробочки до самого утра.

Коробочка в руках привыкшего рано ложиться Тота сплющилась в блин. От усталости черты лица его исказились, с паническим страхом уставился он на майора. Но тут Маришка толкнула его под столом ногой, и Тот, призвав на помощь всю свою выдержку, улыбнулся.

— И я, говоря откровенно, только втянулся в дело , — нашел силы сказать он.

Все снова принялись за коробочки.

Открытка с фронта

Дорогие мои родители и Агика! Сейчас мы находимся в Курске. Пишу наспех, потому что нас ведут в баню, а затем двинемся в обратный путь. Тороплюсь уведомить вас, родные мои, чтобы вы не забывали развлекать гостя по вечерам. Дело в том, что он по причине расстройства нервной системы спит не ночью, а днем. С наступлением же темноты, когда сильнее всего опасность со стороны партизан, он нуждается в компании, и мы обычно разгоняем его дурное настроение игрой в карты или другими развлечениями. В такие моменты господин майор не любит, если кто-то ложится спать, даже малейший признак сонливости раздражает его. Прошу вас, помните обо мне и постарайтесь убажить господина майора.

(Доставлена с опозданием.)

В четверть второго Лайош Тот зевнул.

Зевал он и в прежние времена, но это не вызывало особых последствий. Теперь же Тот даже вздрогнул: такая странная наступила тишина. Конечно, и до этого было тихо, но на сей раз тишина ощутимо обволакивала Тота чем-то холодным. Все воззрились на него. Ему тоже захотелось взглянуть на себя, но это по вполне понятным причинам было невозможно.

Майор, работавший на резалке, наконец нарушил молчание:

— В чем дело?

— Я зевнул, — признался Тот.

И снова воцарилась мертвая тишина. Все смотрели на Тота. Никто не сказал ему, что нельзя зевать, но он и сам уже понял, что дал маху.

— Это я во всем виноват, — сказал через некоторое время майор, который казался скорее расстроенным, чем обиженным. — Я думал, что такое занятие вам по душе...

— Но ведь я совсем не желаю спать, — оправдывался Тот.

— Отчего же тогда вы зевали?

— Зевота, — пояснил Тот, — у меня вовсе не признан сонливости.

— Может, вы и сейчас отличнейшим образом себя чувствуете? — подозрительно спросил гость. — Может, и зевали вы от прекрасного самочувствия?

— Истинная правда, — изрек Тот.

— Он всегда зевает от хорошего настроения, — подтвердила Маришка.

— Папа — он у нас такой, — поддакнула Агика.

На этот раз не очень-то легко удалось им убедить майора.

— Скажите откровенно, чем бы вы предпочли заниматься? — допрашивал он Тота.

— Делать коробочки! — заявил Тот не допускающим сомнения тоном.

— Ну уж если вы так настаиваете, мы можем продолжить, — согласился гость.

И снова они резали и складывали, резали и складывали коробочку за коробочкой. Звезды постепенно утратили свою яркость, на склонах Бабоня угасали костры смолокуров.

— Час уже поздний, — определил майор. — Вы попрежнему не желаете ложиться?

— Лично я — нет, — сказала Маришка.

— И я тоже, — бодрым голосом прошебетала Агика.

Тот, дабы не отстать от семьи, тоже попытался было протестовать, но выдал из себя лишь какое-то мычание, ибо язык у него уже не ворочался.

Все продолжали делать коробочки.

Майор Варро не выказывал ни малейшего признака усталости, и ручки Агики сновали все так же проворно — ведь девушки ее возраста охотнее всего вообще не ложились бы спать. У Маришки тело налилось свинцом, ног она вовсе не чувствовала, но руки, к счастью, еще повиновались ей. Хуже всех пришлось Тоту. Голова у него мерно гудела. Все органы чувств начисто отказали. Начались галлюцинации. Вот он быстро нагнулся вперед — ему почудилось, будто по веранде прогрохотал скорый

поезд. Из-под рук его выходили не коробочки, а бесформенные комки картона.

Прокричал ранний петух. Тот его не услышал. Забрел-жил рассвет. Мрак постепенно рассеивался. Тот ничего не замечал. Однако майор Варро неожиданно прекратил работу.

— Уже рассвело, — сказал он. — Пора и на покой.

Все встали, один только Тот продолжал сидеть.

Руки его механически двигались, и он бессознательно мял готовые коробочки...

— Это было поистине приятное времяпрепровождение, — галантно сказал майор.

— И нам тоже было очень приятно, — улыбнулась Маришка.

— Надеюсь, завтра продолжим?

— Непременно продолжим, — заверила Маришка.

— Приятных сновидений! — попрощался гость.

— Спокойной ночи! — ответила Маришка и чуть запнулась, будто язык у нее отнимался.

Гость прошел к себе в комнату, а хозяева дома так и остались сидеть на своих местах, ибо ничего другого просто не приходило им в голову. Им вообще ничего больше не приходило на ум. Голова Тота медленно повалилась на грудь, но глаза он забыл закрыть — так и смотрел перед собой пустым, остекленевшим взглядом, как вареная рыба из миски с ухой. Потом привалился к столу и захрапел.

Жена и дочь с великим трудом подняли его со стула. Огромное тело безвольно раскачивалось между ними из стороны в сторону, а затем вдруг рухнуло на постель, как поверженная колонна.

Занималась заря.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Был у Тотов свято хранимый альбом в красном бархатном переплете, куда квартиранты заносили благодарственные отзывы. Вот некоторые из них:

«Бессонница и отсутствие аппетита, терзавшие меня после утраты драгоценного, ныне покойного моего супруга, как по волшебству исчезли благодаря здешнему горному воздуху.

Вдова *Морваи*».

«Эта обитель — островок тишины, где только и может обрести покой человек, не терпящий шума.

Аладар Филатори,
литаврист оперного оркестра».

«В ту годину, когда наша нация ведет борьбу не на жизнь, а на смерть противу красной большевистской опасности, ваша несравненная домашняя пища на натуральном масле вдохнула в меня новые силы для этой борьбы.

Ференц Касони,
Compagnie Internationale des Wagons Lits¹,
проводник вагона».

«Röslein, Röslein, Röslein fein,
Röslein auf der Heide!²

Карой Г. Хаммерман,
городские бойни».

После утомительной ночи Тот охотнее всего отсыпался бы целый день. Но ведь жизнь не может остановиться по прихоти одного майора. И сегодня, как обычно, Тоту надлежало представить рапорт о состоянии пожарной охраны, наносить воды из артезианского колодца, обойти из конца в конец вверенный ему участок, наколоть дров приходскому священнику, побелить теннисный корт у профессора Циприани и так далее и тому подобное. Агика принесла молока, сделала покупки, накормила птицу; Маришку же, помимо обслуживания дорогого гостя, ждали и нестиранное белье у профессора, и ненатертые полы у его преподобия господина Томайи — таковы лишь самые важные из повседневных забот этой скромной семьи.

В довершение всего с прибытием майора Варро весь дневной распорядок Тотов полетел вверх тормашками. Поскольку гость проснулся лишь после полудня, в обеденное время они завтракали. Теперешний обед прежде назывался ужином, а нынешний ужин вообще никак не назывался, потому что раньше в эту пору они уже пивали сном праведников.

И вот, в то первое утро, послав всего часа полтора, после долгих окликов и толчков Тот открыл наконец глаза и, пребывая в подавленном настроении, уставился перед

¹ Международная компания спальных вагонов (*фр.*).

² Розочка, розочка, роза-краса,
Роза из края степного! (*нем.*).

собой, разбитый душой, и телом. Припомнив события прошедшего дня и представив себе последующие, он мрачно буркнул:

— Боюсь, не кончится все это добром, Маришка.

Жена подала ему чашку теплого молока и в утешение сунула в руки заветный альбом в красном переплете. Она напомнила Тоту, в сколь тяжелом нервном состоянии прибыли в Матрасентанну Карой Г. Хаммерман, вдова Морваи и другие квартиранты, но здесь под влиянием благотворной среды живо встали на ноги. Не говоря уж о Фридеше Хоште, пожилом художнике, который до этого целый год реставрировал фрески на куполе Базилики, в результате чего ирреальные масштабы купола и фресок до такой степени задурили ему голову, что реставратор начисто утратил реальное чувство равновесия. Когда он приехал к Тотам, ему мерещилось, что пол у него под ногами встает дыбом, и художник мог передвигаться по комнате, лишь держась за веревку, привязанную к дверной ручке. Но живительный горный воздух и здесь сделал свое дело.

Вот что написал художник в альбом:

«В отличнейшем самочувствии, без веревки покидаю я этот дивный уголок».

— Вспомни, в каком тяжелом состоянии прибыл к нам художник, — доказывала Маришка. — Правда, он свалился сюда, в Матрасентанну, всего лишь с купола святой Базилики, а наш майор — прямо с фронта! Не следует падать духом, родной мой Лайош: пусть не сразу, медленнее, но и майор пойдет на поправку...

Лайош Тот не очень-то в это верил.

— Ладно уж, и все бы оно ничего, — проворчал Тот. — Но каково будет, если нам ночи напролет придется складывать эти проклятушие коробочки! Без сна-то ведь не проживешь, Маришка.

Тот верно предугадал, что им придется еженощно складывать коробочки, он только не учел одного обстоятельства: приспособляемости человеческого организма. Конечно, идеальный случай, если человек спит восемь часов подряд, но даже когда он урывками дремлет по четверть часа, по десять минут, и это может служить для него почти таким же отдыхом. Оказалось, например, что можно великолепно вздремнуть у лавочника, пока он отвешивает соду; на клумбе знаменитых тюльпанов профессора Циприани во время поливки; в ожидании, пока не остынет

горячий суп или пока не вскипит кофе, даже под столом прикорнуть на четверть часика, если туда ненароком что-нибудь закатится. А еще позже выяснилось, что и при складывании коробочек вовсе не обязательно надрыватьсья.

Дело в том, что гость, к величайшей радости Тотов, начиная со второй же ночи всецело посвятил себя разрезательному устройству. А поскольку на каждом листе картона приходилось делать по восемь надрезов, майор скоро отстал от тех, кто складывал заготовки: ведь их было трое против него одного. Он трудился не покладая рук, но все его усилия были тщетны. Тоты же постепенно приноровились устраивать себе короткие передышки. Вначале они какое-то время давали отдохнуть рукам. Затем позволяли себе закрыть глаза и дышать глубоко и покойно через нос, что тоже оказалось далеко не самой плохой формой отдыха. Майор, увлеченный работой, ничего не видел и не слышал, и Тоты совсем расхрабрились. Под конец они раскинули в саду под туями удобный шезлонг и, ловко сменяя друг друга, уединялись там.

— Пardon, прошу прощения, — говорил, вставая из-за стола, кто-нибудь из них, словно имел в виду нечто совершенно иное, и дремал с четверть часика в прохладе сада.

А майор Варро меж тем работал как машина: закладывал картонные листы под нож, поднимал руку, резал, закладывал новые листы, снова резал... Он не заметил даже, что на третий день — простите, ночь — Тоты исчезли уже на пару; ведь, возвратившись, они играючи наверстывали упущенное. Однако какое-то смутное подозрение, видимо, все-таки мелькало у него в голове, потому что однажды, когда они все сидели у стола и Тот на минуту замечтался о чем-то, майор вдруг прервал работу.

— Что случилось? — спросил он прямо.

— Да вроде бы ничего особенного, — отвечивал Тот.

— Тогда позвольте узнать, на что же вы уставились?

— Бабочка какая-то залетела.

— Какая еще бабочка?!

— На крыльях у ней два желтеньких пятнышка и три красных, — сообщил Тот.

— Так вот, оказывается, чем вы занимаетесь, уважаемый Тот!

— Да я только мельком взглянул на нее, — застеснялся хозяин дома.

— Только взглянул! — раздраженно повторил майор. — Знаю я вас. А сами небось подумали: хорошо бы ее поймать и прихлопнуть.

— Почему вы изволили предположить такое, глубокоуважаемый господин майор? — изумился Тот.

— Верно это или неверно? — допытывался майор.

— Похоже, мелькнула у меня подобная мысль, — сознался Тот.

— Так я и знал! — воскликнул майор.

Он вскочил и принялся вышагивать по комнате, бросая пронизательные взгляды на Тота, который невольно зажмурился и втянул голову в плечи, хотя и не знал толком, что же он натворил. Гость, однако, вскоре все им растолковал.

— Видите ли, любезные Тоты, — начал он со сдержанным недовольством. — Я весьма и весьма признателен вам за гостеприимство, но так дальше продолжаться не может! Если вы во время работы думаете о вещах посторонних, то все, что мы здесь делаем, — напрасная трата сил.

Воцарилось безмолвие. Тот уже понял, что своими словами он только подлил масла в огонь, и ломал голову, как теперь исправить оплошность.

— Я целиком и полностью признаю вашу правоту, глубокоуважаемый господин майор, — подобострастно заметил он, — но ведь, по-моему, нельзя помешать какой-нибудь мысли прийти человеку в голову.

— Как это нельзя! У собаки, к примеру, четыре ноги, но ведь не разбегается же она одновременно во все четыре стороны, даже если ей того и захочется. Или, быть может, вам когда-нибудь попадалась собака, бегущая сразу по четырем направлениям?

Тот после короткого раздумья признал, что такой собака ему не доводилось встречать.

— Мой младший брат и его семья и без того обижены, что я провожу свой отпуск вдаль от них. Если вы не передумали и хотите, чтобы я остался здесь, то постарайтесь, чтобы подобные случаи не повторялись.

Тот заявил, что готов на любые жертвы, но ему не совсем ясно, что он должен делать.

— Кажется, мы так и не поняли друг друга, — сердито бросил майор. — Приведу следующий пример. Обратимся к процессу питания. Но прежде скажите: ведь вы обычно тоже питаетесь, не правда ли?

Тот подтвердил, что питается.

— Ну, так давайте разберемся, из чего складывается этот процесс? Откусывание, пережевывание, выделение слюны, глотание. Единый неделимый процесс, который ничто постороннее не нарушает. Чтобы было понятнее, приведу еще один пример. Вы знаете наш гимн, дорогой Тот?

Тот сказал, что знает.

— Вы могли бы назвать его первую строку?

— Боже, венгров храни, — пропел Тот.

— Правильно, — кивнул майор. — Ну, пришло вам при этом что-нибудь в голову?

Тот ответил, что ничего не пришло.

— Вот к этой мысли я и хотел вас подвести, — торжествовал майор. — Надеюсь, теперь вам ясно?

Тот сказал, что очень многое для него уже прояснилось, однако некоторые детали все еще остаются как бы в тени.

— Да будет свет! — изрек майор.

На сей раз примером послужил собственный батальон майора. Майор подметил, что временное бездействие опаснее, нежели полное ничегонеделание; тот, кто совершенно ничего не делает, по крайней мере, имеет время, чтобы упорядочить свои мысли; если же человек попеременно или делает что-либо, или совсем ничего не делает, то во время вынужденных перерывов он становится рабом собственных мыслей. Именно так случилось с Тотом и бабочкой в желтую и красную крапинку.

— До сих пор вам понятен ход моих мыслей? — поинтересовался гость.

Агика сказала, что понятен. Тот сказал: почти. Маришка ничего не сказала, лишь вздохнула: ах, Дюла, Дюла!

— Тогда я упрощу вопрос, — продолжал майор Варро с поистине неисчерпаемым терпением. — Вы, дорогой Тот, можете совершенно не вникать во все эти теоретические выкладки. Ваша задача: не заполнять посторонними вещами образующиеся при складывании коробочек пустоты в мыслях. Я думаю, это не составит особого труда. Может быть, у вас уже есть какие-либо предложения, дорогой Тот?

Возникла короткая пауза. Тот подавленно уставился перед собой. Маришка отвернулась, чтобы скрыть набе-

жавшие слезы. Паника овладела Тотами, исключая самого юного члена семейства.

— Но ведь это и в самом деле очень просто! — воскликнула Агика звонким, как колокольчик, голосом. — По-моему, наша теперешняя резалка мала для троих, и потому господин майор не поспевает за нами.

— Bravo! — воодушевился майор. — У вашей дочери светлая голова. Все остальное теперь уже детские игрушки, дорогой Тот.

Тем временем стало светать. Майор пожелал всем спокойной ночи и удалился на покой. По общепринятому мнению, железнодорожники и пожарные могут спать когда вздумается; на этот раз, однако, Тот не сомкнул глаз. Он поднялся с постели разбитый и продолжал терзаться целое утро. Голова у него гудела, но он упорно напрягал мысли, пытаясь думать сидя, стоя и даже в перекошенном положении, однако, когда майор, проснувшись, вышел из своей комнаты и выжидательно остановился напротив него, Тот единственно только и смог сказать:

— К сожалению, до сих пор в голове у меня не зародилось ни одной мысли, глубокоуважаемый господин майор.

— Не беда! — ободрил его майор Варро. — Тише едешь, дальше будешь.

Это соображение в какой-то мере успокоило Тота. Они сели завтракать (по-старому — обедать). Маришка испекла сдобу. Может, это лакомство поспособствует мыслительному процессу. В конце завтрака Тот неожиданно поднялся и дрожащим голосом произнес:

— Господин майор, кажется, что-то брезжит!

— Примите мои искренние пожелания удачи! — обрадовался гость. — Интересно, что бы это могло быть?

Лоб у Тота пошел морщинами. Он снова опустился на стул.

— К сожалению, мне пришло в голову не то, чего я ждал, а совсем другое.

Майор не выказывал признаков нетерпения, более того, он с совершенно не свойственной ему дотоле нежностью обращался с Тотом. Не разрешал мешать ему. Велел Маришке сварить мужу крепкий кофе. Уговаривал Тота выкурить сигару. Тот выпил кофе, раскурил сигару. Через четверть часа он вновь заговорил:

— Вот, вот, вот... Словно бы начинают вырисовываться контуры...

— Я так и знал! — воскликнул майор и хлопнул Тота по плечу.

Майор потрепал его по плечу — такого еще не бывало. Тот пришел в совершенное смятение: с испуганным лицом он сообщил, что, когда господин майор хлопнул его по плечу, из головы у него выскочило то, что он придумал. Но и тут не последовало ничего страшного. Майор теперь все прощал Тоту; он нянчился с ним, как с ребенком. Вместо «господина Тота» майор принялся называть его Тотиком, но цели своей этой тактикой не достиг, более того — чем ласковее он с ним обращался, тем больший страх накатывал на Тота. Однако мозг его продолжал долбить в одну точку, как паровой молот; и результаты не заставили себя долго ждать.

В четыре часа десять минут он сказал, что пока ничего не приходит ему в голову.

В четыре часа двадцать минут в голову все еще ничего не пришло.

А в четыре часа тридцать пять минут Тот заявил, что в мозгу у него опять засветилась какая-то искорка.

Через семь минут он встал. По его мнению, сказал Тот, он на верном пути, но, учитывая прошлое, не хочет ничего предрекать заранее.

Без четверти пять он заявил:

— Готово!

Лицо брандмейстера пылало пожаром, глаза горели.

— Глубокоуважаемый господин майор! — возвестил он в пять минут шестого. — Мне пришла в голову смелая мысль. Если наша резалка мала, значит, надо сделать новую, побольше!

Вконец обессиленный, он рухнул на стул.

Майор Варро в самых лестных словах выразил свой восторг.

Тот с усталой улыбкой принимал поздравления.

Господин майор поинтересовался, осуществима ли эта многообещающая идея.

Легче легкого, заверил Тот. Раз он сумел смастерить эту маленькую резалку, точно так же смастерит и большую.

Еще вопрос: можно ли будет закладывать в новый станок сразу несколько листов картона?

Конечно, можно. Три, четыре листа, а может, и целых пять.

И, спросил майор, называя Тота уже не Тотиком, а Тоточкой, когда же можно приступить к изготовлению станка?

Да хоть сейчас. Материал подходящий найдется, потому как можно использовать стоящие в сарае старые козлы, да и, помимо того, всяких досок в хозяйстве хватает, имеется даже стальной стержень длиной примерно с вытянутую руку, из него нетрудно будет выточить рукоятку для новой резалки.

— Ну, так за дело! — загорелся майор. — Жалко те-
пять и минуты, когда можно заняться резалкой!

Часовой механизм в принципе всегда верно отсчитывает время (если он не подвергается сотрясению и если не принимать в расчет износ). Возьмем, к примеру, карманные часы-«луковицу»; у Тота тоже были такие старинные часы на анкерном ходу, сохранившиеся еще с тех времен, когда он служил на железной дороге.

Что произойдет, если эти часы (однако так, чтобы механизм оставался в целости) уменьшить в два раза? Не только сами часы станут вдвое меньше, но и время, которое они покажут, тоже составит лишь половину настоящего.

Так же устроен и мозг человека: насильственные воздействия меняют его основные функции.

У часов только одна функция — показывать время. У человеческого мозга их гораздо больше.

Одна из них — регистрационная: мозг принимает, систематизирует, раскладывает по полочкам сигналы внешней среды. Он может вспоминать, то есть возвращаться в прошлое, он может и заглядывать в будущее — это когда составляют планы. Мозг одинаково пригоден для конкретного и абстрактного мышления, но ему столь же свойственна и эмоциональная деятельность. Он может давать названия предметам — например, кормушку для птиц назвать кормушкой. Он создал грандиозный купол собора во Флоренции. Он додумался до того, что нужно есть не сами угли, а поджаренное на углях мясо, и до чего он только не додумался.

Тот не был способен на свершения мирового масштаба, но зато до сих пор мыслительный аппарат, обеспечивавший его немудреное человеческое существование, действовал безотказно. Аппарат продолжал бы работать

и дальше, если бы не давление извне, которое наполовину уменьшило его полезную отдачу.

Можно ли считать двухнедельный отдых майора Варро давлением извне? В случае с Лайошем Тотом — безусловно.

Само тушение пожаров — уже высшая нервная деятельность. А Тот, как заведенная пружина, постоянно находился в готовности действовать; стоило ему заметить дымок, и мозг его мгновенно сигнализировал, что в саду у Кастринеров жгут сухие листья. Точно так же он просигнализировал бы, будь этот дым предвестником страшного пожара.

И если бы такое случилось, его мозг моментально переключился бы на еще более сложную деятельность. Тот выскочил бы из постели, велел бить в колокол, тащить на место происшествия пожарную подводку и направил бы шланг в самые недра огненной стихии. Правда, так далеко дело никогда еще не заходило, но что это меняет? Ведь, в сущности, человек не то, что он есть, а то, на что он способен.

Помимо тушения пожаров, Тот пользовался вполне заслуженным авторитетом и в других областях. Он разобрал, смазал маслом и снова собрал колодезный насос у профессора Циприани. Шаткие ножки стульев он укреплял, вбивая всего лишь один-единственный гвоздь. Более того, когда Тоты подрядились делать коробочки, он из старого ножа и досок смастерил приспособление, которое до сих пор действовало безотказно. Но теперь, когда ему предстояло даже не из ничего сделать что-то, а просто из меньшего — большее, мозг его только ценой огромного напряжения исторг из себя идею, которая была бы по силам даже ребенку.

Если страх действует на клетки мозга как фактор затормаживающий, то в случае с Тотом это обстоятельство проявилось весьма наглядно. Установить данную истину необходимо для понимания последующих событий, ибо когда Тот — не так давно — вздохнул: «Боюсь, не кончится все это добром, Маришка!» — он проницательно предсказал свою судьбу.

А ведь после того как он смастерил новую резалку, у них больше не возникало разногласий с майором. На смену вечным раздорам пришел вечный мир. Несколько дней гость выглядел вполне удовлетворенным, а Тот — абсолютно уравновешенным. И вот в одно прекрасное

утро — на восьмой день пребывания майора и на третий день пуска новой резалки — без всякой уважительной причины и без каких бы то ни было объяснений на расвете, в три часа шесть минут, Лайош Тот, словно легкослышанный юнец, бежал из дому.

Отчаявшиеся домочадцы сбились с ног в поисках, но безуспешно... Лишь к вечеру Тота обнаружил приходский священник Томайи — брандмейстер прятался у него под кроватью.

Было бы несправедливо перекладывать вину за столь необдуманный поступок на майора Варро. Правда, событию предшествовало несколько незначительных происшествий, о которых — полноты изложения ради — следует упомянуть, однако все они, от первого до последнего, свидетельствуют против Тота.

После полутора дней напряженной работы новая резалка была готова.

Она получилась такой тяжелой, что Тот чуть не надорвался, пока перетаскивал ее из сарая. На ней при желании мог бы смело уместиться даже человек, а лезвие способно было перерезать и теленка. Рукоятка, опускаясь, лязгала, как гильотина.

Резалку осмотрели. Обошли ее кругом. Майор восхищенно постукивал, поглаживал, похлопывал по ней. И не успокоился, пока ее не опробовали. Под нож подложили три, четыре, а затем целых пять листов картона, и хоть бы что — машина взяла! Действительность превзошла самые смелые ожидания.

Майор, бросив еще один нежный взгляд на новую резалку, подошел к Тоту.

— Не знаю, как и выразить вам свою признательность, милый Тот. Могу сказать одно: если до сих пор со мной в комнате квартировал лейтенант Хеллебранд, то, как только я вернусь на фронт, его место немедленно займет ваш дорогой сын, а это даст ему определенные преимущества, потому что здание школы, где я живу, относится к объектам усиленной охраны. Нет, даже не благодарите меня! Не будем тратить время на разговоры. Пообедаем — и за работу!

Они сели за стол. Это был самый прекрасный обед в жизни Маришки. Не только потому, что она наконец-то поверила — ее сын будет теперь в безопасности, — но и потому, что майор выказывал Тоту все более явные признаки расположения. Он не переставал улыбаться Тоту.

Потребовал даже, чтобы тому в тарелку переложили всю куриную печенку из супа. В такие моменты майор лукаво подмигивал Маришке, как делают взрослые, когда балуют ребенка.

Обед (по-старому — ужин) подошел к концу. Женщинам осталось только убрать со стола, перемыть посуду и принести картонные заготовки для коробочек. Но майору даже это кратковременное бездействие казалось слишком долгим.

— Ну, мой маленький Тот, не распить ли нам бутылочку пива? — предложил он Тоту.

Их отношения продвинулись уже настолько далеко, что гость называл брендмейстера «мой маленький Тот», хотя последний даже без пожарной каски был на целую голову выше майора.

По обоюдному согласию они облюбовали себе столик в саду рестораника Клейна. Сперва выпили пива. Потом пива с ромом. А под конец уже один ром, без пива...

Майор становился все более общительным. Он сбросил с себя профессионально-военную чопорность и откровенно признался, что пребывание в доме Тотов — лучшие дни его жизни.

Тот сердечно благодарил.

Этим, пояснил майор, он в значительной степени обязан коробочкам. Проснувшись, он едва в состоянии дожидаться вечера, когда наконец-то может отдаться любимому делу.

Тот понимающе кивнул.

Есть в самом этом занятии нечто возвышенное. Оно намного азартнее, чем карты, и куда интереснее шахмат. Делать коробочки приятнее всего на свете!

Тот снова поддакнул.

Как это было бы прекрасно, размышлял гость, если бы все больше и больше людей могло посвящать свою жизнь коробочкам. Пожалуй, рано или поздно грянут времена, когда можно будет склонить к тому все человечество!

Что, полагал Тот, было бы весьма и весьма полезно.

Каждая нация могла бы делать коробочки особого цвета и формы. Может, их тогда станут называть по-другому, но коробочка есть коробочка.

Это верно подмечено, сказал Тот.

И тогда все человечество станет благословлять их имена, заключил майор.

О господи! — сказал Тот.

Гость мечтательно устремил свой взор вдаль. Он не проронил больше ни слова. Не мужское это дело изливать свою душу в речах. Говорили только глаза майора. Казалось, что-то согревало их изнутри — ожидание чего-то большого, взволнованность смелой мечтой... Он расплатился и молча, замороженный картиной грандиозного будущего, взял Тота под руку. Так они оба и направились к дому.

Маришка дожидалась их у калитки.

С незапамятных времен женщины теряют покой, когда мужчины отправляются выпить пива. Так и Маришка беспокойно ждала у ворот, не зная, чем кончится это возлияние; она просто стояла, и ждала, и смотрела на улицу... И отказывалась верить своим глазам. По мере приближения обе мужские фигуры как бы сливались воедино: и вот уже она видела не мужа своего и не майора, а Дюлу — стройного, красивого, улыбающегося, в форме подпоручика и с наградами во всю грудь, целого и невредимого. Он махал ей большущим батонном колбасы. Сыночек мой, родненький! Ведь он никогда не приходил домой с пустыми руками... Ах, Дюла, Дюла!

Открытка с фронта

Уважаемые господа Тоты! Я вел машину, в которой везли господина майора Варро на вокзал в Курске. После этого мы с вашим сыном сходили в баню, потом выпили пива в буфете. Мы рано отправились обратно, но все-таки сумерки застали нас уже на полпути. Что, собственно, случилось, я могу только гадать. Ручную гранату в нас бросить не могли, потому что лес на сто метров по обе стороны шоссе был вырублен, а для того, чтобы выстрелить, было слишком темно. Помню только, что из мотора вдруг вырвалось облако багрового дыма. Меня оглушило, но в остальном я отделался незначительными порезами от осколков ветрового стекла и кое-как добрался до ближайшей деревни, чтобы привести подмогу. Когда мы вернулись к обгоревшей машине, господина прапорщика там уже не застали. Может, с ним не случилось ничего страшного и он ушел сам, а может, был ранен и его подобрала проходившая мимо немецкая танковая часть. Если бы я не был сильно контужен, я смог бы сообщить вам более по-

дробные сведения, но все же надеюсь, что господин прапорщик пострадал еще меньше, чем я.

С уважением

Шандор Дюрица, шофер.

(Открытка была отправлена мокнуть в бочку с дождевой водой.)

Восьмидесятисантиметровая рукоятка новой резалки с лязгом обрушилась на картон. Тоты принялись за работу в великолепнейшем настроении, полные радужных надежд, с улыбками на устах. Более трогательной мирной картины невозможно себе представить.

Майор закладывал под нож сначала три, потом четыре, а под конец и целых пять листов картона. Машина работала безукоризненно, и гость буквально пьянел, представляя неограниченные ее возможности. Теперь уже он заваливал Тотов заготовками и громко подбадривал их:

— Ну, чуть поживее! Еще поднажмем! Взяли!

Теперь уже не посидишь сложа руки, не придется отлынивать да прохладиться. Пока не занялась заря, Тоты работали не разгибая спины и не отрываясь ни на минуту. Но чего стоят все эти тяготы, если человек знает: существо, за которое он тревожится больше всего на свете и которое ему дороже жизни, находится в безопасности?!

Именно эту мысль и хотела выразить Маришка, когда они, пошатываясь, добрались до своей комнаты.

— Вот видишь, — сказала она, — видишь, родной мой Лайош! Стоит только захотеть — и можно чудеса творить.

Тот, поскольку язык у него уже не ворочался, лишь глубоко вздохнул в ответ, хотя даже в усталости своей выглядел успокоенным, почти довольным.

Да, но сколько длилось это спокойствие?

Всего два дня.

Первый тревожный симптом появился вечером накануне побега, сразу же после обеда (по-старому — ужина).

Майор Варро обычно в эти часы не находил себе места от нетерпения. Уже стало привычкой, что, пока шли приготовления к работе, мужчины отправлялись на прогулку. Маршрут их был проложен от дома Тотов до автобусной остановки, и так совершалось конца три-четыре туда и обратно. И в этот день, как обычно, они отправились немного проветриться. Какой провидец мог бы предположить, что именно этот путь приведет к беде?

Улицы Матрасентанны не освещались. Мужчины вышли из дому после вечерней трапезы при блеске мерцающих июльских звезд. Таинственный сумрак ночи лишь кое-где разрывали освещенные окна.

Так, например, Гизи (особа дурной репутации) в эту пору всегда зажигала в доме свет, чтобы дать знак устремившимся на огонек любителям развлечений. Если свет в домике Гизи не горел, значит, следовало выждать какое-то время, потому что кто-то уже опередил других.

Вот тут-то и случилась беда. Дело в том, что как раз под окнами Гизи стоял трансформатор. Тень от широкого стального ящика тянулась наискосок через асфальт. Когда они по дороге вышагивали до автобусной остановки, майор Варро принял эту темную полосу за канаву.

На мгновение он остановился, прикинул на глаз ширину канавы, затем пригнулся и ловко перескочил.

Что оставалось делать Тоту? Он тоже остановился, точно так же пригнулся и тоже прыгнул, понимая, что в противном случае поставит майора в мучительное и даже более того — смешное положение.

Прогулка продолжалась. Мужчины Повернули обратно. И снова перепрыгнули через тень. Эту процедуру они повторили еще раз, продолжая меж тем вдыхать упоительный горный воздух и вести дружеский обмен мнениями.

По наблюдению врачей, жители горных местностей более темпераментны по натуре, нежели обитатели равнин. Поэтому неудивительно, что свет в окне Гизи в тот вечер погас очень скоро. Когда гуляющие подошли к дому, на месте недавней канавы они увидели ровный, нетронутый асфальт. Однако они, как и в прежние разы, машинально остановились.

— Прошу в а с , — сказал майор, взглядываясь в мостовую.

— Нет-нет, только после вас, — противился Тот, уставившись на то же место дороги.

— Ни в коем случае, — отрезал Майор. — Терпеть не могу такой ничемной вежливости.

Настал момент действовать. У Тота было два выхода:

1. Не прыгать. Но тогда, как житель Матрасентанны, которому, естественно, хорошо известно состояние асфальтированной дороги, он явно покажет, что, прыгая три раза подряд, он оставлял майора в дураках.

2. Прыгнуть. И тем самым создать впечатление, что он по-прежнему считает канавой то место, где на самом деле была просто тень.

Тот из двух зол выбрал меньшее. Он отступил и с разбегу перепрыгнул предполагаемую канаву на месте недавней тени.

Дело оставалось за майором. У него тоже было два выхода:

1. Не прыгать. Но тем самым признать, что какой-то невежа, сельский пожарный, выставил его в смешном свете.

2. Прыгнуть. И тем самым признать канавой то место, где не оставалось и следа тени, но зато не уронить в глазах деревенщины свой авторитет!

Майор тоже выбрал меньшее зло. Он разбежался и прыгнул.

Оба зашагали дальше как ни в чем не бывало. Но тем самым отнюдь еще не был положен конец всей этой неприятной истории. По данным современной науки, жители горных местностей более страстны и более расторопны, чем обитатели равнин. А поскольку описываемой нами дивной летней ночью движение к домику Гизи было весьма оживленным, то и свет у нее в окошке то загорался, то снова гас. Но наши гуляющие, независимо от того, были ли гости уже в домике Гизи или еще только шел туда, обязательно прыгали напротив ее окна.

Вдобавок ко всему механик с электростанции как раз возвращался домой с работы и как раз под окном у Гизи повстречал обоих прогуливающихся. Он самым сердечным образом приветствовал майора Варро и — припомнив близкий уход на пенсию, воюющего на фронте племянника и давнюю повестку в суд, где против него выдвигалось обвинение в подстрекательстве к антиправительственной деятельности, — без малейших колебаний перепрыгнул через тень от трансформатора.

Вслед за ним то же самое проделали майор Варро и Лайош Тот. Эта история не осталась без последствий. Можно, конечно, представить себе и благополучный ее исход, предположив, к примеру, что двое мужчин, два добрых приятеля, напрыгавшись вдоволь, еще больше сдружатся.

Но можно представить себе и не столь благополучную концовку. К сожалению, именно в этом направлении и развернулись события.

А вышло так, что сперва Тота стало одолевать какое-то смутное беспокойство. Он корил себя за то, что поставил командира своего сына в недостойное положение.

Чтобы как-то загладить вину, Тот обращался с гостем с подчеркнутой предупредительностью. Так, например, на веранде он услужливо предлагал майору стул, все время кланялся, через силу выдавливая улыбку, и т. д.

Однако его предупредительность не достигала цели, ибо напоминала майору именно о том, о чем он предпочел бы забыть. Поэтому он отказывался от пододвигаемого ему стула и демонстративно приносил себе из комнаты другой, а подкупающие улыбки встречал суровым выражением лица.

Сей неприступностью майор Варро доконал Тота, с лица которого теперь не сходило выражение раскаяния; он норовил держаться как можно дальше от глаз майора и говорил нарочито тихо, чтобы даже голосом подчеркнуть собственное ничтожество.

Но майору и это пришлось не по нраву. Скорее наоборот, он усмотрел здесь открытый вызов. Чем покаянее моргал Тот, тем непримиримее отворачивался от него майор. А уж зауспокойная, тихая речь Тота и вовсе вывела его из терпения.

— Что вы сказали? Ни слова не разберешь из вашей каши!

Тот повторил сказанное. Майор сделал вид, будто и теперь не слышит:

— Опять не понимаю. Вы что, шутить надо мной изволите?

Но Тоту было далеко не до шуток, впору хоть плачь. Пришел конец обращению запанибрата, кончились умильные «Тотики» и «Тоточки», прощай, куриная печенка из супа... Он молча втянул голову в плечи и всецело ушел в процесс складывания коробочек; он поклялся, что рта не раскроет, пока его о чем-либо не спросят.

Конечно, когда его спрашивали, приходилось отвечать. Правда, лучше бы и тут ему продолжать отмалчиваться. Ведь молчание нельзя ни плохо понять, ни дурно истолковать. Бывают такие минуты (часы, годы, эпохи), когда секрет долгой жизни кроется только в молчании.

Вопрос, который повлек за собой целую лавину осложнений, звучал вполне невинно. В ту ночь они уже довольно долго занимались коробочками, когда майор, выпустив ручку резалки, огляделся кругом и со своей обычной предупредительностью поинтересовался:

— Не хотите ли отдохнуть? Который час на ваших, дорогой Тот?

За время пребывания майора Варро в Матрасентанне не раз случалось, что он не очень хорошо разбирал те или иные фразы Тота. Но, говоря по правде, до сих пор все, что майору не удавалось расслышать, действительно было сказано неразборчиво. И вот вам лучшее доказательство того, насколько ухудшилась ситуация: на сей раз ответ Тота даже и отдаленно не напоминал того, что услышал гость.

Ибо Тот вытащил свою старомодную карманную луковичу и сказал:

— Глубокоуважаемый господин майор, уже без четверти час.

Майор приставил ладонь к уху.

— Вы опять бормочете себе под нос — ни слова не разберешь.

Тот громко повторил приведенную выше фразу. Однако часы едва не выпали из рук Тота, когда он увидел, как майор переменялся в лице: гость побледнел, от углов рта резко прочертились морщины, глаза сузились в булабочные головки. Позднее, когда дело дошло до объяснений, оказалось, что майор следующим образом воспринял слова Тота: «Посолите уши своей бабушке!»

Вполне естественно, что, услышав такое оскорбление, майор не смог с собой совладать. Он грохнул кулаком по столу и обрушился на Тота.

— Не смей! Да будет вам известно, что моя бабушка, урожденная Шкультеты, пятый ребенок в семье деревенского скорняка, но сам директор Боршодиванковской школы почел за честь в день ее пятидесятилетия почтительно склониться перед нею и поцеловать у нее руку.

Майор резко, как на плацу, развернулся. Бросился к себе в комнату. Захлопнул дверь. Тоты сидели ни живы ни мертвы: доносившиеся до них звуки свидетельствовали о том, что гость стаскивает свой чемодан со шкафа, выдвигает ящики и укладывает вещи.

— Уезжает! — ужаснулась Маришка. — Что же ты опять натворил, родной мой Лайош?

Обе женщины со страхом смотрели на Тота, который как сидел, так и остался сидеть, тупо уставившись перед собой.

Иной человек, побуждаемый укоризненными взглядами, сам бы давно догадался, что ему делать. Если кто-то кого-то обидел безо всякой причины, в таких случаях полагается просить прощения.

Однако Тот продолжал сидеть с каменным, неподвижным лицом, на котором даже издали можно было прочесть, что он и не думает просить прощения. Во всем случившемся он винил одного майора и был удивлен, что жена и дочь выжидательно не сводят с него глаз.

— Чего вы на меня уставились? — недоуменно спросил он.

Агика воздержалась от объяснений. Маришка тоже воздержалась, лишь тяжело вздохнула.

— Ох, Лайош, родной мой Лайош...

— Нечего охать! — осадил ее муж. — Я сказал: без четверти час. Так это или не так?

Тот переводил взгляд с жены на дочь, явно ожидая, что они подтвердят его слова, потому что прежде всегда именно так и было, даже в тех (исключительных!) случаях, когда он был неправ. Однако сейчас (когда он был прав) этого не последовало.

Впервые ничего не последовало.

Маришка молча глядела прямо перед собой полными слез глазами.

Агика тоже молчала. Потом она грустно покачала головой.

Маришка вздохнула и тоже покачала головой.

Тот разозлился.

— Вы что, говорить разучились? — загремел он. — Чего головами мотаете?

Агика отвернулась, словно у нее не хватало духу заговорить.

Маришка, высморкавшись в уголок передника, сказала только:

— Мы очень просим тебя, родной, дорогой мой Лайош, в следующий раз, пожалуйста, будь осмотрительнее.

— И правда, — осмелела Агика. — Не дело это — бросаться словами.

— Я не бросался словами, — Тот в сердцах стукнул ладонью по столу, — а назвал точное время.

Маришка была вынуждена согласиться с ним.

Агика тоже не подвергала сомнению этот факт. Она добавила только, что ведь без причины не обижаются.

Не исключено, что папа как-нибудь так произнес слова, что они, быть может, стали похожи на другие.

Наверняка, поддакнула Маришка. Если уж господин майор так разобиделся, значит, у него определенно имелись основания...

Тот все еще был не очень уверен, что его слова подходили на какие-то другие, но если даже и так, то все одно: в них не могло содержаться ничего обидного для гостя.

Маришка снова с ним согласилась, она отродясь не слыхала, чтобы ее муж кого обидел.

Агика тоже это признала. Пусть не может она повторить слово в слово оскорбительную для майора фразу, однако ей показалось, будто папа помянул чьи-то уши.

Маришка слова «уши» вроде бы не слыхала, но в то же время и не могла поклясться, что похожее слово не было произнесено.

Тот утверждал, что все это сплошные фантазии. Зачем бы ему понадобилось помянуть чьи-то уши, когда у него спрашивают, который час?

Маришка опять согласилась с ним.

Агика задумалась. Сначала она тоже готова была признать, что, по-видимому, прав отец, но затем ей все больше и больше стало казаться, будто слово «уши» было упомянуто в соединении с бабушкой господина майора.

Тогда задумалась Маришка. А подумавши, заявила, что безгранично верит своему мужу, но все же в данном случае не решается сказать ни да, ни нет.

Теперь уж и сам Тот был не до конца убежден в своей правоте. Однако если можно себе представить, что слово «уши» нечаянным образом сорвалось у него с языка, то уж не было решительно никаких оснований помянуть майорову бабушку.

Агика попросила прощения, что ей приходится ворошить старое, но и прежде случалось, что папа без всяких видимых оснований говорил весьма странные вещи.

Маришка покачала головой — да так неопределенно, что это можно было понять и как отрицание, и как подтверждение.

Тот пожелал узнать, на что намекает дочь.

Агике не очень-то хотелось рассказывать, но после долгих понуканий она призналась, что, например, в среду на прошлой неделе перед рестораником Клейна папа вме-

сто приветствия обозвал господина приходского священника Томаи «старой редькой».

Маришка тотчас заметила, что ее при этом не было и вообще она не может поверить такому о своем муже, но одно несомненно, что священник вот уже несколько дней весьма холодно отвечает на ее приветствия.

Тот был до крайности удивлен. Он совершенно не помнил такого, чтобы он обзывал кого-то редькой, и даже напротив, был твердо уверен, что приветствовал священника обычным: «Слава Иисусу!» — но почва уже начала ускользать у него из-под ног.

Под конец выплеснула душу Маришка. Ей крайне тяжело ворошить прошлое, но, как она выразилась, в столь ответственный момент она не вправе молчать: ведь речь идет о жизни их Дюлы. Именно поэтому она считает себя обязанной напомнить мужу события, предшествовавшие его уходу на пенсию.

При слове «пенсия» Тот сделался красным, как перец.

Да оно и понятно. Когда человека после девяти лет безупречной службы маневровым диспетчером на железнодорожной станции Фелшэпишкольц в один прекрасный день ни за что ни про что спроваживают на пенсию, он, естественно, стремится забыть о столь унижительном факте. Маришка, напротив, считала, что именно в интересах Тота лучше было бы наконец взглянуть правде в глаза.

Тот заявил, что ему тоже было бы интересно узнать, о чем идет речь.

Маришка согласилась удовлетворить любознательность мужа, однако она настаивала на том, чтобы Агика заткнула уши.

Агика заткнула уши, и Маришка рассказала вот что: когда итальянский король Виктор-Эммануил, будучи гостем регента, выехал на осеннюю охоту в леса на севере Венгрии и когда на украшенной флагами и цветами фелшэпишкольцской станции весь железнодорожный персонал замер по команде «смирно», — и вот в тот самый момент, когда специальный состав пролетал мимо станции, один из маневровых диспетчеров, ранее ни в чем предосудительном не замеченный, вдруг повернулся спиной к поезду, спустил штаны и показал проезжающим знатным господам... невыразимую часть тела. Все так оно и было, как на духу, сказала Маришка и расплакалась.

Лайош Тот вскипел.

— Здесь нет ни слова правды! — возмутился о н . — Кто наплел тебе эту чушь?

Она долгое время тоже сомневалась, всхлипывала Магришка, сомневалась до тех самых пор, пока одна билетерша, по фамилии Шингер, еще в кинотеатре господ Бергеров, не поклялась ей, что собственными ушами слышала эту историю от очевидцев, слову которых можно верить.

Тот окончательно пал духом. Услышанное было достаточно чудовишно, чтобы сломить его самолюбие; прошло несколько минут, прежде чем жене и дочери удалось вывести его из оцепенения. Тогда обе они принялись упрямить Тота пойти и попросить у майора прощения. Они взяли его под руки. Заботливо подвели к двери и даже помогли переступить через порог...

А спустя несколько часов — точнее, в три часа шесть минут утра — Тот бежал из дому. Очевидно, между его бегством и пересказанным выше эпизодом нет и не может быть никакой причинной связи. Взрослый человек не бросает свой дом и близких лишь потому, что кто-то не разобрал его слов. Это невероятно еще и потому, что майор со свойственным ему великодушием тотчас же простил Тота. Более того, когда они вышли из комнаты, гость подчеркнул особо:

— Прошу вас, забудьте упреки. Все мы люди... Не правда ли, дорогой Тот?

Тот пробормотал что-то нечленораздельное. Состояние его нельзя было назвать хорошим, но, заняв свое место за столом, он быстро взял себя в руки. В работе, даже если она утомительна, всегда кроется нечто утешительное. К тому же майор ничуть не сердился, но совершенно напротив: пребывал в отличнейшем расположении духа. Он наслаждался свежестью воздуха, бодрящей прохладой ночи и так сумел занять всех беседой, что никто не заметил даже, как пролетело время. С радостью узнали они, что у дорогого гостя не только улучшилось самочувствие и аппетит, но и сны его теперь были уже не такие страшные, как до приезда сюда. В последний раз, например, майору приснилось, будто он — пакетик со щекочущим порошком и его сунули за ворот какой-то красивой девушке; майор со всеми подробностями описал, как он забирался все глубже и глубже под платье девушки и как смеялась от щекочущих прикосновений привидевшаяся ему красotka. Всех присутствующих эта история

немало позабавила, и даже Тот широко улыбался. Никто и не подозревал, какие планы он вынашивает, равно как никому и в голову не могло прийти, что вскоре после выяснения досадного недоразумения он преподнесет домашним еще более неприятный сюрприз.

А случилось так, что при всеобщем приподнятом и благодушном настроении — задолго до рассвета, а стало быть, и не слишком уж поздно — Лайош Тот зевнул, да к тому же самым вызывающим образом, прямо в лицо майору, зевнул так откровенно, словно майор был врачом, которому Тот демонстрировал свои воспаленные миндалины.

Это бы еще полбеды, хотя сидящие за столом отчетливо помнили, как близко к сердцу принял гость прежний зевок Тота. Ужас сковал их, уста онемели, руки замерли на незавершенном движении, как замирают крылья птицы, сраженной выстрелом охотника.

Однако допущенный промах, который тогда еще можно было исправить несколькими словами оправдания, Тот усугубил тем, что злобно накричал на жену:

— Чего ты на меня уставилась? Рог, что ли, вырос у меня на лбу?!

Когда ему растолковали, что он натворил, спервоначалу Тот упрямо, с упорством закоренелого преступника пытался начисто отрицать свой проступок. Он не верил дочери. Не верил жене. Все доводы и доказательства были ему как об стену горох. И спору, наверное, так и не видать бы конца, не вмешайся тут сам майор.

— Прошу вас прекратить эти бесполезные пререкания и я, — сказал он с обезоруживающей кротостью. — Ведь, собственно говоря, нет никакой разницы, видели мы что-то воочию или просто это стерлось у господина Тота из памяти. Если он чувствует, что не зевал, это означает лишь, что он не хотел зевать. А данный вопрос может решить только он один. Подумайте над этим, дорогой Тот.

— У меня и в мыслях не было зевать, — заявил Тот.

— Именно это меня радует больше всего, — сказал майор. — Стало быть, у вас и сейчас нет охоты зевать?

— И сейчас нет, — сказал Тот.

— Не раскаетесь ли вы потом?

— Никогда!

— Если это действительно так, — заключил майор, — не согласитесь ли вы принять определенные меры пред-

осторожности, чтобы положить конец дальнейшим попыткам зевнуть?

— С превеликой радостью! — сказал Тот.

— Чудесно! — воскликнул майор.

Он заявил, что другого и не ждал услышать от такого замечательного человека, как Тот. Конечно, сказал он, способов предупреждения зевоты существует немало; к счастью для Тотов, у него есть кое-какой опыт в этой области. Ведь на фронте солдаты, отражаемые в ночной дозор, часто бывают подвержены зевоте, а это опасно, потому что зевающего человека может легко сморить сон, за что на фронте полагается расстрел. Там майор Варро помогал беде следующим образом: несущие караул солдаты обязаны были держать во рту сливовую косточку, которую затем передавали заступающим на смену.

— Нет ли в доме случайно каких-нибудь фруктов с косточками? — спросил майор.

Маришка покачала головой. К сожалению, сообщила она, сливовый сезон уже кончился, а персики еще не созрели... По всему было видно, что хозяйку глубоко огорчает непредвиденное обстоятельство, но майор поспешил ее утешить:

— Не беда, Маришка. Я что-нибудь да придумаю.

С сосредоточенным видом он обследовал свои карманы. Судя по всему, майор не нашел ничего подходящего, потому что вдруг вскочил, бросился к себе в комнату, перерыл там все ящики и вернулся обратно с целым ворохом всевозможных предметов. Он положил на стол фотоаппарат «Кодак», коробку порошка от насекомых, пистолет, затем фотографию в рамке, на которой был изображен он сам в день производства в лейтенанты, с саблей на боку и опирающимся на искусственную пальму, даже на фотографии выглядящую очень пыльной.

— В принципе каждая из этих вещей подходит, — сказал он, поочередно переводя взгляд с того или иного предмета на рот брандмейстера, — но ни одна не идеальна.

Тут он хлопнул себя по лбу и воскликнул:

— Гоп-ля! Я совсем забыл про «трещотку»!

Он сгреб все свои вещи и унес их обратно, затем, появившись снова, с сияющим видом извлек какой-то предмет величиной с куриное яйцо, который оказался не чем иным, как карманным фонариком с крошечным динамо. Сбоку у фонарика был небольшой выступ. Стоило на него нажать, как динамо начинало крутиться,

фонарик принимался трещать — отчего и называли его «трещоткой» — и вспыхивал свет.

Майор протянул «трещотку» Тоту.

— Прошу вас, любезный господин Тот.

— Вот оно что! — воскликнула изумленная Маришка. — Мне бы до такого ни в жизнь не додуматься!

— А ведь как просто! — всплеснула руками Агика.

Однако сам Тот, вместо того чтобы обрадоваться, с явной неприязнью смотрел на фонарик.

— Ну и что с ним делать? — спросил он.

— Как что? — рассмеялась Агика. — Взять в рот, папочка, и готово дело!

— Только смотри не проглоти ненароком, — заботливо вставила вечно беспокоившаяся о муже Маришка.

— Ни грызть, ни глотать нельзя, — объяснил майор. — Сосите спокойно, как леденец.

Однако Тот заупрямился. Он не решается брать в рот фонарик, сказал он, потому что, уж если что попадет ему в рот, он тут же проглотит.

— Этого не надо бояться, — с улыбкой успокоил его гость. — Сначала, пожалуй, будет несколько странное ощущение, но к фонарику можно привыкнуть точно так же, как к вставной челюсти.

Но даже этот аргумент не убедил Тота. Несмотря на всю его мужественность, в Тоте жило что-то ребяческое. Может быть, ему хотелось, чтобы его побольше уговаривали, или просто не нравилось само слово «трещотка», но, так или иначе, он продолжал отказываться от этого надежного способа борьбы с зевотой, хотя не мог привести ни одного мало-мальски основательного довода в свою пользу. Ища поддержки, он обратился к жене:

— И ты тоже считаешь, Маришка, что я должен держать эту вещь во рту?

— Ну а где же еще, родной мой Лайош? — удивилась жена.

Хозяин дома еще раз обвел всех взглядом, а потом сделал такое, что никак не приличествовало ни его возрасту, ни общественному положению. Он вдруг залез под стол, да так, что даже макушки его не торчало наружу.

Все переглянулись, но по молчаливому уговору не проронили ни слова. Сидели и молча ждали. Ничего другого им не оставалось. Через некоторое время Тот вылез из-под стола. И хотя он все еще корчил недовольную мину, но, по крайней мере, больше не сопротивлялся.

Он сам раскрыл рот, и Маришка бережно вложила ему туда фонарик, будто мать — лакомый кусочек своему дитяти.

— Надеюсь, он не противный на вкус? — спросила Маришка.

Тот отрицательно мотнул головой. От фонарика лицо брандмейстера несколько округлилось, и это ему шло. Агика не упустила случая заметить:

— С фонариком папочка стал гораздо красивее!

На замечание дочери Тот хотел что-то ответить, но язык его нечаянно толкнулся в выступ фонарика, фонарик застрекотал, и за зубами Тота вспыхнул свет. Сидящие обменялись улыбками.

— Не будем же терять времени, — вернулся к делу майор. — Думаю, работа теперь пойдет гораздо живее.

И в этом он не ошибся.

Работа покатила без сучка без задоринки. Тот не зевнул ни разу. Он даже с виду не казался усталым. Правда, из-под рук его и теперь выходили сплошь одни кривобокие коробки, но с этим давно уже все смирились. Данное обстоятельство необходимо подчеркнуть, чтобы никто не выискивал связи между описанными событиями и тем, что случилось потом. Ведь никто еще не убежал из дому оттого, что ему пришлось держать во рту (в целях исключительно профилактических) карманный фонарик.

Тем большим было удивление, когда обнаружилось, что Тот исчез.

Его отсутствие заметили не сразу. По всей вероятности, он сбежал по окончании работы, когда все одурело шатались из угла в угол и даже глаза держать открытыми стоило огромных усилий воли. Его отсутствие еще и потому не бросилось в глаза остальным, что грузовик с эгерской фабрики перевязочных средств «Санитас» лишь раз в месяц объезжал округу, чтобы забрать готовую продукцию. К Тотам еще не заезжали, и у них, главным образом благодаря новой резалке, скопилось неисчислимое количество коробок — гигантские пирамиды заполнили весь двор. Уж на что рослым человеком был Тот, но и он мог легко затеряться в этих лабиринтах.

Однако через какое-то время отсутствие хозяина все же заметили. Его стали звать, затем принялись искать. Облазили все уголки, обшарили соседние сады, всю деревню вплоть до лесопильного склада. Обошли Барталапош-

скую долину. Поляны на склоне Бабоня. Тот как сквозь землю провалился!

Куда он девался? И почему? Наверно, опять ему что-нибудь пришлось не по душе. Хотя вряд ли, ведь только что все так хорошо наладилось.

В тот день господин приходский священник Томайи вернулся домой только к вечеру, усталый от лазания по горам, поскольку он давал последнее причастие теще помещичьего лесничего. И поэтому священник как был, пропыленный и в сутане, вытянулся на кровати и утомленно прикрыл глаза.

И тут до его слуха донесся раскатистый храп.

Сначала священник подумал, что слышит свой собственный храп. Он затаил дыхание. Храп продолжался. Через несколько минут ценой больших усилий, что было вредно ему, поскольку он страдал язвой желудка, Томайи удалось вытащить из-под кровати Лайоша Тота. Еще труднее оказалось его разбудить. А уж вытянуть из брандмейстера слово стоило и вовсе невероятных трудов.

Многие недооценивают сельских священников. Они-де механически отправляют свои святые обязанности, твердят избитые проповеди, предаются чревоугодию, снедаемы бесом праздности... Никому невдомек, что иной раз сельским священникам приходится сталкиваться со столь сложными психологическими проблемами, которые даже для пастыря более высокого сана явились бы истинным испытанием его искусства и духа.

Священник Матрасентанны многие годы жил на свете, не ведая забот. Но в последнее время, а говоря точнее, в последнюю неделю его прихожане вдруг словно рехнулись. Позавчера, например, один рабочий с лесопилки ошарашил священника жалобой на то, что его преследует собственная тень. И тут же, на залитой солнцем улице, показал священнику свою тень, которая действительно преследовала его и очертаниями походила на жандарма в форме. Какой совет можно дать в подобном случае? И что мог сказать его преподобие Томайи люксембургскому герцогу Леонарду, обладателю семидесяти тысяч хольдов лесных угодий, когда высохший старец (в жилах которого текла кровь британских королей) в тот же день вечером на исповедальной скамеечке признался ему, что чувствует себя убежденным коммунистом? Чем тут можно помочь? Священник обоим рекомендовал поститься.

Уже по двум этим примерам легко догадаться, что доступ во внутренний мир священника Томайи был надежно закрыт для самых жестоких жизненных треволений, однако признание Тота даже его потрясло. Невозможно было сохранить равнодушие, слыша, как один из самых уважаемых прихожан, человек крепких нервов и завидного здоровья, тихим, ровным голосом заявляет, что самое заветное его желание — спрятаться куда-нибудь.

Куда? Тоту было безразлично. А почему? Брандмейстер и этого не знал. Он помнил только одно: что как раз собирался ложиться спать и уже расшнуровал ботинки, сидя на краю постели, когда, повинувшись велению какого-то внутреннего голоса, неожиданно встал, пришел сюда, влез в окно и спрятался под кровать священника.

Тот утверждал, что свой поступок он совершил в здравом уме и твердой памяти. Правда, ему хотелось спать, но он все же отдавал себе отчет в том, что делает. Он сознавал, что это не вполне разумный поступок, но... не смог удержаться. Впрочем, эта мания неотвязно владела им уже несколько дней. Где бы он ни находился (в комнате ли, в подвале или под открытым небом), повсюду он не переставал высматривать, нет ли где поблизости подходящего убежища. Вот и сейчас, разговаривая с его преподобием, он едва удерживался от соблазна спрятаться к нему под сутану.

Священник молча выслушал исповедь Тота. Вот стоит перед ним этакий здоровяк, и тяжелее плоти его разве что его душевная горесть. Что сказать ему в утешение? Священник вздохнул.

— Если тебе станет легче, сын мой, — сказал он, — мне не жалко, можешь ненадолго залезть ко мне под сутану.

— Премного благодарен, ваше преподобие, — уклонился Тот. — Я не хочу поддаваться соблазну, а то боюсь, он совсем меня одолеет.

Священник похвалил Тота. Затем подошел к окну, глядя на безоблачное небо, задумчиво постоял какое-то время и произнес следующие прекрасные слова:

— Чего не сделает человек ради ближнего своего, сын мой! Сейчас война, и все мы во власти страха. Бои идут далеко от нас, и газеты изо дня в день пишут о победах наших войск, а мы все-таки чего-то страшимся. Чего? Я лично не знаю. Если бы знал, пожалуй, перестал бы бояться. Подумай и ты, сын мой, вдруг ты пой-

мешь, что конкретно тебя тревожит. Тогда, наверное, и тебе не захочется больше никуда прятаться.

Тот понурил голову. Он признался, что его беспокоят три вещи.

Священник ободрил Тота, посоветовал, ни о чем не умалчивая, излить душу.

В первую очередь, сказал Тот, ему не нравится, что свою каску (да еще среди бела дня) он вынужден носить надвинутой на лоб, потому что так желает уважаемый гость.

Ну а дальше, каково же второе обстоятельство, допытывался священник.

Еще: как-то вечером, когда они прогуливались с майором Варро, Тоту пришлось перепрыгивать через тень от трансформатора перед домом Гизи.

Разве это так ужасно? — развел руками священник, но все же снова ободрил его: пусть Тот выскажет ему и третью жалобу.

Третье, что его удручает, сказал Тот, — это необходимость держать во рту карманный фонарик гостя, чтобы не зевать во время складывания коробочек.

Священник поинтересовался, велик ли у майора фонарик.

Брандмейстер вынужден был признать, что фонарик никак не крупнее куриного яйца.

А надобно ли его глотать, этот фонарик, не унимался священник.

Как раз глотать-то его и нельзя, пояснил Тот. Можно только сосать, как леденец.

И тут господин священник Томайи дал волю праведному гневу.

— Это уже кощунство, сын мой! — обрушился он на Тота. — Сейчас самый разгар войны, когда люди пребывают в страхе за жизнь свою или оплакивают гибель близких... А ты тут ноешь по пустякам, когда следует воздать хвалу господу за то, что он привел к тебе в дом командира твоего сына! Теперь я жалею, что вообще затеял беседу с тобой!

Священник быстро вышел из комнаты, сильно хлопнув дверью, послал соседского мальчонку за Маришкой, а сам во гневе принялся расхаживать по извилистым дорожкам сада.

— Не делай трагического лица, дочь моя, — сказал священник явившейся Маришке и повел ее к дому. — Там

сидит этот недотепа, твой муж, забери его, пожалуйста.

Они вошли в дом. Тота и след простыл. Не было его ни под кроватью, ни под шкафом, ни среди грязного белья. Не было его и в собачьей конуре. Тот снова как сквозь землю провалился и не объявлялся вплоть до семи-часовой обедни, когда до слуха его преподобия господина Томайи вновь донесся храп. Знакомый звук на сей раз исходил из-под кружевного покрывала главного алтаря. У священника от испуга застряли в горле всеильные слова святого обряда, и ему чуть не сделалось дурно.

Службу пришлось прервать. Верующие разбрелись. Тота втокнули в ризницу и заперли дверь. Маришка разрыдалась.

— Что же мне теперь с ним делать? — вопрошала она священника. — Ведь у меня в доме гость, не могу же я с утра до ночи караулить мужа.

Священник задумался.

— Здесь трудно дать совет, Маришка, потому как мы, помимо прочего, должны постоянно помнить и о чрезмерной чувствительности твоего супруга.

— Вот именно, — кивнула Маришка. — Он даже карманный фонарик держать во рту не желает.

— А нельзя ли его попросту привязать к стулу? Тогда уж он наверняка не сбежит.

— Тут есть одна слабая сторона, — сказала Маришка. — Если он долгое время сидит не сходя с места, то он, бедняжка, засыпает.

— Может, привязать ему колокольчик на шею? — предложил священник. — У меня как раз есть один лишний колокольчик для службы.

— Он был бы у нас аки агнец, — умилилась Маришка, но тут же отрицательно покачала головой. — Боюсь, что колокольчик будет раздражать господина майора.

— Ну, тогда сама подумай, что делать, — беспомощно развел руками священник. — Разум мой истощился.

— Побеседуйте с ним по душам, пожалуйста, — попросила Маришка. — Он всегда вас слушался, ваше преподобие.

Священник Томайи зашел в ризницу и побеседовал с Тотом по душам. Священник растолковал ему, что должен делать отец ради сына, особенно если речь идет о таком сыне, как Дюла. Это подействовало.

Лайош Тот торжественно поклялся, что в оставшиеся

до отъезда майора дни он постарается преодолеть свои дурные наклонности: не будет больше убежать из дому и прятаться тоже не станет — ни под кровати, ни под алтари.

Священник простил его, зная, что Тот, если уж что обещал, сдержит слово. Так оно и вышло.

Тот направился прямо домой, однако не присоединился к домочадцам, а засел в уборной в саду. Там он просидел до самого ужина, а после еды снова заперся в будочке.

В уборной он просидел и все утро следующего дня. Когда Маришка постучала, Тот не ответил. Судя по всему, он спал.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Письмо на фронт

Сыночек мой ненаглядный! Надеюсь, эти строки станут тебя в добром здравии. Его преподобие господин Томайи, когда молится за воинов, вдали пребывающих, всегда первым называет твое имя. Извещаю также, что у нас все идет хорошо, только тебя не хватает. Чтобы ты не беспокоился, сообщаю тебе, что глубокоуважаемый господин майор тоже чувствует себя прекрасно. Сначала он был очень измученный и нервный, но десятидневный отдых у нас и наш чудный горный воздух уже оказали свое действие. В первые дни господина майора мучили кошмары, а теперь снятся только смешные сны вроде того, будто он щекочущий порошок или что щенок тащит его в зубах и треплет из стороны в сторону, но это сущие пустяки в сравнении с тем, что снилось ему вначале: как его перемалывали на фарш. Отец тоже чувствует себя хорошо, только стал немного рассеянным и иногда попадает под чужие кровати, но господин священник уже беседовал с ним, и с тех пор настроение у отца стало гораздо лучше, хотя иногда он все же сторонится людей. У меня есть для тебя еще одна радостная весть. Глубокоуважаемый господин майор обещал, что с наступлением холодов он не только возьмет тебя к себе в штаб батальона, но и ночевать ты будешь с ним в одной комнате, вместо того офицера, который сейчас живет там. Дай-то бог, чтобы это сбылось.

Береги свой желудок, жирную пищу не ешь неподогретой. Целую тебя много раз.

Твоя мать *Маришка*.

Маришка написала на конверте адрес, поднесла к уборной и тихо (чтобы не разбудить почивавшего гостя) окликнула мужа. В ответ раздалось деликатное покашливание в знак того, что помещение занято.

— Сколько ты пробудешь там, родной мой Лайош? — поинтересовалась Маришка.

— А что? — спросил Тот. — Разве майор уезжает?

— С чего ты взял? Господин майор уезжает через четыре дня.

— Тогда я еще посижу немного, — сказал Тот.

День был воскресный. И уже отзвонили к обедне. Маришка, чтобы не опоздать, просунула в щелку письмо и карандаш. Тот расписался.

Маришка надела выходное платье.

— Я иду к обедне, — сказала она Агике, которая оципывала цыплят на веранде. — Папа сидит в уборной, господин майор спит. Посмотри за ними, дочка.

Она поцеловала Агику и ушла.

Приблизительно через четверть часа из комнаты показался майор. Сонным голосом он пожелал Агике доброго утра, затем — в мятой пижаме, с взъерошенными волосами и громко зевая — направился к уборной.

Агика тревожно глядела ему вслед.

До приезда майора Варро Тоты слыли образцовой семьей. Маришка не просто любила своего мужа, но и считала его настолько выше себя, что повиновалась одному его взгляду.

Агика же с нерастраченным пылом юности буквально боготворила отца. Все на свете, что было прекрасного, ассоциировалось у нее с отцом: полет ласточки, вкус шоколада во рту, то сладостное головокружение, которое мы испытываем, глядя на алую розу, — все это и еще многое другое, вместе взятое, был отец.

С тех пор как майор Варро вошел в их жизнь, на смену прежним отношениям пришли новые. В душе Маришки — постепенно, шаг за шагом, у Агики же — с той неуловимой для глаза быстротой, с какой молния, меняя направление, ударяет не в одно дерево, а в другое. Установлено, что изменчивее всего в человеке его чисто физические привязанности; как до сих пор Агика любила запах

отца, так теперь вбирала в себя запах майора, и вместо голоса Тота теперь голос гостя электрическим разрядом пробегал по ее нервам. Особенно притягательны для нее были сапоги майора, с первого же дня их чистила только Агика, потом она стала брать их к себе в комнату, играла с ними, как с куклой, разговаривала и напевала им что-то. И постепенно из-за этих разбитых опорков она начисто отрезала от зеркально сверкающих сапогов отца!

Однако женщина — и тем более такая женщина, как Маришка, — никогда не вырывает своих чувств с корнем. Маришка сочувствовала мужу, даже когда тот беспричинно восставал против господина майора, желающего ему одного лишь добра, и у нее язык не повернулся сказать Тоту хоть слово в осуждение.

Но и она все больше и больше попадала под влияние майора, хотя и не в физическом, а скорее в духовном, или даже более того, в несколько трансцендентном смысле. Вся она преисполнилась одним желанием: чтобы гость чувствовал себя как можно лучше. Она предугадывала, когда ему начинает хотеться пить, и тотчас приносила легкий фреч¹. Майор еще и сам не успевал осознать, что у него в кишечнике скопились газы, как Маришка уже вставала и деликатно удалялась. Постепенно она как бы переродилась, превратившись в стеклянный колпак, в живую защитную оболочку, единственным назначением которой было избавить гостя от всяческих неприятностей.

Ее способность к восприятию чужих чувств обострялась изо дня в день. В этом, безусловно, сыграло свою роль недосыпание и связанное с ним нервное перенапряжение, тревога за сына, а теперь уже — и за мужа. Подобно некоему телепатическому феномену, она на расстоянии улавливала малейшие душевные движения гостя; иногда ей чудились таинственные голоса, являлись видения, которые заранее предупреждали о грозившей майору опасности.

Стоял, например, в углу веранды прислоненный к стене старый зонтик, забытый кем-то из квартирантов. Этот зонтик имел обыкновение иногда падать безо всякой на то причины.

Однажды утром, пока майор спал, Маришка отправи-

¹ Фреч — вино, разбавленное содовой.

лась в мясную лавку; мясо тогда давали только по карточкам. Уже подошла ее очередь, когда перед лавкой остановился велосипед.

Кто-то крикнул:

— Есть тут женщина по фамилии Тот?

Напрасно уверяли ее, что все это лишь игра ее разгоряченного воображения. Маришка даже по прошествии многих месяцев утверждала, что видела воочию: рядом с велосипедом стоял старый еврей с бородой и кротким взглядом — ну вылитый святой Петр.

— Это я! — отозвалась Маришка. — В чем дело?

— Надо лучше смотреть за зонтиком! — И в мгновение ока небесный посланец укатил, мелькая педалями.

По счастью, мясная лавка находилась недалеко от Тотов. Маришка бросилась домой и — о, чудо господне! — успела на лету подхватить злополучный зонтик, который снова готовился упасть и уж точно бы разбудил господина майора!

В это воскресенье, к концу святой обедни, Маришке снова был знак свыше. На сей раз ей никто не являлся, но, перекрывая гудение органа, из-под церковного свода донесся дребезжащий старческий голос, как если бы вещал громкоговоритель:

— Внимание, внимание! Маришка Тот, урожденная Балог! Вас ожидают родственники у входа в мужской туалет!

Остальные верующие либо не слышали громкоговоритель, либо не поняли грозного смысла уведомления. Маришка же всполошилась и, прокладывая себе дорогу к выходу, одолеваемая дурными предчувствиями, бросилась домой.

Уже от калитки она завидела собравшуюся перед уборной толпу кричащих и что есть силы стучащих кулаками людей. Что им здесь нужно? Почему на веранде рыдает Агика? И почему майор лихорадочно швыряет в распахнутый чемодан свои вещи?

— С меня хватит, — сказал майор отрывисто, с искаженным лицом. — Помогите собраться, скоро придет автобус.

Жужжали пчелы. Благоухали мальвы. Майор Варро остановился перед закрытой дверью будки. Он немножко

погулял по саду, но дверь не открывалась. Майор постучал. Тот кашлянул:

Майор вернулся к себе в комнату. Агика ощипывала уже второго цыпленка, когда снова появился майор и — несколько поспешнее, нежели в первый раз, — направился к уборной.

Постучал. Тот покашлял. Майор повернул обратно.

Агика подметила на лице у гостя разочарование и почувствовала, что сейчас уместно было бы что-нибудь сказать. И она сказала:

— Какая чудесная погода!

Майор что-то буркнул в ответ.

— Солнышко греет, но жары особой нет...

На что вообще не последовало никакого ответа. Майор прошел к себе в комнату.

Когда он и в третий раз ни с чем вернулся из сада, веки его покраснели, лицо отливало желтизной. Агика встретила его очаровательной улыбкой.

— А можно задать господину майору нескромный вопрос?

Майор Варро остановился, посмотрел на нее.

— Я хотела спросить: бывает ли так у господина майора, что иногда безо всякой причины вдруг делается грустно-грустно, места себе не находишь, а то совсем наоборот — радостно, хочется все время смеяться.

Майор не дал определенного ответа; он гневно сдвинул брови и кинулся к себе в комнату.

Агика испугалась. Она осознала всю тяжесть ответственности: надлежало действовать молниеносно и спасти положение любой ценой! Вместо полотняной блузки с высоким воротом она поспешно натянула на себя бледно-голубую вышитую кофточку, ворот которой открывался достаточно глубоко, чтобы из выреза могли проглянуть ее юные формы. Волосы же, обычно заплетенные в косички, она распустила по плечам. Когда майор опять ни с чем вернулся из сада, Агика в кокетливой блузке, с пышной гривой белокурых волос уже поджидала его.

Она загородила ему дорогу.

— А теперь я хочу кое о чем попросить господина майора, — проворковала она с самой обворожительной из улыбок.

Майор остановился. Он свирепо оскалился, что можно

было принять за попытку (не совсем удачную) ответить на улыбку девушки.

— Я хочу попросить вас... пожалуйста, посмотрите на меня и скажите первое, что вам придет в голову...

Агика закрыла глаза. Сердечко ее колотилось, юная грудь вздымалась. Она и сама не знала, чего ждет, но чего-то ждала.

Сначала она услышала, как лязгнули зубы майора. Получилось это, правда, весьма кроважально, но ведь при желании можно было истолковать и совсем по-другому. И тут майор произнес:

— Кто засел в этой вонючей будке?

Агика открыла глаза, зрачки ее от страха расширились.

— Если это ваш драгоценный папаша решил разыграть меня, — угрожающе наседа л май о р, — то я ему покажу, кто я такой!

Майор бросился к себе в комнату. Схватил чемодан и, швыряя как попало, принялся лихорадочно укладывать вещи. Агика окончательно потеряла голову, она выскочила из дому и принялась звать на помощь.

Воскресный променад был в самом разгаре, и потому на отчаянные крики Агики сбежалось немало народу, но из ее объяснений никто толком ничего не понял. Кто засел в уборной и почему? Кто из-за этого собирается уехать и почему? Наконец обитатели Матрасентанны решили, что в уборной скрываются вражеские парашютисты. Будочку окружили и — на почтительном расстоянии — осыпали ругательствами. Кто знал хоть сколько-нибудь по-английски, ругался по-английски.

Когда запыхавшаяся Маришка прибежала домой, она первым делом выпроводила всю эту ораву незваных гостей. Затем постучала в уборную. Безрезультатно. Принялась колотить кулаками в дверь. Ответом ей было все то же деликатное покашливание.

Маришка кинулась к майору. Ломая руки, умоляла его повременить еще капельку. Затем выбежала из дома и позвонила у виллы профессора Циприани.

Этот маститый невропатолог с европейским именем очень благоволил к Тотам. Рубашки свои, к примеру, он доверял стирать только Маришке. Ботинки и шляпы ему

всегда неделю-другую изнашивал Тот, чтобы лучше сидели.

Профессор в означенный час наслаждался воскресной сиестой, но с готовностью встал, сам отправился к Тотам и собственноручно забарабанил в дверь.

— Это я, уважаемый Тот. Хотелось бы побеседовать с вами немного.

Тот не возражал. Он вышел из будочки, уступая место майору, и покорно поплелся вслед за профессором, который провел его к себе в кабинет, внимательнейшим образом обследовал и с удовлетворением похлопал по плечу.

— Поздравляю, у вас на редкость здоровый организм. Но тем не менее изложите мне ваши жалобы, дорогой Тот.

Высокий лоб профессора, подстриженная клинышком серебряная бородка и весь его благожелательный облик столь располагали к доверию, что Тоту доставило истинное удовольствие излить свою душу.

— Нет у меня никаких жалоб, глубокоуважаемый господин профессор. Просто я не понимаю, чего они еще хотят, ведь я сделал все от меня зависящее. Я нахлобучиваю свою каску на самый нос, будто пьяный извозчик. Я отучился зевать и потягиваться и отказался даже от соблазна прятаться под кровать господина священника, хотя мне это удалось с превеликим трудом. Я отдаю себе отчет, что речь идет о жизни нашего Дюлы, и поэтому не выплевываю даже фонарик господина майора, когда его запикивают мне в рот. Чего еще можно требовать от простого, не имеющего образования человека? Разве это преступление, что мне нравится сидеть в уборной?

— Весьма любопытно, — встрепенулся невропатолог с европейским именем. — У вас что же, следует рефлекторное расстройство кишечника, когда вы берете в рот фонарик?

— Пищеварение у меня совершенно нормальное, глубокоуважаемый господин профессор. Я сижу в уборной потому, что там уютно. Никто тебя там не дергает и не беспокоит, всякие тебе букашки жужжат, а если я к тому же еще и запру дверь, то чувствую себя почти как в утробе матери... Так чего же они ломятся ко мне? Разве я делаю что дурное? Разве это преступление? Или, может, болезнь какая?

— Какая там болезнь, — улыбнулся профессор. — Всего лишь элементарный симптом, уважаемый Тот... И как давно у вас эта мания — запираяться в уборной?

Да не стоило бы и разговор заводить, сказал Тот... Он усвоил эту привычку каких-нибудь несколько дней назад. Хотя, если вдуматься получше, упомянутое выше место полюбилось ему, аккурат когда прибыл уважаемый гость.

— Именно так я и предполагал, — кивнул профессор. — Если вам не составит труда, встаньте на минуту, дорогой Тот.

Тот встал. Профессор смерил его профессиональным взглядом.

— Как вы считаете, дорогой Тот, какого вы роста?

— Выше среднего.

— Ну а ваш уважаемый гость будет пониже вас ростом?

— Он мне, извиняюсь, самое большее, по плечо.

— В том-то вся и беда, дорогой друг, — констатировал всемирно известный профессор. — Вы оба жертвы диспропорции. Я знаю, как глубоко вы любите своего сына, но, с другой стороны, нельзя же требовать и от майора, чтобы он постоянно смотрел на вас снизу вверх. Согласитесь, что в аналогичной ситуации и вы бы продержались недолго.

— Согласен, — сказал Тот. — Но роста своего я, к сожалению, изменить не могу.

Профессор снисходительно улыбнулся. И в более тяжелых случаях медицина приходит на выручку; теперь, когда одолели чуму и бешенство стало излечимо, а родильная горячка отошла в область преданий, подобные недуги врачуют играючи... Проще всего было бы поставить майора на скамеечку. Хотя тут есть одно „но“: майор может упасть, ненароком ушибиться, что, в свою очередь, испортило бы весь его отдых и привело бы к неисчислимым отрицательным последствиям... Поэтому лично он, профессор, считает более предпочтительным, чтобы Тот на короткое время отказался от определенных удобств.

— Я и дышать-то с радостью откажусь, — заявил Тот. — Но и тогда я все равно буду выше господина майора.

— Вы моментально перестанете быть выше его, — изрек великий психиатр, — если немного согнете свои коленные суставы.

Тот уставился на профессора.

— Чтобы я скрючил ноги?! — переспросил он оторопело.

— Для вас это пара пустяков, дорогой Тот.

— Ненадолго или на все время?

Профессор придерживался того мнения, что частая смена положений тела может травмировать организм. Он советовал даже спать, свернувшись калачиком, и тогда эта эмбриональная поза станет как бы второй натурой его пациента.

Тот задумался.

— Нет, — сказал он наконец. — Этого я не вынесу.

— Постарайтесь подавить честолюбие! — махнул рукой профессор. — Сосредоточьте мысли на сыне. Что лучше: согнуть колени или принять на себя гнев командира Дюль?

Это был решающий довод. Внутренне терзаясь сомнениями, Тот ничего не смог возразить. Он вздохнул и осторожно согнул колени, отчего сразу же стал на голову ниже.

— Так достаточно?

— Достаточно! — заверил профессор. — Большого не может пожелать даже самый низкий майор на свете.

— Потому как, если потребуется, я могу согнуться еще немного.

— Не утруждайте себя, — успокоил его профессор. — Теперь посмотрим, способны ли вы ходить в таком положении.

Попробовали. Удалось. А сможет ли Тот бегать? И бегать он мог. Вставать, садиться, взбираться по лесенке к книжным полкам... Все шло как по маслу...

— Ну, теперь можете со спокойной совестью отправляться домой, — заключил прославленный невропатолог. — Вот увидите, как вам обрадуются.

При мысли о возвращении домой Тот помрачнел. Из окна, возле которого он стоял, были видны прогуливающиеся обитатели Матрасентанны. Его здесь все знали. И он знал каждого. Но как к ним ни приглядывайся, ни один не ходит на полусогнутых ногах.

— Я не могу в таком виде показаться на ули-

це, глубокоуважаемый господин профессор, — решительно заявил Тот. — Люди станут пальцами показывать!

— Не будьте столь мнительны, дорогой друг, — покачал головой Циприани. — Думаете, вы один в таком положении? Ошибаетесь, любезный. В нынешнем мире каждый вынужден идти на жертвы.

Подобные жалобы, успокоил он Тота, в практике современных невропатологов повседневны. Каждому времени присуща своя модная болезнь; в настоящее время повсеместно распространилось явление, когда никто не знает собственных реальных размеров. Большинству хотелось бы казаться на голову ниже, но встречаются и плюгавенькие людишки, которые одержимы гигантоманией. В данном случае медицина бессильна, потому как здесь не существует абсолютного эталона и все зависит от субъективного фактора: кто каким сам считает себя. «Acta Medica Hungarica» недавно поместила статью об одном врач-еврее, который (при объеме талии сто десять сантиметров), как правило, выходил из своей квартиры только через замочную скважину и тем же путем возвращался домой. Если бы его, профессора, не связывала клятва хранить врачебную тайну, он мог бы привести немало аналогичных случаев и из собственной практики, поэтому он с чистой совестью заверяет Тота: согнутые колени — лишь самая скромная жертва, которую Тот может принести в интересах своего сына.

— Давайте проверим экспериментально, — предложил профессор. — Вы погуляйте немного на полусогнутых ногах и прислушайтесь, что на это скажут люди... Дабы придать вам уверенности, я готов сопровождать вас.

Тот принял лестное предложение. Они двинулись вдоль по улице, где прохаживалось больше всего гуляющих. Ну и что же произошло? Да ровным счетом ничего! Ребятишки издали почтительно кланялись, взрослые радушно приветствовали их, некоторые даже останавливались, чтобы осведомиться о самочувствии Тота, его семьи или гостя. И лишь один-единственный раз до их слуха донесся какой-то странный отрывистый звук.

Папаша Дюри, придурковатый письмоноша, который до сих пор почитал Тота, как божество, увидев его на полусогнутых, запрыгал вокруг брандмейстера на четвереньках и по-собачьи залаял.

Профессор махнул рукой.

— Что вы от него хотите? — улыбнулся он Тоту. — Три раза был в моей клинике, но помочь ему невозможно.

И он распрощался с Тотом, поскольку сопровождать его не было необходимости. Прохожие не заметили в Тоте никаких перемен, и, даже более того, все словно бы сговорились оказывать ему преувеличенное внимание... Так, например, прогуливающий своих гончих Леонард, герцог Люксембургский (который до сих пор, самое большее, удостаивал Тота кивком головы), на этот раз остановился, заулыбался и, шутливо погрозив пальцем, заговорил на ломаном венгерском языке:

— Гуляйт, гуляйт! За девочка бегаль?

Если бы даже это обстоятельство само по себе не убедило Тота, прием, оказанный ему дома, успокоил его окончательно. Маришка встретила мужа такую же радостной улыбкой, что и прежде, и Агика, казалось, тоже ничего не заметила, а ведь от нее обычно и пушинка на отцовском плече не укроется. Вот разве что взгляд майора задержался на нем мгновением дольше, когда свежесвыбритый, распространяя запах одеколона, гость вышел из своей комнаты.

Майор вернулся к себе, опять вышел, снова и снова приглядываясь к Тоту, словно какая-то мелочь, что-то совсем несущественное все же было не так, как прежде. Окинув его пронизывающим взглядом в третий раз, майор Варро не сдержал любопытства:

— Скажите, пожалуйста... Что с вами случилось?

— Ничего, — ответил Тот.

— Не знаю... — задумчиво протянул майор. — Слово бы вы стали на голову ниже!

У Тота и правда было ощущение, будто он стал на целую голову ниже, но главное — гость казался довольным совершившейся переменой. Предсказание профессора Циприани полностью оправдалось. Ни теперь, ни позже — никто не заметил, что Тот ходит на полусогнутых.

Другой человек на месте Тота был бы счастлив или, по крайней мере, доволен. Еще бы: поступившись этой малостью, добиться поразительных результатов — о большем и мечтать не приходится! Когда они сели за стол, гость буквально осыпал Тота знаками своего расположения и дружбы; однако глава семейства сидел за-

думчивый, без всякого аппетита ковырял еду, и в какой-то момент, когда остальные замешкались, его вдруг точно ветром сдуло.

Маришка стала в дверях веранды.

— Лайош! — крикнула она. — Где ты, родной мой Лайош?

Лишь деликатное покашливание из будочки, укрытой кустами мальвы, было ей ответом.

На некоторое время Тота оставили в покое.

Но позже, когда близился полдень, а Тот по-прежнему не выказывал желания выйти, Маришка попыталась вразумить мужа. Сначала она пробовала влиять на него уговорами, затем зывала к рассудку, приводя убедительные доводы, но, когда даже это не подействовало, ее женское терпение лопнуло.

— Считаю до трех! — крикнула она мужу, и таким разгневанным тоном, каким еще ни разу к нему не обращалась. — Если до трех не выйдешь, позову слесаря!

Но все ее угрозы были как об стену горох. Тот упорно отмалчивался.

Что оставалось делать? Маришка с тяжелым сердцем вернулась к майору и с пятого на десятое поведала ему об упрямстве мужа.

— Я уж думал, что у милейшего господина Тота расстройство желудка! — воскликнул майор. — А он, оказывается, просто так, ради собственного удовольствия, облюбовал себе уютное местечко!

Маришка признала и этот факт, ничего не скрывая и не приукрашивая. Но если она опасалась, что гость рассердится или по меньшей мере почувствует себя задетым, то ее ждало приятное разочарование.

Майор заметно оживился. Он поинтересовался, не найдет ли Агика свободной минутки, и если да, то не согласится ли она заскочить в ресторанчик Клейна за бутылкой пива со льда. Он попросил два стакана. Попросил открывалку для пива.

Вооружившись пивом, стаканами и открывалкой, майор вежливо постучал в дверь будочки.

— Не подумайте, милейший господин Тот, что я хочу вас оттуда выжить, я просто зашел вас проведать. И за-

одно прихватил бутылочку холодного пивка. Надеюсь, вы любите светлое?

— Я всякое пиво люблю, — отозвался Тот, протягивая руку в дверную щель. — А то, если не побрезгуете нашим скромным стульчаком, милости просим, присаживайтесь. — И он распахнул дверь будочки.

Тот забился в самый угол и еще раз извинился перед майором за тесноту. К счастью, хоть и не без труда, им удалось пристроиться рядком. Пиво поставили на пол, а стаканы пришлось держать в руках.

В первые минуты их уединения Тот чувствовал себя несколько стесненно, что вполне объяснимо: ведь ему отродясь не доводилось еще сживать в такой теснотище и со столь высокой персоной. Он оправдывался перед собеседником, что помещение такое убогое. Ничего не поделаешь, какой спрос с деревни!

Майор заверил хозяина, что его потребности этот домик вполне удовлетворяет.

Тота, помимо всего, огорчало, что он так и не вычистил яму, а ведь даже насос уже подкатили сюда. Однако владелец насоса отсоветовал чистить.

— А зачем ее чистить? Разве он такой уж привередливый гость?

Нет. Господин майор человек покладистый, но еще раньше другие отдыхающие жаловались на запах.

Майор укоризненно покачал головой: Тот его по-прежнему недооценивает. А ведь, ежели вдуматься, за все время его пребывания здесь хозяева не слышали от гостя ни единой жалобы, и, в частности, жалобы на отхожее место, которое наилучшим образом отвечает своему назначению.

— Ну, пусть мы и не слишком многое можем предложить гостю, но, по крайней мере, стараемся угодить, — сказал Тот со свойственной ему скромностью.

— На вашем месте я бы вообще не выходил отсюда, — заметил майор.

— Нипочем не выйду, — сказал Тот. — Разве что уж очень приспичит.

— Вы умный человек! Слышите, как шумит листва?

— Ваша правда, шумит!

— А что это жужжит?

— Так, букашка, — сказал Тот.

— И как она называется?

— Зеленая мясная муха.

— Красивое название, — мечтательно вздохнул майор.

Они еще немного послушали жужжание зеленых мясных мух и умиротворяющий шелест листвы. Но старая житейская истина гласит, что даже самым прекрасным мгновениям рано или поздно приходит конец.

— К сожалению, я должен идти. — Майор встал с сиденья. — Будьте здоровы, милейший Тот.

— Спасибо, что заглянули проведать, глубокоуважаемый господин майор, мне очень лестно.

— Между нами, признаться, иногда возникали незначительные расхождения, — заметил гость, — но теперь, по счастью, все уладилось.

— И слава богу, — вежливо привстал Тот. — Пожалуйста, заходите снова, когда заблагорассудится.

— Как только выберусь... Надеюсь, мы будем иметь честь видеть вас за работой? — поинтересовался майор.

— Это уж непременно.

— Всего вам доброго! — попрощался майор. — Я покидаю вас с приятным сознанием, что в наши тяжелые времена, когда никто не знает, где приткнуться, по крайней мере, один человек нашел свое место!

Последние дни отпуска майора Варро протекали в размеренном однообразии, без каких-либо чрезвычайных происшествий. Все были довольны. Когда представлялась возможность спать, спали. Когда приходилось делать коробочки, все занимались коробочками. Установилось состояние равновесия.

Однако же как примечательный факт следует отметить, что Лайош Тот неожиданно пристрастился делать коробочки. В эту принудительную работу он вкладывал такое усердие, что скоро коробочки у него стали получаться лучше, чем у всех остальных, их передавали из рук в руки, рассматривали, восхищались ими.

— Ай да папочка! Его коробочки — одно загляденье! — восторгалась Агика.

— Кто бы мог такое предвидеть! — качал головой майор.

— Вот видишь, родной мой Лайош, — добавила Маришка, — я всегда говорила: добрая воля чудеса творит.

Конечно, Тотам нелегко давалось это неожиданно об-

ретенное состояние равновесия. Все они были измотаны недосыпанием, издерганы постоянными страхами, непривычным нервным напряжением. У Маришки, например, как она ни старалась, все валилось из рук; случалось даже, что она на несколько минут засыпала, стоя с широко раскрытыми глазами, как курица, которую загипнотизировали в целях научного эксперимента.

Агика ничего не роняла; она большей частью сама натыкалась на предметы и все опрокидывала. Как-то, помнится, когда они с отцом оказались вдвоем в темной комнате, Агика несколько раз натыкалась на него. Более того, когда зажгли свет, она и при свете наскочила на отца.

— Прошу прощения, — сказала она, попятилась, опрокинула гладильную доску и снова двинулась на отца. А тот, хотя было куда посторониться, тоже пошел прямо на дочку. Они столкнулись, как два паровоза; видимо, оба достигли той степени усталости, когда бывает темно в глазах среди бела дня.

По внешнему виду Тота лишь очень внимательный наблюдатель мог бы заметить, в сколь плачевном состоянии он пребывал, а между тем все эти четыре дня Тот словно плавал в звенящем дурмане. Впрочем, для него это имело лишь те последствия, какие наблюдаются при старческой немощи и склерозе. Приходилось громко кричать, потому что ему отказывал слух. Случалось иной раз, что он забывал проглотить кусок; так и держал во рту мясо с утра до вечера. Привычные повседневные действия Тот путал одно с другим: как-то раз он пытался пригладить волосы бутылкой с содовой, а на прощальном ужине, когда он ложкой вычерпывал куриный суп, ему вдруг представилось, что ужин давно окончился и что он курит сигару. А поскольку дым он обычно пускал через нос, то присутствующие, к своему изумлению, вдруг увидели, как из носа у Тота лезут рис, горох, морковь и знаменитые Маришкины галушки.

Но столь незначительные ухабы никого уже более не выбивали из колеи. А самое главное — гость был доволен, весел, в данный момент — уравновешен и за прошедшие две недели поправился почти на четыре килограмма.

Все это выкристаллизовалось в тех немногих словах, которые майор произнес, прощаясь с ними перед приходом вечернего автобуса:

— Поверьте, милые Тоты, мне совсем не хочется от вас уезжать.

Маришка глубоко вздохнула, но этот вздох был вызван радостью.

— Нам тоже больно, — сказала она, — что приходится расставаться с высокоуважаемым господином майором.

— А в а м и, — майор повернулся к Тоту, — я особенно доволен, милейший Тот. Смотрите только, не дайте в себе возродиться вашим прежним недостаткам!

Тот с каменным выражением лица в упор посмотрел на майора и что-то процедил сквозь зубы. Маришка, стоявшая к нему ближе других, поняла это как «наложи себе в штаны!».

Конечно, еще вопрос, правильно ли она расслышала, потому что в это время с визгом и грохотом подкатил междугородный автобус и целиком заглушил все другие звуки.

Автобус остановился. Майор всем по очереди пожал руки. Агику он поцеловал в лоб.

— Прощайте! У меня такое чувство, будто в вашем гостеприимном доме для меня открылась новая жизнь. Я не охотник до громких фраз. Лучше на деле докажу, сколь я вам благодарен!

Тоты как стояли, так и остались стоять, растроганные. Майор поднялся в автобус и высунулся из окна.

— Еще раз благодарю за сердечный прием!

— Мы рады, что господину майору у нас понравилось.

— Всего доброго, дорогие Тоты!

— Счастливого пути, господин майор!

Автобус тронулся. Майор успел еще напоследок выкрикнуть:

— Надеюсь, я не был вам в тягость?

Все трое дружно махали и кричали вдогонку: «Нет, нет!»

Автобус скрылся за поворотом. Тоты все еще махали руками, но на лицах у них одна за другой пропадали прощальные улыбки, точно одну за другой поочередно гасили свечи.

Тот не двигался. Он все еще держал руку поднятой в прощальном приветствии и настороженно поглядывал туда, где поворачивала дорога, словно боялся, что из-за

поворота вдруг вынырнет обратно автобус, снова вылезет из него майор и все начнется сначала. Но этого не случилось, и Тот успокоился.

Прежде всего он снял свою каску и надел ее так, чтобы вертикальная ось его тела и горизонтальная ось каски составляли угол в девяносто градусов. Затем попробовал разогнуть колени.

— Помоги-ка, Маришка, — сказал он, ибо колени его совершенно одеревенели в согнутом положении. Лишь с помощью обеих женщин ему удалось наконец выпрямить ноги. После чего он расправил все свое крупное тело и, окруженный близкими, с высоко поднятой головой, красивой, гордой походкой прошествовал к дому.

Дома он, не замедляя шага, двинулся прямо к новой резалке. Неуклюжее сооружение с трудом прошло в двери. Тот оттащил ее за уборную, в заросли мальвы, а вернувшись обратно и отдышавшись, объявил:

— Отныне мы будем завтракать утром, ужинать вечером, а ночью спать! Понятно?

— Все-все будет, как ты пожелаешь, родной мой Лайош, — откликнулась Маришка с самой нежной улыбкой.

Они так и сделали. Когда стемнело, поужинали. Затем Лайош Тот пододвинул к двери свое любимое кресло. Маришка прижалась к мужу и притянула поближе дочь, которая обвилась вокруг папочки, точно лоза. Несколько минут все трое сидели молча, наслаждаясь покоем; над головами у них сверкала рассыпанными звездами августовская ночь, а Бабонь, словно гигантские зеленые легкие, дышал вечерней прохладой. Скоро придет зима... Долгая русская зима с пронизывающими ветрами и лютыми морозами. Но батальонные штабы, наверное, хорошо отапливаются, а начальство предпочитает селиться в каменных домах, а каменные дома, особенно ночью, когда их обитатели спят, охраняют удвоенные караулы. Так, пожалуй, можно надеяться, что тех немногих, кто находится в столь исключительных условиях, минует беда...

Инвентарная опись

Настоящая опись вещей, являющихся собственностью прапорщика Дюлы Тота (предметы казенного имущества в опись не вносятся), составлена в гомельском полевом

госпитале в присутствии свидетелей: лейтенанта Кароя Кинча, фельдфебеля И. Короды и фельдфебеля Д. Боглара.

Наименование: трусы шелковые — одни. Особые приметы — нет.

Наименование: платок носовой — один. Особые приметы — клетчатый.

Наименование: бумажник кожаный — с деньгами. Особые приметы — 39 пенге, 60 филлеров.

Наименование: карандаш чернильный — один. Особые приметы — нет.

Наименование: фотография — одна. Особые приметы — мужчина и женщина.

Наименование: сигареты «Гонвед» — 20 штук. Особые приметы — нет.

Дата, подписи.

(Опись отправлена мокнуть в бочку с дождевой водой.)

Маришка улыбнулась мужу.

— Ты утомился, наверно. Давай ложиться, родной мой Лайош.

— Только я прежде выкурю сигару, — сказал Тот.

Маришка бросилась за сигарой.

Агика подала огоньку, и Тот с наслаждением вдохнул ароматный дым.

Он ценил мелкие радости жизни. Вот и сейчас ему было так хорошо, что он потянулся вольно, отчего хрустнули суставы, и застонал от удовольствия:

— Ох, мать моя бедная, родная моя мамочка!

В этот момент послышались чьи-то приближающиеся шаги. Тоты удивленно переглянулись.

В дверях веранды стоял майор Варро с чемоданом в руке, с широкой улыбкой на сияющем лице.

— Вижу, дорогие Тоты, что вы отказываетесь верить собственным глазам, — сказал он. — А между тем это наяву!

Тот издал какой-то странный булькающий звук и отдаленно не похожий на человеческий голос. Такой звук, словно утопающий в колодце пускает последние пузыри. Говорить он не мог.

Впрочем, говорить никто не мог. Все трое молча уставились на майора круглыми глазами.

— В Эгере я собрался было отметить отпускное удостоверение, но в привокзальной комендатуре мне сообщили приятную весть: партизаны взорвали мост и поезда не будут ходить целых три дня. — Он улыбнулся Тоту, Маришке, Агике. — А нам так трудно было расстаться! И тогда я подумал, что эти три дня я вполне могу провести у вас... Надеюсь, я не буду вам в тягость?

К Тотам никак не желал возвращаться дар речи. Майор внес чемодан в свою комнату, вернулся обратно и, обуреваемый жаждой деятельности, предложил:

— Если вы не против, мы могли бы сейчас заняться коробочками... — Он запнулся. Огляделся по сторонам. — Ай-ай-яй! — воскликнул он. — Куда же девалась новая резалка, милейший Тот?

Хозяин дома открыл было рот, чтобы ответить, но последнее удалось ему лишь с третьей попытки.

— Я отнес ее в сад, глубокоуважаемый господин майор.

— Зачем? — удивился майор. — Куда же?

— Давонтуда, к мальцам, — услужливо вскочил Тот. — Извольте, я вам покажу.

Они скрылись в саду.

Маришка и Агика так и окаменели на месте, напряженно вглядываясь в темноту. Видеть они ничего не сидели. И никаких звуков вроде бы тоже не было слышно. Затем раздался приглушенный лязг, от которого обе они вздрогнули. Через некоторое время лязг повторился: опустилась стальная рукоятка резалки; и снова они вздрогнули от этого звука. И еще раз вздрогнули: в третий раз опустился нож.

Прошло какое-то время. Из темноты появился Тот.

— Чего вы тут выставились! Пора спать, — напомнил он.

Они разобрали постели.

Разделись.

Легли.

Маришка погасила свет и, помолчав, робко спросила мужа:

— На три части его разрезал, родной мой Лайош?

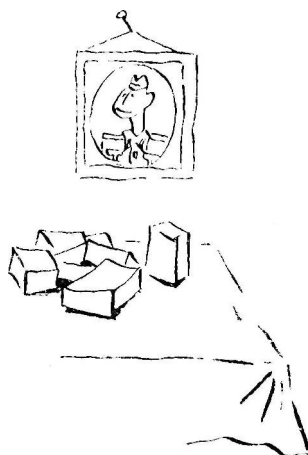
— На три? Нет, с чего это ты взяла? Я разрезал его на четыре равные части... Или, может, я чего неправильно сделал?

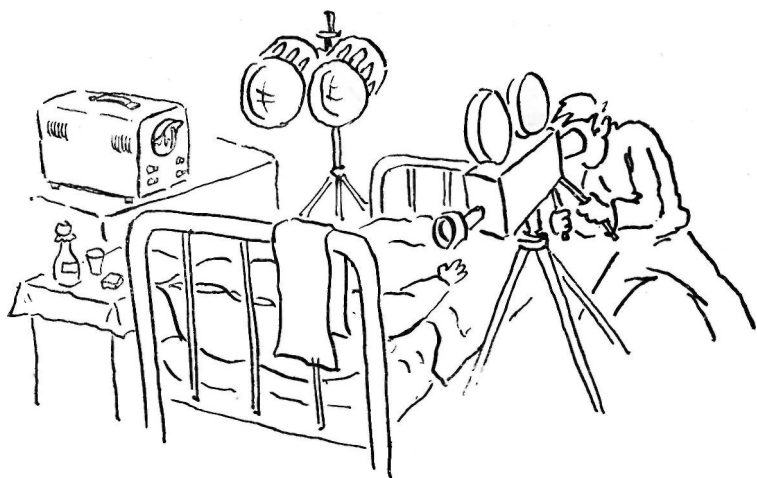
— Все правильно, родной мой Л а й о ш , — откликнулась Маришка. — Ты всегда знаешь, что и как надо делать правильно.

Они лежали молча, ворочаясь с боку на бок. Все трое были такие усталые, что сон постепенно сморил их. Но Тот и во сне вертелся, лягался, стонал, а один раз даже чуть не свалился с кровати.

Быть может, ему снилось что-нибудь страшное? Раньше такого с ним не случалось.

1964





ВЫСТАВКА РОЗ

Смерть и жизнь — явления совершенно разного порядка. Смерть пережить невозможно.

Виттгенштейн

Ты научи их жить достойно, а главное — что будет потруднее — достойно умереть!

Б. Порто

Многоуважаемый товарищ министр!

Прошу извинить, что обращаюсь к Вам, человеку, обремененному важными государственными заботами, по такому, казалось бы, незначительному делу. Суть его в том, что я вот уже три года работаю на телевидении ассистентом режиссера и за это время не получил ни одного серьезного творческого задания; если же я сам вношу какие-либо предложения, их неизменно отклоняют. Так, например, не разрешили отснять документальную киноленту «Мы при смерти». По мнению непосредственного начальства, эта тема не подходит для документального фильма, потому что люди боятся смерти; я же, напротив, считаю, что мы именно оттого боимся смерти, что избегаем упоминания о ней, а стало быть, и не знаем, какова она есть на самом деле. В нашу эпоху, когда

число верующих резко сократилось, человек перестал уповать и на лучшую жизнь в загробном мире, можно даже сказать, что мы в какой-то мере стали беззащитнее: за неимением соответствующей научной информации о смерти, мы думаем о неотвратимом конце как о чудовищном кошмаре.

К чему приводит такое искусственное умолчание? Пользы от него нашему обществу никакой, зато вред неисчислимый. Прежде, в менее развитые эпохи, с этим обстояло иначе. Не только потому, что каждый человек уходил из жизни, одурманенный верой в воскресение из мертвых, но еще и потому, что люди, как правило, умирали у себя дома, в окружении родных и друзей. Теперь же этот заключительный акт человеческой жизни почти всегда происходит в больничных стенах, и разве что врач или сестра, то есть люди, по сути, абсолютно чужие, находятся возле нас в миг кончины. Конечно, если оценивать объективно, с точки зрения интересов больного, то больница вещь необходимая, однако субъективно, с точки зрения умирающего, расставаться с жизнью в чужой обстановке еще страшнее. Разве это не парадокс, что именно в современном обществе смерть превратилась в понятие мистическое, тогда как она является органической частью жизни, ее закономерным завершением и даже, я бы сказал, основным стимулом любого вида человеческой деятельности, творчества, поступательного развития общества.

Мне кажется, удалось бы разорвать этот порочный круг, показав миллионам телезрителей документально зафиксированные предсмертные часы трех неизлечимо больных людей. Мне посчастливилось подобрать для съемок трех человек, которые добровольно согласились предстать перед камерой, как и подобает цивилизованным людям. Хочу подчеркнуть: добровольно, но не безвозмездно, потому что за участие в съемках эти люди рассчитывают на определенное пособие для своих близких.

Упомянутое обстоятельство также усложняет решение вопроса, поскольку телестудия — в рамках существующих инструкций — имеет право выплачивать гонорар лишь за актерскую или вообще за творческую работу, а предсмертная агония не может рассматриваться как актерская игра. В разрешении этого вопроса я также прошу Вашей компетентной поддержки.

Я убежден, что задуманный мною фильм крайне важен и актуален. В истории человечества телевидение первым из искусств дает нам возможность показать миллионам зрителей даже неизлечимо больных и, запечатлев в фильме самые драматические мгновения их жизни, сделать их общечеловеческим достоянием. Мне хотелось бы воплотить свой творческий замысел тактично, избегая излишнего натурализма, чтобы не задеть чувства зрителей ни в этическом, ни в эстетическом отношении.

Мой непосредственный начальник — равно как и вышестоящее руководство студии — не разрешили мне отснять фильм, ссылаясь на материальные трудности и причины идейного порядка. Однако Вам, как человеку, находящемуся на ответственном государственном посту, открыты более широкие горизонты и перспективы, и я убежден, что Вы оцените моральную весомость и воспитательную значимость такого рода документального телефильма. Если мне удалось убедить Вас в важности моих творческих замыслов, то прошу Вас оказать содействие в их осуществлении.

С уважением и в надежде на благоприятное решение
остаюсь

Арон Кором,
ассистент режиссера.

* * *

На письмо не было ни ответа, ни привета. Кором, пребывая в расстроенных чувствах, сидел в буфете телестудии, поил каждого встречного-поперечного черешневой палинкой, слезно жаловался на постигшее его разочарование, но так и не встретил ни в ком понимания. Да ведь это стопроцентное самоубийство, — твердили все в один голос, — у нас просто немислимо сделать документальный фильм на такую бесперспективную тему. Кончилось тем, что Кором из-за творческих разногласий перессорился со всеми на студии и после того пил уже в одиночестве. В один из таких ничем не примечательных дней, в одиннадцатом часу утра, когда ассистент режиссера собирался опрокинуть четвертую стопку палинки, к его столику подсел Уларик, заведующий отделом телестудии.

— Значит, пьешь, старик? — уточнил он. — Тогда, конечно, мне придется ждать до второго пришествия.

— А чего, собственно, ты ждешь?

— Ты что, здесь проездом? Тебе не ясно, что я жду синопсис, заявку на камеру, на оператора, на павильон и штаб!

— Какой еще штаб? — Кором протрезвел от изумления.

— Штаб съемочной группы документального фильма «Мы при смерти».

— Того самого, постановку которого ты запретил?

— Ну, ты даешь, старик! Вынужден тебе напомнить, что у нас запретов не существует. Другое дело, что мне не нравится название фильма. Ты извини, старик, но тут мы с тобой будем спорить¹.

— Выходит, ты поддерживаешь мой замысел?

— Поддерживаю? Я его одобряю! Да я, если хочешь знать, отвоевал тебе постановку! Между прочим, мог бы сказать спасибо.

— Спасибо!

— Кого тебе дать оператором?

— Мне без разницы, лишь бы языком поменьше трепал.

— Считаю, что ты получишь глухонемого. В какой срок берешься отснять ленту?

— Понятия не имею.

— Ценю юмор! А все же, ты знаешь, у нас план суровый, и бюджет не резиновый, и площадь съемочных павильонов ограничена.

— Не могу же я велеть людям, чтобы они умирали по-твоему графику!

— Но ведь и я должен сказать начальству что-то определенное.

— Попробуй разок обойтись без оглядки на начальство! Или втолкуй руководящим товарищам, что их это тоже касается. Рано или поздно каждому придет каюк. Так неужели им безразлично, как именно это произойдет с ними?

— И все же мне нужно назвать какой-то конкретный срок. Месяц? Два месяца? Или год?

¹ В спорах верх одержал зав. отделом Уларик. Вместо рабочего варианта названия «Мы при смерти», которое звучало, прямо скажем, мрачновато, фильм был выпущен на экран под названием «Выставка роз». (В повести «Выставка роз» здесь и далее примечания автора.)

— Не знаю. Как только умрет последний из трех главных действующих лиц, фильм будет готов.

— Это что-то новое! Но, видно, вам, молодым да ранним, все нипочем. Можно поинтересоваться, когда ты намерен приступить к съемкам?

— Как только получу все, что нужно.

— Гони заявку, и завтра все будешь иметь.

— Ну, тогда завтра же и приступлю.

* * *

— Это квартира Дарваша?

— Да.

— Можно попросить Габора Дарваша?

— Кто его просит?

— Арон Кором, с телевидения.

— Ах, это вы? К несчастью, мой муж умер на прошлой неделе, во вторник состоялись похороны.

— Примите мои искренние соболезнования.

— Благодарю. Куда же вы пропали? Мы с бедным Габором часто вспоминали вас.

— Я только сейчас получил разрешение на съемку.

— Жаль... Скажите, а это обязательно — снимать мужа? К примеру, если бы вас устроило мое участие в съемках, я полностью в вашем распоряжении.

— Как вы это себе мыслите — свое участие?

— Буду откровенна: денежная поддержка сейчас пришла бы мне как нельзя кстати. И в случае, если вас по-прежнему интересует смерть Габора, я могла бы прийти в студию и рассказать прямо перед съемочной камерой, как прошли последние десять дней его жизни. Я понимаю, было бы много лучше, если бы Габор был жив и сам мог бы вам в чем-то помочь. А то вы еще, чего доброго, подумаете, будто мною руководит желание предстать перед публикой.

— Помилуйте, как можно! У меня этого и в мыслях нет... Скажите, а в какие часы вам было бы удобно?

— Когда угодно, только не в рабочее время.

— Тогда приступим завтра же. К семи часам вечера я жду вас на телестудии.

* * *

Корому выделили крохотное помещение в той части студии, которая выходила на детскую площадку. Звукоизоляция была паршивая, в студию то и дело врвались шум и гам, крики детворы и жизнерадостный смех. Не беда, думал режиссер. Уличный фон несколько оживит мрачное содержание текста.

Вдова Габора Дарваша была одета в глубокий траур. Ей приготовили кресло перед светлым занавесом, режиссер отказался от всяких декораций или бутафории. Кором решил начать съемки без дублей. Если женщина устанет или даст волю чувствам, можно будет устроить перерыв.

— Нет, я не дам воли чувствам, и перерыв нам не потребуется.

Женщина села в кресло перед занавесом. Кором молча переглянулся со скупым на слова кинооператором: все готово, можно начинать.

— «Мы при смерти», часть первая. Вдова Габора Дарваша. Мотор!

* * *

— Мой муж скончался десять дней назад, на восемнадцатом году нашей не очень счастливой супружеской жизни. Не стану скрывать его имя, хотя телестудия гарантировала сохранение тайны; да это было бы излишне, муж пользовался такой известностью в ученых кругах, что каждый, кто был с ним знаком, тотчас его узнает. Его звали Габор Дарваш. Мы вместе учились на филологическом; по окончании я стала преподавателем венгерского и французского языков, а Габор — специалистом в области венгерской и финно-угорской лингвистики, то есть научным работником. Мы поженились на третьем курсе, долго мыкались по чужим углам, свою квартиру получили только через восемь лет — одна комната с нишей, — квартира вполне современная, но тесная. Конечно, мы легко могли бы ужиться и в одной комнате, если бы наши характеры хоть в чем-то были схожи; однако, к сожалению, моя общительность и словоохотливость, мое стремление всегда быть на людях не совмещались с врож-

денной серьезностью Габора, его страстью к научной работе и крайней неразговорчивостью; в иные дни он мог не проронить ни единого слова. По утрам Габор выпивал свой кофе — молча, мыслями уже в работе, шел в университет, среди дня обедал в столовой, после чего занимался в библиотеке, а вечерами, поужинав простоквашей и хлебом с маслом, снова садился за письменный стол. Теперь, оглядываясь на прошлое, я объясняю его страсть к работе и всю эту гонку тем, что Габор, возможно, как-то предчувствовал свою раннюю кончину и оттого весь отдавался науке, чтобы успеть после первой своей книги, которая пользовалась большим успехом в ученой среде, завершить и вторую. К сожалению, это ему не вполне удалось. С давних пор Габор жаловался на перемежающиеся боли в затылке, однако он слишком ценил свое время, чтобы тратить его даже на визит к врачу. Как называлась его болезнь, я думаю, не должно интересовать телезрителей. Последние два месяца перед кончиной он провел в больнице, состояние его было очень тяжелым, но потом боли вдруг отпустили, головокружения стали реже, муж почувствовал себя лучше, бодрее, и тогда Габора по его настойчивой просьбе выписали домой. «Он выздоровел?» — спросила я у лечащего профессора-хирурга. Ответом мне была долгая пауза. «Это всего лишь субъективное восприятие больного, — сказал профессор. — Крепитесь, возьмите себя в руки. Мы сделали все от нас зависящее, но операцию, которая, возможно, спасла бы его, теперь делать поздно. Ему осталось жить считанные недели; даже месяца жизни я не мог бы обещать с уверенностью».

Из больницы домой я везла его в такси. Он попросил остановить машину возле университетской библиотеки, взял на свой абонемент несколько книг, и едва мы успели переступить порог, как он с головой ушел в работу. Признаться, мы долгие годы почти не говорили друг с другом дома, а если, бывало, и перемолвимся словом, то только в самых необходимых случаях. В тот вечер, когда я принесла мужу его неизменную простоквашу, Габор неожиданно вдруг заговорил со мной.

— Послушай, я знаю, ты говорила обо мне с профессором. Менянисколько не волнует мое состояние, просто мне необходимы еще три месяца, чтобы закончить работу. Проинформируй меня о том, что сказал тебе врач.

«Проинформируй меня», «считаю нужным поставить тебя в известность», — таковы были характерные его выражения. Я буквально онемела. Да и что, собственно, я могла ему сказать? Что нет и не будет у него этих трех месяцев, необходимых для работы? Или мне следовало попытаться обмануть его? Я не могла решить, что лучше. Чтобы выиграть время, я соврала ему, что меня просили зайти в больницу на следующий день, профессор хотел бы прежде сопоставить данные всех анализов.

— Тогда проинформируй меня завтра, на какой срок конкретно я могу рассчитывать.

У меня был в запасе целый день, теперь можно было тщательно обдумать ответ.

Я прикидывала и так и эдак, взвесила все «за» и «против», после чего решила сказать мужу всю правду.

— Габор, пожалуйста, распредели свою работу в расчете на несколько недель жизни.

Как вижу, необходимо объяснить, почему я приняла такое решение. Мой муж умел владеть собой, никогда не давал воли эмоциям, собственно, он вообще не выказывал своих чувств, если не считать первых месяцев нашей быстро угасшей любви — когда-то, еще в студенческие годы. С тех пор я перестала существовать для него, Габора занимала только работа, только структуральный метод исследования в применении к финно-угорским языкам. Я в таких вопросах не разбиралась и потому ничего для него не значила. Я могла быть одетой неряшливо или с иголки, могла быть здоровой или больной, могла созывать любые, самые шумные компании гостей, могла крутить радиоприемник или запускать проигрыватель, Габор даже не поднимал головы от работы. Собственно говоря, и сам он не жил в обыденном смысле этого слова. Тело его было некоей функциональной конструкцией, приспособленной к выполнению определенной научной работы; у Габора не было своих особых желаний, ему никогда не хотелось поехать к морю, а в рождественский вечер он не подходил к елке. Мои слова о том, что ему осталось жить несколько недель, можно было бы сравнить, к примеру, с сообщением, что в стране иссякли запасы писчей бумаги, необходимой Габору для завершения его книги. Все это я обстоятельно продумала в тот вечер и в ночные часы, далеко за полночь, пока муж работал.

На другой день после обеда я придвинула стул к его письменному столу и села рядом с Габором. Мне дважды пришлось окликнуть его по имени, прежде чем мысли его вернулись к действительности. Наконец он поднял на меня глаза. Большого труда мне стоило произнести заранее подготовленную фразу. Ни один мускул в лице у него не дрогнул. Он снова уткнулся в рукопись; машинально перелистал страницы и только после, так как я все еще продолжала сидеть рядом, Габор наконец-то заметил меня.

Не поймите меня превратно, я не жалуясь. Первую свою книгу, которая сейчас переведена на три языка, Габор даже не показал мне, когда принес домой авторские экземпляры. Он поступил разумно: я не поняла бы там ни слова. И все же в браке я не была несчастлива; меня не унижали и не оскорбляли, а равнодушие не вызывало боли, я с ним сжилась, и стало привычным чувство, что мне недостает чего-то: человеческого счастья или просто успеха в жизни. Возможно, вам покажется странным, но этим своим сообщением о его близкой смерти я впервые за долгие годы добилась успеха у мужа.

— Спасибо за откровенность, — сказал он спокойно, почти тепло. — Пожалуй, мне еще удастся поправить непоправимое. Да, кстати, скажи, ты случайно не умеешь печатать на машинке? Я мог бы диктовать...

— Случайно — умею.

— Слушай, Аннуш, да ты не жена, а золото!

Теперь я устала сидеть на Габора, как на чудо. Смотрите-ка, оказывается, он еще помнит, что меня зовут Аннуш... Я уточнила, чем практически могу быть ему полезна.

Общими силами мы по-новому расположили материал заключительного раздела книги — в расчете на трехнедельный срок. Теперь Габор и меня вкратце посвятил в суть предмета, чтобы от меня как от случайного помощника было больше пользы. По счастью, голова у меня ясная, я все схватываю на лету, так что и тут я быстро подключилась и неожиданно поймала себя на мысли о том, что только теперь, на семнадцатом году нашей с ним супружеской жизни, мне удалось добиться равноправия. Из машинистки я скоро сделалась помощницей ученого, а затем и полноправным коллегой Габора. Каждые сутки у нас были разбиты на три смены: мы работали с утра,

после обеда и потом до позднего вечера. Три недели — это двадцать один день, а в общей сложности шестьдесят три смены жестко напряженной работы.

— Конечно, лишь при самых благоприятных обстоятельствах, если допустить, что ясность мысли не откажет мне до последнего часа.

Сохранится ли ясность мысли — это единственное, чего Габор боялся, страха перед смертью не было. Со смертью, заметил он однажды, нет никакого смысла спорить. Это не диспут, если у твоего оппонента на любые доводы один ответ: «Нет».

Теперь в перерывах между работой муж разговаривал со мной и на другие темы, не связанные с книгой. К примеру, о природе, которая сумела создать такой шедевр, как разум человека, но сама за многие тысячелетия ни на йоту не стала более разумной. Природа осталась верна себе: она инертна, равнодушна и глупа, какой и была изначально. Единственно верные нормы поведения: не бояться естественного хода событий, но пытаться пересилить природу и урвать у нее максимум возможного.

Так и поступал сам Габор. Он позвонил по телефону предполагаемому патологоанатому: свои почки, если те окажутся пригодными для пересадки, он завещает клинике. На том они и порешили. В один из тех же дней объявился начинающий режиссер, который намеревался снять телефильм о смерти человека и — наряду с другими — о смерти Габора, если тот даст свое согласие. С режиссером они тоже договорились в два счета. Габор согласился сразу, с душевной радостью, и только поставил обязательное условие, чтобы ему не докучали расспросами и не отвлекали от работы суматохой и налаживанием аппаратуры. К сожалению, случилось так, что повторный звонок с телестудии пришелся на неделю позже, когда Габора уже не было в живых, и эта потеря остро ощутима для всех нас. Именно поэтому сейчас вы видите на ваших экранах меня, супругу умершего ученого. Я пришла на студию, чтобы час за часом рассказать о последних десяти днях жизни Габора Дарваша.

Потому что вместо трех недель, как предполагалось вначале, у нас с Габором оказалось в запасе всего десять дней, то есть срок был урезан вдвое.

Науке известно, что болезнь, которая унесла Габора

в расцвете лет, может протекать двояко: Либо она одолевает человека медленно, исподтишка, — как то предсказывал профессор, — и тогда процесс атрофии мозга затягивается на недели и даже месяцы. Однако существует и другая, форсированная форма развития болезни, врачи называют ее «рапид-формой». Жизненные функции организма внезапно прерываются, и человек умирает. Именно такой, подобный цепной реакции распад сразил Габора на исходе десятых суток после выписки из больницы, и через двадцать четыре часа, к вечеру одиннадцатых суток жизнь его оборвалась. Агония началась с того, что внезапно парализовало левую ногу, затем отказала и правая нога, и паралич захватил всю нижнюю часть тела. Приехал лечащий профессор, осмотрел больного и молча присел в ногах кровати. Само собой разумеется, что я заранее, еще по телефону, когда просила врача приехать, предупредила его, что муж знает всю правду.

— Итак, профессор, мне конец? — спросил Габор.

— В таких случаях мы, врачи, обычно говорим, что всегда может произойти чудо.

— В чудеса я не верю, зато мне крайне необходима как минимум неделя, чтобы закончить работу.

— Когда близок конец, тогда оказывается, что всем нам крайне необходима еще неделя, — сказал профессор. — Положить вас в больницу?

— Прошу вас, не надо.

— В таком случае я снова буду у вас завтра утром.

Всю эту ночь мы работали. Последний раздел — заключительная и обобщающая часть книги — был намечен лишь в общих чертах. Оставалась необработанной целая стопа заметок и тезисов, около тридцати машинописных страниц. Перед рассветом мы оба на час-другой забылись коротким сном, а рано утром я уже опять сидела за машинкой. К тому времени правая рука Габора была парализована, но рассудок был ясен, мозг его работал безукоризненно. Мне пришлось позвонить в больницу, чтобы отменить визит профессора: каждая минута у нас была на счету. Только один раз я оторвалась от машинки, открыла дверь участковому врачу, чтобы тот дал Габору обезболивающее. И тотчас продолжила прерванную работу.

— Послушай, — обратился ко мне Г а б о р, — а что, если ты запишешь заголовки и я продиктую по пунктам, о

чем там должна идти речь, ты смогла бы дописать последнюю главу без меня?

— Ты сам не принимаешь этого всерьез.

Габор вынужден был согласиться со мной. Попросил кофе. Пока я варила кофе, с ним случился припадок ярости. Впервые в жизни я слышала, как он вне себя кричит, ругается, сыплет самыми бранными словами. Из уважения к его памяти я не стану повторять те ругательства.

Зрелище было ужасающим. Обычно, когда человек бранится, он жестикулирует, размахивает руками. Однако руки у Габор были парализованы, и отчаянные проклятия свету извергало неподвижно лежащее тело. Я упоминаю о вспышке ярости лишь потому, что сама бессильна ее понять; проклинал Габор не врачей, не болезнь свою и не смерть, на чем свет стоит он поносил Арона Корому, молодого режиссера с телевидения, который вот уже вторую неделю не давал о себе знать.

— Трепач, негодяй, презренный обманщик! — кричал Г а б о р . — Одурачить меня, как последнего олуха!

Никто его не звал, не упрасивал, он сам заявился! Кто тянул его за язык говорить, будто смерть — это не личное дело, а общечеловеческий акт? Это, видите ли, напоминание всем живущим, вечное назидание людям. Выходит, он бездарно позерствовал, блефовал, как это принято у всей их породы, у этих киношников! Самое бы время торчать ему здесь возле полутрупа, куда же, к чертям, он провалился со своей проклятой камерой? Пусть бы увидел весь мир, все люди, что человек есть червь ничтожный. Пусть бы уразумели, каково подыхать на полдороге, не завершив необходимейших дел, и все потому лишь, что мы начисто игнорируем тот мелкий факт, что человек, это гордое творение природы, — не более чем тварь! Мы приручили огонь, покорили моря, победили чуму, научились слагать стихи во славу рода человеческого. Так полюбуйте же, вот перед вами разумное творение, Габор Дарваш, и рука у него не держит перо, и он бессилен завершить дело, ради которого жил на свете. И вот об этих-то часах, когда разум мечется в разбитом параличом теле, о бессилии человеческого так никто и не узнает; так и будут люди жить дальше, как жили они доныне, с животной тупостью и слепотой, без оглядки на смерть!

Я застыла с чашкой кофе в руках, точно меня самое

поразил паралич. По натуре Габор был человеком на редкость сдержанным, голос его никогда не срывался на крик; что же мне делать с этим чужим, незнакомым человеком, которого захлестывает бешенство? Я собрала всю свою волю. Громко, словно мне надо было пробиться сквозь глухую стену, я прикрикнула на него:

— А ну замолчи!.. Вот кофе... Выпей, пожалуйста, Габорка!

В тот же миг, точно по мановению волшебства, он успокоился. Может, от резкого окрика, а может, от ласкового обращения — «Габорка», — какого он не слышал от меня со студенческих лет. Ласкательные слова были несовместимы с его натурой. Когда в характере человека нет и намек на слабость, незащищенность, то уменьшительные суффиксы здесь не к месту.

Я села рядом с Габором, подняла с подушки его голову и глоток по глотку поила его кофе, потому что сам он не смог бы поднести чашку к губам. Ему захотелось курить. И сигаретой он тоже затягивался из моих рук. Потом он заговорил обычным своим бесстрастным и ровным тоном.

— Сожалею, что даже этого он не увидел, этот незадачливый телевизионщик.

— Чего именно?

— Нашего перекура.

— При свидетелях тебе было бы легче?

— Немного легче, — признался Габор. — Тогда мою беспомощность как бы разделили со мною другие люди. Ну, и этот перекур, когда сигарету тебе держит у губ другой человек, — пусть бы он тоже остался на киноленте, если не в памяти.

Фразы его я стараюсь, насколько возможно, привести дословно. Теперь, когда ярость отбушевала, он снова вернулся мыслями к незавершенной работе.

— Садись за машинку, родная, и больше мы никому не откроем дверь!

Эта фраза запомнилась мне потому, что за долгие годы он впервые назвал меня так: «родная».

Я успела отстукать еще страниц восемнадцать, примерно треть последней главы. Голос его прервался на середине фразы; я взглянула на него, увидела, что он не дышит. Когда я подбежала к нему, сердце его остановилось. Он умер без мук, руки его расслаблен-

но покоились поверх одеяла, а голова чуть глубже ушла в подушку, половину оборванной фразы он унес с собой.

Вот и все, что я хотела вам рассказать. Рассказала потому, что Габор не успел это сделать сам. Считаю, что говорить о себе не к месту и не ко времени, разве что в той мере, в какой это имеет отношение к его смерти. Сейчас, когда я перебираю в памяти все семнадцать лет нашей совместно прожитой жизни, я могу сказать, что лишь в последние десять дней я почувствовала себя близким ему человеком. Пусть даже слова эти прозвучат нелестно для меня, но я вынуждена признать: только перед кончиной Габора я впервые была счастлива с ним.

* * *

Дорогая Мария Мико!

После долгих проволочек руководство телестудии дало наконец разрешение отснять фильм, поэтому я обращаюсь к Вам гораздо позднее обещанного срока. Не знаю, помните ли Вы нашу встречу в больнице св. Яноша, когда я обратился к Вам с просьбой и Вы, проявив удивительнейшую силу воли, не только с пониманием отнеслись к моим словам, но и мужественно дали свое согласие сниматься. Для меня было бы большим ударом, если бы Вы за истекшее время изменили свое решение, потому что в настоящий момент я закончил съемку первой части фильма, где вдова одного ученого поведала о последних днях своего мужа. Материал получился настолько удачным, что после просмотра не только я, но и сама участница фильма осталась очень довольна.

Я как режиссер приложу максимум усилий, чтобы и та часть фильма, которая касается Вас, была выполнена на должном уровне, отвечающем великой научной цели.

Вчера я имел беседу с профессором Тисаи, который, стараясь не нарушать врачебной тайны, проинформировал меня о состоянии Вашего здоровья. От него же мне стало известно, что две недели назад больничная машина доставила Вас домой, поскольку кому-то необходимо заботиться о Маме, пока не удастся найти окончательный выход. Таким образом, фильм, с Вашего любезного раз-

решения, придется снимать у Вас на квартире. Обещаю по возможности причинять как можно меньше беспокойства Маме и Вам.

Сейчас я обращаюсь к Вам с просьбой, которая целиком и полностью вызвана производственной необходимостью. Я как режиссер обязан помнить о будущих зрителях нашего фильма, которые не смогут сориентироваться в ситуации, не зная о предшествующих событиях. Я имею в виду тот утренний обход, когда профессор Тисаи, взвесив все «за» и «против» и учтя Ваши семейные обстоятельства, принял ответственное решение сказать Вам всю правду о Вашей болезни и ее очевидном исходе.

Зритель, не увидев этой сцены, не сможет правильно разобраться в ходе дальнейших событий. В лице профессора Тисаи телевидение встретило восторженного поклонника этого самого массового из искусств; профессор Тисаи обещал нам практическую помощь и всяческое содействие, тем самым доказав, что современному врачу близки и понятны запросы искусства. Мы решили с профессором Тисаи, что в случае Вашего согласия санитарная машина на час доставит Вас в больницу, в Вашу прежнюю палату, а оттуда после съемки Вас отвезут домой.

Я понимаю, в какой мере сейчас противоречу самому себе: в разговоре с Вами я отстаивал ту точку зрения, что Вы не должны «играть роль», а значит от Вас не требуется никакого актерства. Однако Вы и сами понимаете, что если объектив не отразит ту сцену, то зритель не узнает ни о Вашей болезни, ни о ее прогнозе, ни обо всех проблемах, связанных с Мамой. Я предвижу возражения и готов согласиться с Вами; да, это не было оговорено в условиях съемки, и к тому же сама задача не из легких, но зная Вас как женщину, наделенную трезвым рассудком и природным тактом, я глубоко убежден, что Вы не откажете мне в моей просьбе. Я сознательно счел своим долгом заблаговременно предупредить Вас, чтобы у Вас было время подумать. Надеюсь, что ответ Ваш будет положительным.

В заключение я рад сообщить Вам, что мне удалось выбить у студии контракт на тех самых условиях, о каких у нас с Вами была предварительная устная договоренность (пять тысяч форинтов в виде аванса в первый день съемки и десять тысяч в случае Вашей кончины получит наличными Мама). В ближайшую среду, когда я

хотел бы навестить Вас и лично обо всем договориться, я прихвачу с собой контракт, который должны будете подписать Вы и Мама.

Остаюсь

в надежде на плодотворное сотрудничество
с искренним уважением

Арон Кором.

* * *

Начинающему режиссеру уготовано немало сюрпризов. Вот и у Корома еще не было возможности на собственном опыте испытать, что перед телекамерой сплошь и рядом рушатся любые заранее расписанные по бумажке сценарии, любые надежды могут развеяться как дым, словом, ни в чем нельзя быть уверенным полностью.

Сюрпризы ждали его, к примеру, при съемках в этой больничной палате. Так, никто не рассчитывал, что Мико, простая работница без образования, перед камерой будет держаться совершенно спокойно, говорить с хорошей дикцией, интуитивно угадывая нужный темп, а главное, не обнаруживая ни малейшего признака волнения перед всевидящим телеобъективом. В противоположность ей, профессор, этот страстный библиофил, собиратель картин и заядлый театрал, совершенно растерялся, он без конца ерзал на стуле и сбивался па каждом слове, забывая текст. Трижды пытались отснять одну и ту же сцену, и каждый раз съемку приходилось прерывать.

— Может, вам выпить кофе, — предложил Кором.

— Не стоит, — отказался доктор. — Сначала покончим с делом.

— Ты готов? — спросил Кором у оператора.

— Готов.

Профессор Тисаи постарался взять себя в руки. Вот он повернулся к пациентке, полусидящей в постели, доверительно похлопал ее по руке, успокаивая. Голос его срывался и дрожал, но тем естественнее звучали его реплики.

— Вы ведь, милая, в вашем хозяйстве заняты на земных работах, не так ли?

— Так было раньше, пока я не расхворалась. А как занемогла, то, значит, перевели меня с цветоводства на другую работу — пучки вязать. Там я и проработала шесть недель.

— Как бишь называется ваше предприятие?
— Цветоводческое хозяйство «Первоцвет», в Буда-
фоке. Мы, однако же, поставляем цветы не только к
свадьбам или похоронам, наш товар и на экспорт
тоже идет.

— Теперешняя ваша работа, она полегче, не прав-
да ли?

— Оно, конечно, сама работа вроде бы легче. Но зача-
стую попадаешь в вечернюю смену, к утру, до отправки
самолета, надо успеть связать в пучки две, а то и три
тысячи роз. А к середине дня наши розы по витринам в
Вене или в Стокгольме красуются.

— Ваш муж проживает за границей?

— Не скажу точно, в каком городе, а знаю, что где-
то в Америке. Двадцать лет уж ни слуху от него, ни
духу.

— Дети у вас есть?

— Детей нету.

— Стало быть, ваши заботы — содержать матушку,
она, если не ошибаюсь, больна глаукомой.

— В точности так, доктор. Мама едва видит, только
что на стенки не наткнется, словом, без меня ей ни-
как не обойтись. Скажите, пожалуйста, а когда меня вы-
пишут на работу?

— Я затем и пришел сюда, чтобы обсудить это
вместе с вами. Вы позволите называть вас Мариш-
кой?

— Конечно, буду только рада. А в чем дело? Что-ни-
будь неладно, доктор?

— Не хочу пугать вас, Маришка.

— Мне-то чего пугаться, я не за себя, за Маму беспо-
коюсь. Я к тому, что не может она обойтись без меня.
Когда я работаю, то Мама хорошо если суп себе подо-
греет.

— Ну вот, извольте, — сорвался с места профессор Ти-
саи. — Из головы вон, как там было дальше!

— А дальше вы читали какие-то стихи, — напомнила
Мико.

— Да, верно. Чертовщина какая-то с памятью! Теперь
что, начинать все сначала?

Режиссер успокоил его: можно продолжить съемку,
пусть доктор читает стихотворение. Лишние кадры выре-
жут при монтаже фильма. Профессор Тисаи, чуть успо-
коившись, опять сел рядом с больной.

— Я знаю одну поэтессу, которая волею судеб к тому же врач. Ее зовут Ида Урр. У нее есть такие строки:

Приходит ночь, без сна лежу в постели
И в белый потолок смотрю.
И там ишу ответа,
Надаться ли, ждать ли мне...
О, пусть надежда
Страдальца душу не покинет,
Пусть радуги цветами расцветит потолок
И скрасит ночь мою.

— Складно-то как, господи, красивей и не скажешь! — вздохнула Мико.

— Согласен, милая Маришка, и все-таки я не ради красоты поэзии привел здесь эти строки. Поймите меня, я как врач не хочу лишать вас надежды, но и обнадеживать попусту я тоже не вправо, памятуя именно о вашей матушке. Надо подумать, кто станет о ней заботиться, потому что у вас, к сожалению, рак.

— Рак? — переспросила Мико. — А это что, неизлечимо?

— Во многих случаях излечимо. В вашем же случае прогноз иной. Прошу вас, мужайтесь. Хотите, я могу вам дать успокоительное.

— Чего уж там, доктор, я и без лекарства спокойна.

— Тогда мой вам совет: поспите.

— Как раз спать-то и нельзя. Мне теперь надо хорошенько продумать, как-то сложится жизнь у Мама.

— Вы — редкой души человек, Маришка, я преклоняюсь перед вашим мужеством. Я знаю больных, обычно люди в таких случаях впадают в истерику, даже в отчаяние, едва удается привести их в чувство.

— Чего уж там, доктор, дело житейское. Маме пить-есть надо, а где денег взять, когда она одна останется? Вот мне и приходится ломать голову.

— Чем я могу вам помочь?

— Скажите правду, удастся мне еще немного подработать? Потому как сами понимаете, доктор, если я этак долго еще проваляюсь, то на пособие по больничному нам не свети концы с концами, двое ведь кормимся.

Постепенно и профессору Тисаи передалось спокойствие больной женщины. Он перестал нервно вертеться и не косился затравленно на кинокамеру, — попросту за-

был о том, что играет роль. Теперь перед камерой был только лечащий врач, для которого в данный момент существовала лишь его пациентка, и ей он терпеливо объяснял, что отныне работать ей запрещается, она должна всячески беречь себя. Конечно, ей можно выполнять по дому посильную работу, и тогда у нее будет уйма времени, чтобы позаботиться о матери, скажем, пристроив ее в дом для престарелых.

— Туда ее не возьмут, Мама почти слепая.

— Ну, тогда есть дома для слепых.

— Пустые хлопоты, там тоже толку не добьешься, потому как Мама все-таки зрячая. А какой же человек согласится терпеть, чтобы с ним обходились, как со слепым?

— Вы благородная и мужественная женщина, Маришка, в тяжелую минуту все ваши помыслы не о себе, а о близких, — прочувствованно сказал доктор Тисаи и поднялся: насколько ему помнилось, на этом их разговор и окончился.

Однако Мико удержала его за руку и снова усадила на место. Она очень просит доктора, пусть разрешит ей поработать хотя бы месяц, сейчас у них проводится очень важное мероприятие, состоится первый общевенгерский конкурс на лучшую вязальщицу, а розы у «Первоцвета» самые что ни на есть лучшие. Месяц работы ей нужен прямо позарез и не только из-за денег, дело в том, что ее кандидатуру выдвинули на конкурс и даже план ее утвердили. Сказать по правде, намаялась она с этими розами, и не сосчитать, сколько пучков перевязала, и не по справедливости это, чтобы в последний момент ей лишиться и славы, и денежной премии.

— Какой вы работник, Маришка! Забудьте об этом, смиритесь, иного пути я не вижу.

— Нет так нет. Я все поняла, доктор.

— Что конкурсы, что розы эти ваши знаменитые уже не для вас.

— Нельзя так нельзя.

— И мой вам совет, не паникуйте и не отчаивайтесь, Маришка, могу вас заверить, что никаких болей вы не испытаете.

— Боль у меня одна только: за Маму душа болит.

— Съемка окончена, — вмешался К о р о м. — Спасибо за работу.

Режиссер поблагодарил профессора, похвалил его

и Мико за то, что свои трудные роли они сыграли правдиво и глубоко. Ни за что не скажешь, что это был дубль.

Мико, гордая собой, улыбнулась. Едва съемочная группа упаковала аппаратуру, как за больной пришли санитары со «скорой помощи».

* * *

Осложнения начались с того, что Мама невзлюбила Корому. Прежде всего ей казалась нищенски малой сумма, которую режиссер посулил им — как она выражалась — за их «выступление». Ничто не способно было поколебать ее уверенность, что, попадись им другой режиссер, более известный и маститый, он заплатил бы гораздо больше. Если хотя бы ей самой предложили вести переговоры со студией! А дочка человек непрактичный, не попыталась даже поторговаться.

Еще труднее оказалось старухе перенести всю эту суматоху перед началом съемок. Первая же прикидка на месте показала, что в квартире не развернешься, почти нет возможности передвигать камеру. Семейство Мико ютилось в тесной квартире, двадцать пять лет назад перегороженной на две комнатухи и столько же лет не знавшей ремонта; старый дом казарменного типа являл собою малопривлекательную картину. Окно меньшей комнаты смотрело во внутренний двор; по галерее, опоясывающей дом, по минутно сновали жильцы с этажа. Другая комната была больше по площади, но длинная и узкая, как коридор. Посередине ее перегораживала широкая двуспальная кровать, на которой лежала больная. Самым просторным помещением в квартире была кухня; в кухню выходила дверь ванной, которая так и простояла все годы недостроенной, только из стены одиноко торчала розетка душа.

Телевизионщикам не оставалось ничего другого, кроме как сделать перестановку в комнате-пенале: кровать передвинули к окну, платяной шкаф вынесли на кухню, в потолок укрепили патрон для юпитера. Маму раздражала не только вся эта возня и суета, но и новая расстановка в квартире; старуха могла ориентироваться лишь в привычных условиях.

К тому же она подметила, что явно мешает съемочной группе. Старуха редко выходила на улицу, да и по дому двигалась не много; единственной радостью, старческой страстью ее была еда. Мама расплылась до такой степени, что, как ни поворачивали камеру в тесной комнате, старуха попросту не вмещалась в кадр. Если ее усаживали на кровать, она закрывала своей тушей дочь; под конец кое-как удалось ее пристроить около стены на двух сдвинутых кухонных табуретках.

В старухе постепенно копилась, искала выхода злоба, больше других ее раздражал Кором — и чем бы вы думали? Да своим искренним стремлением подладиться под нее.

— Мамаша, вы не обращайте на нас внимания, — повторял он. — Будто нас тут и нет вовсе.

Это была грубая ошибка, психологический промах со стороны режиссера. Тем самым Кором только подлил масла в огонь. Поведил он себя по-другому, как человек, который платит деньги и потому вправе требовать, возможно, и Мама была бы уступчивее. Но тут ее взорвало. Как это «не обращать внимания», если все в квартире перевернуто вверх дном, там стучат молотками, тут за чем-то дырявят стены, сбивают штукатурку! А главное — людей перебаламутили, народ с ума посходил, оттого что к Мико приехали с телевидения! Раньше они со своими соседями жили душа в душу, то один забежит — не помочь ли чего, то другой наведается, а теперь куда там, и не жди, надулись, готовы лопнуть от зависти.

И в самом деле дом гудел, как потревоженный улей. Жильцы праздно околачивались на внутренней дворовой галерее, обсуждая каждую деталь событий. В первый же день съемок, когда скандал, поднятый Мамой, был в самом разгаре, в квартиру неожиданно ворвалась цыганка, соседка сверху; цыганка требовала, чтобы и ее тоже сняли в фильме, потому как она — человек не посторонний, именно она раздевала старуху и укладывала спать, когда Маришка работала в ночную смену.

Кором не стал с ней пререкаться. Он поставил цыганку перед камерой.

— Прошу вас, дорогуша. Текст по вашему выбору, любой.

Простоволосая цыганка тряхнула растрепанной гривой, входя в раж, тело ее напряглось, щеки пылали. Она

сверкнула глазами на режиссера, прижала руку к сердцу и воскликнула:

— Да здравствует Венгрия!

На том запал ее иссяк, и цыганка, довольная собой и окружающими, ушла восвояси. Оператор запер дверь на ключ. Настроение у всех было препакостное. Сварливая старуха затаилась. Маришка отмалчивалась. Телевизионщики остановили камеру, забились в угол, стушевались, не решаясь переброситься словом. Так прошел весь этот день до вечера и весь следующий день. Временами телевизионщики для отвода глаз запускали камеру, чтобы хозяева квартиры постепенно свыклись с новой обстановкой. Им удалось достигнуть цели. На третий день Мама, которая едва различала силуэты людей, забыла о посторонних, примирилась с их присутствием. И начала разговор о том, что в данный момент для нее было важнее всего.

* * *

— Ты когда-нибудь думала о том, как мне жить без тебя, Маришка?

— Только об этом и думаю день-деньской.

— Взять, к примеру, кому отойдет наша квартира, когда тебя не станет?

— Квартира останется тебе, Мама.

— А что, если меня отсюда выставят? Квартира на зависть, мало ли кто позарится; охотники до чужого добра всегда тут как тут, а там и права для них сыщутся.

— Ты, Мама, здесь прописана, и за здорово живешь тебя никто не вправе выставить за порог.

— Откуда тебе знать? Оно, конечно, для тебя спокойнее давать один ответ, что все, мол, будет в полном порядке.

— Я специально узнавала.

— У кого это, интересно? Не у этих ли прощелыг с телевидения?

— Нет. Я звонила старому Франё. Из больницы еще, когда меня туда возили сниматься в палате. Я рассказала Франё, как у меня со здоровьем, и все у него выпросила. Ответственный квартиросъемщик — ты, Мама, квартира записана за тобой.

— Много они понимают в квартирных делах, твои цветочники!

— Старый Франё во всем разбирается. Он обещал поговорить с кем надо, чтобы правление помогло тебе.

— От них дождешься помощи, держи карман шире. Сама посуды, зачем тебя перевели в другую бригаду, поставили вязальщицей?

— Здоровье не то, сдала я очень.

— Ну и чтобы пенсия за тебя была меньше.

— Об этом я тоже спрашивала Франё. Пенсию выведут из среднего заработка за три года, а не только за последние шесть недель, пока я работала вязальщицей. Все до копейки подсчитают и скажут, сколько тебе будет положено в месяц.

— В таком деле не мешает все разузнать заранее. Когда они обещали сказать?

Мама не успела докончить фразу, как у входной двери раздался звонок.

Чистая случайность иной раз лучше подгоняет события одно к одному, чем это удалось бы сделать профессиональному сценаристу.

Кинооператор открыл дверь. На пороге стояли — будто ждали маминой реплики, — четверо с Маришкиной работы. Старый Франё держался чуть впереди, должно быть, он занимал какую-то начальственную должность в цветочковском хозяйстве «Первоцвет», а за ним стояли трое: Шандор Нуофер, его жена и сын. Гости застыли в дверях, вдвойне смущенные: первой встречей с больной и нацеленной на них кинокамерой. Арон Кором пригласил их войти. Гости сложили принесенные с собой свертки с гостинцами, они с телевизионщиками представились друг другу и обменялись любезностями. Снова вмешался режиссер, он деловито и решительно попросил гостей рассаживаться поудобнее, на правах друзей дома они примут участие в фильме. Немного поколебавшись, вновь прибывшие согласились войти в число действующих лиц.

— Только мы сперва распакуем свертки, — сказала жена Нуофера.

Гостинцы раскрыли в кухне. Больной прислали двух жареных кур, крем «птичье молоко», домашнюю ветчину, печенье, песочные пирожные и не один десяток яиц. Жареных кур, порциями разложив по тарелкам, жена Нуо-

фера внесла в комнату. Как и положено, каждый взял по кусочку отведать.

Дошел черед до самого грудного: надо было как-то рассадить гостей в тесной комнате, рядом с больной, что никак не удавалось режиссеру. Положение спасла Маришка.

— Пока что мне разрешают вставать, — сказала она. — Если убрать постельное белье, то на кровати могут усестся хоть четверо.

Маришке помогли надеть халат, убрали простыни и одеяло, и гости уселись на кровати. После скупых режиссерских указаний старый Франё начал:

— Как я понимаю, сперва нам следовало бы сказать, кто мы такие. Моя фамилия Франё, а это семья Нуоферов, они тоже работают в «Первоцвете». Мы решили навестить Маришку, как только узнали, какой она удостоилась чести, узнали, что Маришку снимают для телевидения, ну а что сказал врач насчет ее здоровья, это мы слышали от нее самой. В «Первоцвете» все очень убиты словами доктора и Маришку жалеют. Наши женщины постарались настрять для вас чего повкуснее, чтобы вам было хлопот поменьше. Как видите, в этих свертках всякая всячина.

Маришка поблагодарила.

— Каждый раз, когда кто-нибудь от нас соберется проведать Маришку, мы станем присылать гостинцы. А кроме того, правление «Первоцвета» выделило вам единовременное пособие в размере 880 форинтов.

Франё положил деньги на стол. Мама пересчитала их и желчно заметила:

— Да уж, теперь мы с дочерью для вас отрезанный ломоть.

— Помолчи, Мама, — перебила ее Маришка. — И за денежное пособие мы вам тоже премного благодарны.

— А можно узнать, какая мне будет пенсия за дочку причитаться?

— Мы там все подсчитали. Вам положат за Маришку тысячу восемьсот в месяц.

Настала пауза. Каждый прикидывал в уме, велика ли сумма. Мама хотела было сказать что-то резкое, но больная ее остановила.

— Я рассчитывала, что будет больше, — тихо вздохнула она.

— Как же так, Маришка! Все считано-пересчитано,

ровно столько вам причитается. Мы и сами прекрасно понимаем, что для больного человека, который не может обходиться без посторонней помощи, этого мало на все про все. Скажите, вам удалось отложить хоть что-нибудь на черный день?

— Никаких сбережений у нас нет, только то, что платят с телевидения.

— И сколько это?

— Пять тысяч нам уже выдали на руки, и еще десять получит Мама после моей смерти.

— Все аккуратно и уйдет на похороны, — не вытерпела Мама.

— Ну что вы, рано еще говорить о похоронах. А впрочем, признаться, мы так и предполагали, что с деньгами у вас туговато, по этому вопросу мы специально созывали правление. И потому именно я пришел не один, а с семьей Нуоферов. Ты ведь их знаешь, Маришка.

— Ну, конечно, знаю.

— Тебе известно, что люди они хорошие. Мальчик у них тихий, неизбалованный. Сам Шандор не пьет и не курит. Они вдвоем с женой работают, и на сберкнижке у них отложено двадцать две тысячи форинов.

— Они что, собираются подарить нам свои капиталы?

— Помолчи, Мама, дай другим досказать.

— Сейчас станет ясно, к чему я клоню. Ну-ка, Шандор, выкладывай, зачем мы пришли.

— Жена складнее скажет, она у меня гимназию кончала.

Жена Нуофера начала рассказ.

— Наша семья ютится в подвале. От дождя штука-турка в потеках, все лето сырость неимоверная, а у нас ребенок, ему это вредно. Мы рассказали о нашей беде дяде Франё. По его словам, мы пришли в самое время, потому что в другой семье сложилось такое положение, что в двухкомнатной квартире скоро останется одна старушка. Можно бы съехаться и подписать договор о содержании и полной опеке над престарелым человеком. Кроме того, мы отдаем свои сбережения. Я обещаю, что от нас тетушка увидит только добро и ни в чем ей не будет никакой нужды.

Мама долго и пристально, в упор разглядывала Нуоферов. Наконец перешла к расспросам.

— Что, муж у вас родом не из цыган будет?

— Он и правда с лица смугловат, но не цыган.

— Хоть бы и не цыган, а пенсию у меня, старухи, свободно может прибрать к рукам.

— Нам до вашей пенсии никакого касательства нет.

— На словах одно, а как потом придется платить из своих кровных за квартиру, за свет да за газ все, что нагорит.

— С вас только четвертую часть. Остальное — наша забота.

— А пить-есть мне на что, из каких капиталов?

— Пожелаете, то внесете какой-то пай за харчи, не захотите — и так обойдемся. Где трое едят, там и четвертый голодным не останется.

— Как послушаешь, складно у вас все выходит, будто добрее вас человека нет. А только я так понимаю, что теперешняя доброта ваша вполне может обернуться другой стороной, когда придется плясать под вашу дудку.

— Да спросите хотя бы Маришку, — вмешался старый Франё. — Родной-то дочери можно верить. Маришка подтвердит, что Нуоферы — люди надежные, не соврут, не обманут.

— Дочка в таких делах мало чего смыслит, — пренебрежительно отмахнулась Мама, испытующе меряя взглядом всех троих Нуоферов. — Готовите вы как, на жиру или на постном масле?

— Для себя на масле. Но для вас я согласна отдельно готовить на жиру.

— Да, мне надо, чтобы на жиру, к маслу я не привычная. А еще скажу, до сладкого я страсть какая охотница.

— Песочные пирожные, что мы принесли, я сама пекла. Вот, извольте отведать.

Мама выбрала пирожное, медленно, по кусочку съела. Взяла еще одно. И еще. После третьего пирожного она закрыла глаза: так человек прислушивается к отдаленной мелодии. Потом утвердительно кивнула головой.

— Ничего, есть можно. Но дела это еще не решает. Признаться, я терпеть не могу, когда дети шумят.

— Мальчик у нас очень тихий, — заверила ее жена Нуофера.

— В том-то и беда, что не по годам тихий, — добавил Шандор.

Однако им не удалось успокоить Маму.

— Тихих я тоже не люблю. А если мы не уживемся, можно будет расторгнуть договор?

— Можно, — подтвердил старый Франё. — Если Нуоферы не выполнят договорных условий, тогда можно будет расторгнуть.

— Когда вы собираетесь переселиться?

— Хотелось бы прямо сейчас, пока погода хорошая, — сказал Нуофер. — Боюсь, как бы сын чаютку не схватил.

— А мы с дочерью не позволим себя подгонять, не с руки нам горячку пороть.

— Но и выхода другого у нас тоже нет, — сказала Маришка и, сжимая обеими руками живот, встала. — Несите ваши сбережения, подписывайте договор и переселяйтесь, пока погода хорошая. А на сегодня довольно, ступайте домой. Устала я, надо мне полежать.

* * *

— Вот на этом и надо бы поставить точку! — воскликнул Уларик, просмотрев пленку. — Помощь и поддержка коллектива облегчают смерть. Концовка как по заказу для начальства.

— Только не для меня, — сказал Кором.

— Какого беса тебе еще не хватает?

— Сам не знаю. Одно бесспорно, что для этого фильма ни я и никто другой не сочинял сценария. Пока что мы договорились с Мико, что она в любом случае даст мне знать, как бы ни разворачивались события.

— Что ты имеешь в виду?

— Все, что угодно! Может быть, свершится чудо, и Маришка выздоровеет. Если чуда не произойдет, она умрет. Тем и хорошо, что тут возможны оба варианта. И твоя жизнь тоже, между прочим, интересна тем, что ты не знаешь, какая участь тебя ждет.

— Опомнись! У тебя в руках готовый фильм, материал большого воспитательного значения. К чему подвергать его риску?

— Какой фильм, какой фильм, старик? Ты забыл, что у нас есть еще один умирающий, а к съемкам я и не приступал.

— И кто этот умирающий?

— Я. Надь.

— Писатель, что ли? Да ты в своем уме? Я. Надь в отличной форме!

- Но инфаркт у него был.
- Шесть лет назад. Насколько я знаю Я. Надя, он испустит дух в постели у какой-нибудь очередной красотки.
- Не беспокойся, будет у него еще инфаркт.
- Весь вопрос — когда!
- Не знаю, но я дождусь и сниму.
- Если он согласится.
- У нас все договорено, он сам предложил. А слову Я. Надя можно верить.
- Тут ты прав.
- Тогда к чему этот треп: «согласится», «не согласится»?

* * *

Кором немного погрешил против истины. Если уж говорить по правде, то пресловутое согласие было дано писателем в саду небольшого ресторанчика в Буде и не вполне на трезвую голову.

Работа Корома на телестудии началась с того, что он состоял ассистентом при Я. Наде, когда тот подготавливал серию репортажей. Несмотря на значительную разницу в возрасте, они сдружились, возможно, потому, что оба были неисправимыми мечтателями.

Я. Надь всю войну прошел репортером. Впоследствии он изложил на бумаге свои военные впечатления («Заметки военного корреспондента»). Затем выпустил роман и сборник рассказов, но эти опусы бесследно потонули в бурном потоке макулатуры. Тогда он попробовал свои силы на радио, где стал одним из лучших репортеров. Телевидение же — как он считал — изобрели специально для него. Я. Надь оставил беллетристику и выдавал один за другим сценарии, которые, впрочем, редко доходили до экрана. С годами он понял, что здравых мыслей у него больше, нежели творческой фантазии, и он может ступать уверенно, лишь покуда под ногами у него твердая почва фактов. И тогда он окончательно переключился на репортажи и документальные фильмы. Здесь Я. Надь мог бы блеснуть талантом, но его упорно отодвигали на второй план. Писатель растолстел. Друзья советовали ему перейти на диету, однако Я. Надь слишком любил вкусно поесть, и ему не удавалось сбавить ни грамма. Он сделал

десяток репортажей — актерские портреты, — что оказалось благодарной темой. Окрыленный удачей, принялся за новую серию — «Виднейшие ученые нашей страны», — где он, остроумный интервьюер, затмил главных действующих лиц. На том его творческая жилка как будто и иссякла.

Вместе с Ароном они откопали этот маленький ресторанчик в Буде, здесь сухую колбасу предлагали запивать сухим вином. Приятели зачастили в ресторанчик, промочить горло и отвести душу. Дружно костерили на чем свет стоит Уларика, который резал на корню их лучшие сценарии, и сообща строили планы один другого радужнее.

— Я тоже мечтаю отснять один документальный фильм, — обмолвился как-то раз Кором.

— На тему?

— О том, как мы умираем.

— С актерами или с подлинными участниками?

— Какой же документальный фильм с актерами?

— Грандиозная идея, валяй, старик!

— Это больше чем идея, Я. Надь, тут целый конгломерат: это и наука, и философия, и поэзия, а к тому же тема захватывающе увлекательна и доступна общему пониманию.

— Если, конечно, найдешь подходящую модель, то есть такого человека, который согласится умирать на глазах у миллионов людей.

— Ну вот ты, к примеру, согласился бы?

— Видишь ли, у меня другие творческие планы, — отшутился Я. Надь. — В частности, хотелось бы пожить по-дольше.

— Но у тебя уже был один инфаркт.

— Тогда замечано, — согласился Я. Надь с великодушием крепко подвыпившего человека. — Следующий свой инфаркт дарю тебе.

— Очень мило с твоей стороны.

Так в действительности обстояло дело с обещанием. Договор был заключен за ресторанным столиком, после того как приятели успели пропустить не один стаканчик вина, да и сам фильм тогда существовал лишь в заоблачных высях фантазии.

Я. Надя вероятнее всего можно было отыскать в буфете телестудии. Как и обычно, он восседал в компании смазливеньких женщин, которые млели от удовольствия,

что знаки внимания — не всегда платонические — им рачтает не кто-нибудь, а известный писатель, и громко смеялись над его остротами. Всякий раз, когда метко пущенное словцо разило слушательниц наповал, Я. Надь с довольным видом откидывался на спинку стула и уголки его губ вздрагивали в усмешке.

Режиссер отозвал приятеля в вестибюль и тут напомнил ему о старом обещании.

— А без меня ты никак не обойдешься? — деловито спросил Я. Надь.

— Без тебя не получится, Я. Надь.

— Разреши мне подумать до вечера.

* * *

Вечером они встретились все в том же ресторанчике за своим излюбленным столиком.

— Выслушай мои сомнения, — начал Я. Надь. — Помнится, ты говорил, что по замыслу твой фильм — это поэзия, наука и философия, вместе взятые. Ну так болтовня все это, дружине! Во-первых, потому, что смерть человека — это экспромт, притом отвратительный, поэзия же — это строгая композиция и сама красота. Во-вторых: из единичного заурядного случая еще по выведешь философии, в нем лишь потенциальная возможность обобщения. Стало быть, и тут выходит накладочка. Ну, а с научной достоверностью и того хуже. Современная физика доказала на опыте, что когда наблюдают отдельное, частное явление, чутко реагирующее на внешнюю среду, то само присутствие приборов наблюдения искажает ход процесса. Иными словами, перед камерой я буду умирать иначе, чем, скажем, на глазах одной Аранки. Значит, и научная ценность твоего фильма — не более чем фикция.

— Короче говоря, ты решил уйти в кусты?

— Просто не хочу, чтобы ты парил в эмпиреях. Пошли ты к черту все эти разглагольствования о синтезе искусства и науки, снимай то, что видишь, сделай добротный полноценный документальный фильм. Берись за него так, как если бы тебе предстояло показать работу водолазов, скажем, при строительстве моста. С той только разницей, что под занавес у тебя водолазы тонут.

— Что ж, это мысль.

— Если взяться за дело с душой, то, я уверен, ты сделаешь такой фильм, какого еще и не было на свете.

— Ну, а на таких условиях ты был бы не против?..

— Конечно, почему же нет, когда придет мой срок! Новизна меня всегда привлекала. А кроме того, последние года полтора я практически сижу без дела. Уларик, правда, пытается подбить меня на документальный фильм о засорении атмосферы, но, по мне, уж смерть перед телекамерой и то лучше. Стареющего эксгибициониста, вроде меня, хлебом не корми, дай только покрасоваться перед публикой.

— Я знал, что ты согласишься.

— Договорились, с этой минуты ты — мой режиссер. Что я должен делать?

— Ничего особенного. Для начала сходи к врачу.

— Чего это ради? Я себя чувствую превосходно.

— Да, но твое сердце...

— Никаких жалоб. Работает, как мотор.

— Ну и прекрасно. И все-таки прошу тебя начиная с сегодняшнего дня еженедельно делать электрокардиограмму. Если обнаружится хоть малейшее отклонение от нормы, сразу дай мне знать.

— Этого, старик, ты не скоро дождешься.

— А мне не к спеху.

— Ну, тогда будь здоров!

— Будь здоров!

* * *

Прошла неделя. Как-то у режиссера выдался незанятый вечер, и ему захотелось распить с приятелем стаканчик-другой. Он спустился в буфет телестудии, но Я. Надя там не застал, зато за одним из столиков увидел Аранку Ючик, бывшую жену писателя, с которой они были в официальном разводе.

— Ждешь своего благоверного? — поинтересовался Арон.

Это было ясно без слов. Все приятели Я. Надя знали, что разведенные супруги собираются вновь вступить в брак. (И если это произойдет, то Я. Надя женится в пятый раз.)

— Представь себе, битый час торчу тут, — пожаловалась Аранка. — А распростились мы на том, что он на минуту заскочит в клинику. Скажи, это твоих рук дело? Что происходит с Я. Надем?

Писателя все называли по фамилии, как законные жены, так и героини его коротких любовных интрижек, случайные подруги, которые часто сменяли друг друга, но оставались неизменно преданны Я. Надю. По его собственному признанию, даже в минуты близости он слышит прерывистый шепот: «Я вся твоя, Я.Надь!»

— Опасаясь за его здоровье, я на правах друга посоветовал ему раз в неделю делать кардиограмму.

— И струнул лавину! Во что ты намереваешься его травить?

— Я не заслужил таких обвинений! Вот и сейчас я ишу его только затем, чтобы распить по стаканчику вина с ним за компанию.

Режиссер постарался поскорее сбежать от Аранки, чтобы не пришлось выслушивать ее сетования. Дело в том, что Я. Надь — и это ни для кого не было секретом — тянул со свадьбой. Причиной тому была одна молодая актриса; чтобы жениться на Аранке, ему пришлось бы порвать с Иреной Пфаф (так звали актрису). Писатель никак не мог решиться, перетягивала то одна, то другая чаша весов. По одной из теорий Я. Надя, женщины взаимозаменяемы, как арифметические слагаемые. Должно быть, именно эта теория была виновата в том, что Ирену писатель иной раз называл Аранкой, Аранку — Иреной. Главным в своей жизни Я. Надь считал служение искусству.

Выскользнув из буфета, Кором кинулся к лифту и очутился лицом к лицу с Иреной Пфаф. Актриса не ответила на его приветствие.

— Какая муха вас укусила, Ирена?

— Убить вас мало!

— И все из-за моего друга Я. Надя?

— Если вы ему истинный друг, то не губите его, — бросила Ирена и стремительно вылетела из лифта.

Вечером того же дня Кором от нечего делать наобум заглянул в облюбованный ими ресторанчик. На этот раз ему повезло. Писатель сидел на своем привычном месте, все в той же беседке, деля одиночество с гра-

финчиком вина и бутылкой содовой; перед Я. Надем на струганом дощатом столе лежал раскрытый толстый фолиант.

— Что это ты штудируешь, Я. Надь?

— «Основы терапии» Мадьяра и Петрани.

— Зачем это вдруг?

— Иной раз нелишне перепроверить врачей.

И тотчас выложил что к чему.

* * *

Поначалу писатель обратился к врачу, которого порекомендовала ему Аранка Ючик. Врач, сделав кардиограмму, заявил, что все в порядке, следует только беречь себя. Это навело писателя на размышления. Если все в порядке, то чего, спрашивается, беречь себя. В поисках истины на следующий день писатель обратился к другому врачу, рекомендованному Иреной Пфаф. Результаты анализов удовлетворительны, сказал тот, но все же Я. Надю следует больше гулять, плавать, закалять свое сердце. Так что же теперь делать — беречь себя или закалять? Я. Надь отправился к третьему, затем к четвертому эскулапу. Каждый из них успокаивал его, но каждый поразному, что в конце концов не на шутку встревожило Я. Надя. Он ходил от врача к врачу, желая услышать определенный, твердо установленный диагноз. Писатель добился своего, попав в терапевтическую клинику, где его взяла под опеку доктор Сильвия Фройнд, весьма милостивая особа с командирскими замашками.

Доктор Фройнд тотчас узнала писателя. Она видела телепередачу «Актерские портреты» и серию «Виднейшие ученые нашей страны» и отнеслась к создателю этих репортажей с должным вниманием. Тщательно обследовав больного, она вынесла свое заключение.

— Вам известно, что один инфаркт у вас уже был. Если не хотите дожидаться следующего, то в первую очередь вы должны бросить курить. А кроме того, вам необходимо избегать всяческих волнений и воздерживаться от тяжелой пищи.

— Доктор, уж не болен ли я? — явно нервничая, спросил писатель.

— Не то чтобы больны, однако и здоровым вас не назовешь.

Чтобы рассеять страхи и как-то успокоить знаменитого пациента, доктор Сильвия Фройнд вручила ему кардиограмму и подробнейшим образом растолковала, что означают изображенные на ней зигзаги. Я. Надь извлек блокнот и по журналистской привычке делал пометки. К тому времени, как доктор покончила с пояснениями, писатель успел постичь не только азы, но и кое-какие профессиональные тонкости. Выпросив кардиограмму, он уже собрался было уходить, когда доктор Сильвия Фройнд снова усадила его.

— Я хочу еще раз проверить ваше давление, мэтр.

— Зовите меня просто Я. Надь, — попросил ее писатель.

— С удовольствием, дорогой Я. Надь. Вынуждена, однако, заметить вам, что давление у вас выше нормы, даже если сделать скидку на возраст.

— Что это значит: скидка на возраст? — обиделся Я. Надь. — Для писателя не существует возраста.

— Выглядите вы действительно гораздо моложе своих лет, только вот давление ваше, к сожалению, вас выдает... Но пусть вас это не тревожит, давление мы вам собьем.

Сильвия Фройнд выписала ему ворох рецептов. Я. Надь прихватил их на студию и, размахивая кардиограммой, совал ее под нос всем и каждому. Поначалу никто не принимал его беспокойства всерьез. До самых недавних пор он любил похвастаться тем, что у него-де неистребимое железное здоровье, поэтому на студи решили, что Я. Надь придумал очередной розыгрыш, и весело потешались над ним.

Не смеялась только Аранка. Она во что бы то ни стало хотела самолично поговорить с этой докторшей. На другой день они явились в клинику вдвоем.

— Разрешите представить вам мою бывшую жену. Видите ли, ее очень беспокоит мое давление.

Женщины испытующе оглядели друг друга с ног до головы.

Я. Надю заново смерили давление.

— Довольно высокое, но не опасное для жизни, — заявила доктор Фройнд. — Пациенту необходимо избегать всяческих волнений, но даже и при щадящем режиме не следует ожидать, что улучшение произойдет за один день.

Невзирая на столь категорическое врачебное заключе-

ние, Я. Надь пришел в клинику и на следующий день, на сей раз в сопровождении Ирены Пфаф, а не бывшей жены. Доктор Сильвия Фройнд окинула актрису внимательным, оценивающим взглядом. (Ирена Пфаф тоже не осталась в долгу.) Затем измерила давление пациенту.

— Должна вам сказать, что сегодня давление у вас даже несколько выше, чем вчера. Не слишком ли вы перенапрягаетесь, Я. Надь?

— Нет, — решительно отрезала Ирена. — Я полагаю, прибор у вас не точный.

Доктор Сильвия Фройнд надменно усмехнулась и тут же на практике объяснила принцип действия прибора и нехитрые правила обращения с ним. Я. Надь пришел в такой восторг, что немедленно отправился в магазин медицинских приборов. Купил тонометр. Тут же, не отходя от прилавка, опробовал аппарат. Ирена помогала ему, выказав при этом необычайное умение и ловкость.

— Будь я твоей женой, я бы каждый день мерила тебе давление. Тогда не пришлось бы из-за такого пустяка обращаться в клинику!

— Я обдумую твоё предложение, дорогая.

Я. Надь обдумал. Затем сел за пишущую машинку и отстукал два слова в слово одинаковых письма: Аранке и Ирене. «Полагаю, ты и сама согласишься со мной, дорогая, что, пока у меня не снизится давление, лучше будет остережись волнений, неизбежно связанных со вступлением в брак. Что же касается измерения давления, то с этим мне, пожалуй, удастся справиться и в одиночку. Тысяча поцелуев. Я. Надь».

И действительно: попрактиковавшись какое-то время, Я. Надь приоровился самостоятельно мерить себе давление, без какой бы то ни было посторонней помощи.

Это свое умение он и продемонстрировал Арону Корому после того, как за графином вина и бутылкой содовой рассказал ему все вышеизложенное.

— Видишь? По-прежнему высокое, — он показал на стрелку тонометра, — а ведь я бросил курить, не ем жирного, не пью кофе, порвал с Иреной и Аранкой. У той и у другой одно-единственное желание — любой ценой выскочить замуж, а ты и представить себе не можешь, как это действует на нервы.

— Дружище Я. Надь, да ты заделался ипохондриком! — рассмеялся режиссер.

— Нет чтобы поблагодарить! А ведь тебе лучше всех должно быть известно, к чему я себя готовлю.

— Обезжиренной диетой? Интересно узнать, к чему же?

— Я вхожу в свою роль.

— По роли от тебя вовсе не требуется, чтобы ты пере-
квалифицировался на врача.

— Извини, старик, но, чтобы войти в роль, мне необ-
ходимо знать, что меня ждет.

— Брось ты запугивать себя, Я.Надь.

— А ты оставь сантименты, мы с тобой профессиона-
лы. Розовая водица хороша для дилетантов, подлинное
искусство не знает снисхождения.

— Ну, хорошо. Скажи, а удалось хоть немного сбить
давление?

— К сожалению, нет.

— Без дураков? Тогда ты уже мог бы стать перед
камерой.

— И что мне говорить?

— Что на ум взбредет.

— Кому это интересно?

— Зрителям, Я. Надь, зрителям это интересно. Сейчас
ты как огурчик, тем эффектнее будет выглядеть твой
конец.

— Хочешь подать меня как смертника? Боже, какой
дешевый и затасканный режиссерский трюк!

— Зато безотказный. Кстати, на завтра у меня как
раз павильон свободен.

— Да пойми же, мне будет что сказать о смерти лишь
тогда, когда я буду умирать, но не раньше.

— Не забегай вперед, дождись конца. Тогда увидишь,
какой потрясающий успех тебе обеспечен.

— Именно этого я и не увижу.

— Ах да, твоя правда.

* * *

— Дорогие телезрители, думаю, мне нет нужды назы-
вать себя, поскольку я достаточно часто появлялся перед
вами на голубом экране. Возможно, вы еще помните се-
рию репортажей «Актерские портреты» или цикл передач
«Виднейшие ученые нашей страны». Сегодня вечером я
выступаю перед вами не в качестве интервьюера, я сам
буду отвечать на заданные мне вопросы. Однако это мое

выступление — лишь интродукция к одному очень важному для меня событию.

Дело в том, что, когда настанет срок, я буду умирать на ваших глазах.

Что касается самой темы, то тут я, можно сказать, в родной стихии. Однажды, шесть лет назад, когда мне едва удалось пережить тяжелый сердечный приступ, я чуть было не переправился на другой берег Леты. К тому же я прошел фронт военным корреспондентом, то есть был очевидцем одного из трагических событий в истории человечества и видел смерть во всех ее обликах.

Я подготовлен к смерти не только практически, то есть благодаря своему жизненному опыту, но и теоретически. С тех пор, как я дал согласие выступить перед вами в этой несколько необычной роли, я стал старательно изучать медицинскую литературу, таким образом, я осмеливаюсь утверждать, что мое последнее выступление окажется не хуже предыдущих.

При этом я принимаю во внимание, что наши уважаемые телезрители не видели на экране, даже как удаляют зуб, и с перепугу выключили бы телевизоры, доведись им увидеть, как я мечусь, стенаю, испускаю предсмертные хрипы. Подобного зрелища вам бояться не придется. Обещаю в роковой час вести себя сдержанно, корректно, избегая дешевых натуралистических эффектов, словом, постараюсь оставить у вас — насколько это позволит тема нашего фильма — самые приятные впечатления. Итак, дорогие телезрители, до свидания у моего смертного одра.

* * *

Две недели прошли безо всяких событий, если не считать того, что Нуоферы на служебном грузовике перевезли свой скарб на квартиру Мико.

В нужный момент съемочная группа была на месте, готовая отснять эпизод со вселением, однако режиссер и оператор в квартиру подниматься не стали, а сняли несколько кадров на улице: Вот у подъезда останавливается грузовая машина. Вот сгружают кровати. Вносят в дом корзины с постельным бельем. Дождаясь своей очереди, в толпе уличных зевак на тротуаре стоит торшер. Больше-

го и не требовалось, поскольку эти кадры Кором рассчитывал использовать лишь в качестве фона.

Через несколько дней режиссер с оператором решили съездить в «Первоцвет». Их приезд оказался как нельзя кстати. Все плантации стояли в цвету, оживление и суматоха царили небывалые: хозяйство готовилось к выставке роз. Оператору удалось сделать несколько прекрасных снимков: уходящие вдаль бескрайние поля роз. И эти кадры тоже режиссер предполагал сделать фоном и совсем не был уверен, что они вообще попадут в фильм¹.

Затем потянулись долгие дни ожидания. Наконец на студию пришло письмо. Писала Мико, как видно, через силу: буквы расплывались вкривь и вкось.

«Я стала очень слаба. Напоследок хотелось бы поговорить с вами с глазу на глаз, приходите с утра, когда Нуоферов не бывает дома. И еще хорошо бы как-то отвлечь Маму, чтобы она не слышала нашего разговора».

Последнее оказалось сделать легче, чем они предполагали. Дверь им открыла старуха.

— Кто это? — осторожно спросила она. — Может, опять с телевидения?

— Угадали, мамаша.

— Чего вам еще от нас нужно?

— Да вот, мамаша, принесли вам молочного шоколаду полакомиться. А кроме того, хотели бы поговорить с вашей дочерью.

— Заходите. А как управитесь с ней, то надо бы и нам с вами потолковать по важному делу, да только так, чтобы дочка об этом не прознала.

— Тогда, пожалуй, вам лучше обождать на кухне.

Режиссер с оператором принесли Маришке ветчины, мясного салата и батон салями.

— Ничего такого теперь уж мой организм не принимает, — пожаловалась больная.

Маришка заметно похудела, ослабла, под одеялом на широкой двуспальной кровати едва угадывались контуры ее иссохшего тела. Только живот резко выдавался вперед. Маришка попросила приподнять ее, подложив под спину подушку.

— Можно начинать?

¹ Впоследствии, при монтаже фильма, кадры эти очень пригодились: цветущие поля роз послужили великолепной контрастной разбивкой последней сцены — предсмертной агонии Мико.

— Да, у нас все готово.

— Я хотела сказать о Маме...

— Отлично, Маришка, но сначала, прошу вас, несколько слов о себе. Прежде всего: как ваше самочувствие?

— Худо мне. Жаль, что доктор меня тогда понапрасну обнадежил, будто я не стану мучиться от боли. Теперь мне уж каждую ночь дают снотворное, и все не помогает, я и во сне стою. А днем и того хуже, все нутро так распирает, что, того и гляди, лопнешь. Есть я прямо боюсь теперь, хоть и кормить меня стараются чем покуснее, но стоит кусочек какой проглотить, и опять все нутро грызет, прямо никакого спасу нет. Да только на хворь велик ли толк жаловаться, хоть жалься, хоть не жалься, все одно от судьбы не уйдешь; главное — душе моей нет покоя. А мне и поделиться-то не с кем, уж на что дядя Франё свой человек, но о самом наболевшем я и с ним не могу говорить, к чему старика понапрасну расстраивать. Он только добра мне желал, когда советовал пустить на квартиру Нуоферов. Разве его вина, что теперь я тревожусь за Маму еще пуще прежнего? Поэтому я и решила написать вам.

— Тогда объясните суть дела.

— Сию минуту. Я знаю, что каждое мое слово в свой срок передадут по телевидению, поэтому сразу же хочу сказать, что наши жильцы — люди очень хорошие. Обязанности между собою они распределили так, что Шандор все свободное время занят с Мамой, а меня обихаживает жена. Беда в том, что ухода за мной день ото дня больше. Теперь я прикована к постели, и, значит, по нужде мне подавай судно, а еще, бывает, меня иной раз вырвет, и в кровати повернуться не успеешь, тошнота подкатит сразу, тогда, значит, переодевай меня в чистое, и стирать на меня — только успевай, потому как белья постельного у нас маловато. Мы жизнь прожили, достатка не знали, но уж за чистотой всегда следили. Вот и у Нуоферов те же привычки. Вы взгляните, пол сверкает, чисто зеркало; это молодая хозяйка натирает, иной раз уж и запоздно, к ночи. Думается, и во всем городе не сыскать такой больницы, где бы за мной ухаживали лучше, чем эта женщина. Да только писала я вам не затем, С чего это я начала?

— Вы хотели что-то сказать о Маме.

— Да, затем и звала вас. Так вот. Лет восемь назад у Мамы начала расти катаракта, и чем больше портилось у

нее зрение, тем привередливее она становилась. Ни дать ни взять малый ребенок. Тот, известное дело, как смекнет, что ему потакают, то и вовсе удержу не знает. А уж с тех пор, как Нуоферы к нам вселились, с Мамой совсем никакого сладу не стало. Раньше я, когда еще силенки были, иной раз брала Маму с собой, вместе ходили за покупками. А теперь она что удумала: каждый божий день заставляет Шандора, чтобы водил ее гулять. Вечером тоже от нее ни минуты покоя: усядется это к телевизору, и Шандор ей принимается рассказывать, чего говорят да что показывают. И что бы она ни вздумала, ни в чем ей от него отказу нет. С самого полудня только и слышится: «Взгляни-ка, который час, что-то Шандора все нет и нет. Уж не стряслась ли с ним беда какая?» Мне бы, наверное, надо этому только радоваться, ведь выходит, будет кому за Мамой присмотреть. И за то я на нее не в обиде, что в Шандоре она души не чает, а я ей стала только в тягость. Конечно, зря говорить не буду, она и чайку нальет, когда мне пить захочется, и обед для нас обоих разогреет, потому как стряпает Нуоферша отменно, а аппетит у Мамы дай бог каждому; но того у Мамы и в мыслях нет, чтобы проверить, поела ли я чего, не забыла ли лекарство принять, а уж к судну близко не подойдет, боится вроде бы сослепу на стену налететь или на мебель наткнуться с полной посудинной. Я уж теперь скорому-то концу была бы рада-радехонька, ведь чем дольше я тяну, тем больше со мной Нуоферы изматываются и меньше сил у них останется потом за Мамой ухаживать. Не знаю, понятно ли, почему я так тревожусь за мамино будущее? Я, наверное, очень сбивчиво говорю.

— Не стесняйтесь, говорите, пожалуйста, все, что считаете нужным. Время у нас есть.

— Профессор Тисаи теперь каждый день заходит; осмотрит меня, а говорить про мою болезнь уж больше ничего и не говорит, только знай нахваливает, и послушная я, и терпеливая, таких-де хороших и не бывало у него пациентов. Ну тут я и без слов обо всем догадываюсь, а потом, как доктор уйдет, я день-деньской лежу, и одна мысль меня не отпускает, как-то дома все повернется, когда я навек глаза закрою. Тогда Нуоферы станут полными хозяевами в квартире, и хотя они обязаны заботиться о Маме, но их терпение тоже ведь не бесконечно. Люди приходят после работы, с ног валяются, а тут вместо отдыха обслуживай чужого человека да угождай ему. Дол-

го это тянуться не может. И тогда уж, как ни льстись Мама к Шандору, он не станет ей каждый божий день пересказывать все телепередачи и прогулкам тоже придет конец, рухнет согласие в доме, с Мамой перестанут носиться, потому как для Нуоферов на первом месте не она, а их собственное дитя, а мальчика-то Мама терпеть не может... Сейчас пока еще в доме тишь да гладь, но это затишье перед бурей, а потом начнется не жизнь, а ад кромешный. Я для того и просила вас приехать, что знаю: как меня не станет, этот фильм покажут по телевидению, и все тогда соберутся у телевизора, вся семья. Посоветуйте, куда мне глядеть, чтобы потом получилось, что по телевизору я смотрю Маме прямо в глаза?

— Смотрите, пожалуйста, на оператора.

— Вот теперь, Мама, обращаюсь к тебе. Ты сама знаешь, что характер у тебя тяжелый. Я хочу, чтобы ты ужилась с Нуоферами. Не привередничай, не будь чересчур требовательной, в особенности с мальчиком обходись по-ласковой, поговори с ним когда, следи, чтобы он уроки учил вовремя, считай, что он вроде как бы твой внук. Сама знаешь, Мама, ты почти слепая, и без посторонней помощи тебе не обойтись, а значит, и заноситься тебе нельзя. Ешь то, что Нуоферы сами едят, благодари за все, что для тебя ни делают, об этом прошу-заклинаю тебя я, твоя дочка Маришка. Сделай по-моему, чтобы был мне покой на том свете. А вам, молодые люди, за все спасибо. И уберите, пожалуйста, подушку из-под спины.

Старуха дожидалась их на кухне; погруженная в какие-то свои мысли, она неподвижно сидела, уставившись в пустоту незрячими глазами, и по застывшему лицу ее проползали блики отраженного света, просачивавшегося со двора. Под потолком висела стосвечовая лампочка, но ее зажигать не стали¹.

— Пожалуйста, тетушка, можете говорить, мы вас слушаем.

— А чего тут говорить-то попусту? Взгляните сами, в каких условиях мы живем, да людям покажите, каково нам приходится. Тут, в кухне, мы и моемся, и еду го-

¹ Идея оказалась удачной. Сцену отсняли в полумраке, при таком освещении, как видит окружающий мир полуслепая старуха.

товим, и белье стираем, а теперь вдобавок здесь же спит мальчишка психованный, сын Нуоферов, потому как в комнате ему постоянно тени мерещатся, под окном якобы кто-то ходит. Стелят ему прямо на каменном полу, и где мне углядеть с моими-то слабыми глазами, я уж два раза на него натыкалась. Так Нуоферы же еще побежали к дочке на меня жаловаться! Выходит, мне теперь в собственной квартире уж и шагу ступить нельзя! И как вы думаете, кто во всем виноват? Скажу прямо в глаза: вы и только вы! Одного не пойму: кому прок от того, что вы тут затеяли? Какой интерес другим людям в нашей жизни копать? До сих пор жили мы худо-бедно, и никто в наши дела нос не совал, а как начались эти ваши съемки, и все точно с ума посходили, каждый норовит делать не то, что хочет, а врет и притворяется, чтобы не осрамиться на весь свет. Думаете, старый Франё хоть раз побывал у нас до этого? А теперь тут как тут, появился, пусть, мол, посмотрят по телевидению, какой в «Первоцвете» народ отзвчивый. Стоило одному начать лицемерить, так и другим отставать не хочется. Нуоферша прикидывается, будто без ночных мытарств, корыта с грязным бельем да полных горшков ей и жизнь не в жизнь. А Шандор недаром цыган, тот с три короба наврет, лишь бы только мне угодить. И телевизор-то он, вишь, только со мной смотреть желает, и гулять-то меня под ручку выводит, и про все мне рассказывает, что на улице творится. Ну и я за ним туда же, даже врать научилась, коли нужда припрет; чего только не сделаешь ради больной дочери. Такая промеж нас с Шандором любовь, чуть на шею друг дружке не вешаемся, и при этом оба знаем, что у другого на уме. Вот и судите сами, можно ли такое выдержать? Ладно, я понимаю, конечно, что Нуоферам тоже нужен угол, где приткнуться, но мыслимое ли дело, чтобы такая квартира и за здорово живешь цыганам досталась. Верно, сейчас тут все запущено, но, если потолки побелить, стены покрасить, отциклевать полы, ванную кафелем выложить, словом, все привести в порядок, тогда нашей квартире и цены не будет. Не верите? Ну, так я вам докажу, только смотрите не проболтайтесь: есть у меня предложение в сто раз выгоднее, чем этот договор об опеке, которым нас этот старый хрыч Франё опутал. Дама одна, сама она адвокатша, сулит за квартиру ровно в два раза больше, чем у Нуоферов на книжке, а помимо денег еще и ремонт полностью оплатить берется. Адвокатша эта уже

два раза ко мне приходила, понятное дело, тайком, чтобы Маришка моя бедная не расстраивалась. И не смотрите что ученая, а стряпать она искусница, таким бисквитным рулетом меня потчевала, будто из самой шикарной кондитерской. А самое главное — что детей у нее нет. Вдвоем-то с ней как бы мы ладно зажили, она бы мне была заместо дочки родной.

— Но вы ведь подписали договор об опеке!

— Велика важность! Адвокатша эту бумагу видела. Она, как сторона заинтересованная, вмешиваться не хочет, а только нет, говорит, такого договора, который нельзя было бы расторгнуть.

— И выставить Нуоферов на улицу?

— А чего? Сберкнижку я им вернула бы.

— Это было бы некрасиво с вашей стороны, милая тетушка.

— Сами всю эту кашу заварили и сами же еще меня попрекаете? Лучше бы вы ни во что не вмешивались и дали бы спокойно умереть моей дочери. Конечно, она в своем деле ловкая и работающая и в розах, надо думать, знает толк, но как с деньгами управляться, об этом сроду понятия не имела. Испокон веку я распределяла ее заработок, а если надо было чего для дома купить, то она всегда у меня спрашивала, что где да что почем. А тут вы посулили пятнадцать тысяч да старый Франё этих цыган сосватал с их сбережениями, ну, и, конечно, задурили ей, бедняжке, голову. Еще бы, наконец-то она может показать, что даже после смерти и то не оставит своих забот о матери! Ну, что ж, пусть себе тешится, я ее разуберячь не стану, покуда ее в гроб не положат да землю не засыпят, а там уж я все дела возьму в свои руки. И тогда кто больше даст, тому и достанется эта шикарная квартира. Только бы уж поскорей все определилось.

— Неужели вы родной дочери смерти желаете?

— Покоя я ей желаю, покуда она жива. А что потом будет, то — моя забота, не забудьте только про наш уговор: чур, не проболтаться.

— Мы-то будем молчать, а вот вы, тетушка, имейте в виду: все ваши слова прозвучат в телепередаче.

— До похорон, что ли?

— Много позже.

— Тогда мне секреты будут без надобности.

— Спасибо вам за откровенный разговор, — сказал Ко-ром и оглянулся на оператора.

Тот понял его без слов. Вспыхнула стосвечовая кухонная лампочка и неожиданно резким светом залила сторуку.

* * *

Возвращаясь от Мико, телевизионщики отправили телеграмму Шандору Нуоферу в адрес цветоводческого хозяйства. Его просили на следующий день после работы зайти на телестудию.

Нуофер пришел, однако просьбу Арона стать перед камерой поначалу испуганно отверг. С какой стати пригласили его, а не жену? Образованный человек все же не так робеет перед публикой. По ходу дела выяснилось, однако, что семье Нуоферов до зарезу нужны деньги. Когда они переселились к Мико, им пришлось обзавестись кое-чем из мебели, и, хотя покупать старались вещи подержанные, Нуоферы задолжали две с половиной тысячи форинтов.

Когда режиссер предложил ему эту сумму, Нуофер согласился выступить. Беда только, что его застали врасплох, сказал Нуофер, он не готовился к выступлению, спецовку и ту не успел переодеть. Для передачи это несущественно, успокоили его, так даже получится естественнее.

* * *

— А сейчас мы попросим Шандора Нуофера рассказать нашим телезрителям, не слишком ли обременителен для них с супругой уход за больной Мико.

— Хлопот за хворой, конечно, хватает, но мы это наперед знали, когда подписывали договор об опеке. Больше того, по правде сказать, мы и не думали не гадали, что нам попадется такая терпеливая больная. Не только мы ей помогаем, но и от нее нам тоже помощь выходит.

— Что вы этим хотите сказать?

— Сыну нашему она помогает. У него, видите ли, с учеьем худо, да нам, родителям, проследить за ним некогда. А Маришка боли свои перебарывает, и, как мальчонка приходит из школы, она уроки за ним проверяет. Теперь сын стал приносить сплошь хорошие отметки. Лишней работой по дому меня не запугаешь, а вот сын для меня — один свет в окошке. Страшно подумать, что

нам с Маришкой расставаться придется, а уж какая жизнь потом нас ожидает, о том я даже с женой стараюсь не говорить.

— Ну, а перед нами вы можете не таиться. Все дело в Маме, верно?

— Угадали в точности. Но зрителям это, наверное, неинтересно.

— И все же расскажите, как вы с ней уживаетесь.

— Поначалу вроде бы шло хорошо. Правда, мы прощали ей все ее недостатки, и то сказать, с полуслепой старухи какой спрос, опять же это в наших интересах было к ней приноровиться. Первое время нам ладить удалось, а потом начались неурядицы, одна за другой.

— Ну, например?

— Да как-то на людях и говорить о таком неловко.

— Поверьте, нам все это интересно, дорогой Нуофер.

— Началось с еды. Мама любит пищу тяжелую, с разными острыми приправами и до сладостей большая охотница. Ей каждый день подавай гуляш или мясо тушеное с перцем да всякие там рулеты бисквитные, но ведь, к слову сказать, наверное, даже вам, господин режиссер, понятно, что, когда больной человек в доме, два разных стола готовить невыносимо. Мы с женой рады-радешеньки, если когда удастся скормить бедной Маришке несколько ложек манной каши, бульону или другого какого легкого супа. Понятное дело, и мы так же питаемся: чего ей, то и себе, а со старухой прямо беда. Сядет это она к столу, отрежет себе ломоть хлеба побольше, намажет его теплым жиром, потом посолит густо солью и уписывает за обе щеки, а вид у самой — смотрите, мол, добрые люди, какая я страсотерпица. Или велит купить ей консервов и прямо из жестянки, неразогретые, выскребает ложкой голубцы. Смотреть тошно, да только на такие мелочи мы уж старались не обращать внимания.

— Тогда в чем же ваши беды?

— Я отец, и меня винить нельзя, что я на все смотрю только с одной стороны: хорошо ли, худо ли моему сыну. И по тому, как Мама обходится со своей родной дочерью, которая сейчас в полной от нее зависимости, нетрудно прикинуть, что будет, когда старуха окажется с моим сыном один на один во всей квартире. Нет, тут уж добра не жди.

— Вы хотите сказать, что Мама плохо ухаживает за своей дочерью?

— Сами понимаете, с больным человеком хлопот хватает. Мы с женой уходим с утра, домой возвращаемся под вечер. Нешто жена без помощи управится? Маришке, бедной, теперь с кровати не встать, не умыться, здесь бы в самый раз Маме подсобить, дело нехитрое, тут и слабые глаза не помеха. Но Мама палец о палец не ударит. Обед ей, правду сказать, разогреет, но чтобы лекарства вовремя дать — это у Мамы из головы вон, и горшок полный так и стоит под кроватью, нас дожидается. Уж поверьте мне, старуха даже родную дочь и ту не любит; будь ее воля, она бы дочку своими руками в могилу столкнула.

— Неужели она настолько злая?

— Жена моя — а она не мне чета, из образованных, как-никак в гимназии училась, — так вот она объясняет, что Мама не то чтобы со зла, это она из мести так делает.

— Из мести? Но кому и за что ей мстить?

— Всем и каждому, кто зрячий. Заметь себе, — это жена мне говорит, — старуха всегда выбирает жертвой самого слабого и беззащитного. Сейчас вот дочь родную изводит, а там и до нашего сына доберется. Чтобы вы не думали, будто я поклеп возвожу на старуху, открую вам, что она уже два раза сына ногой пинала.

— По ее словам, это вышло ненароком.

— Нам лучше знать. Под вечер, когда мальчик ложится, в кухне бывает еще светло, и старуха, хоть она и подслеповата, все же различить может, где человек, а где тень.

— Почему бы вам прямо не высказать ей все претензии? Ведь в ваших общих интересах устранить недоразумения.

— Пока Маришка жива, я и слова поперек не скажу. Со старухой у нас обращение самое обходительное, я и телевизор с ней смотрю, и прогуливаюсь с ней, словом, видимость соблюдаю. Зайди к нам кто невзначай, так подумает, будто в доме что ни день, то светлый праздник, да только мне эти «праздники» каких трудов стоят! В особенности с тех пор, как мальчик наш стал неузнаваемый.

— Что вы этим хотите сказать?

— За последнее время сына будто подменили. Никакой игрой его не растормошишь, смеха от него не услышишь, какой-то он запуганный стал, спит плохо, а ест и еще того хуже.

— И в этом, по-вашему, тоже повинна Мама?

— Жена считает, что в ней самый корень зла. Видите ли, врачи говорят, нервы у нашего сына слабые. Два года назад он из-за плохих отметок едва не покончил с собой. И это в четырнадцать лет, мыслимое ли дело! Правда, принял он десять таблеток аспирина, и его сразу вырвало, но мы все же показали его психиатру. В больнице нам строго-настроено наказали ни в коем случае не бранить его, а только хвалить да поощрять, потому как мальчику необходимы положительные эмоции, — так сказал врач. С тех пор мы, конечно, его балуем, но кто знает, как все сложится, когда мальчик окажется с глазу на глаз с Мамой в четырех стенах? Честно говоря, господин режиссер, положение сейчас хуже некуда. Квартира для нас — вопрос жизни, но ребенок — он самой жизни дороже.

— А что, если в какой-то момент вы окажетесь перед выбором: или квартира, или ребенок?

— Об этом я не думал.

— Бросьте вы, какое там не думали! Да если разобьются, мы с вами только об этом и говорим с самого начала.

— Ну, не знаю... Поверьте, господин режиссер, я — человек тихий, мирный, покладистый, разве что бутылку пива когда позволю себе выпить, не больше, и не было такого случая, чтобы я на кого-то руку поднял. Но собственное дитя — дело другое. Если кто нашего ребенка заденет, тут от меня спуска не жди.

— Как вы это себе представляете?

— А так, что и перед убийством не остановлюсь, если кто ребенка моего обидит.

— Вы же сами сказали, что в жизни пальцем никого не тронули.

— А ежели доведут до крайности? Пристукну старуху чем ни попадя.

— Надеемся, что до этого не дойдет, дорогой Нуофер.

— Дай-то бог. Может, еще чего спросить желаете?

— Нет, у меня нет больше вопросов.

— Тогда я с вашего разрешения побегу, а то магазины закроются. Шоколад надо купить.

— Кому это?

— Маме. На что не пойдешь ради собственного ребенка! Из кожи вон лезешь.

— Ну что ж, всего вам доброго, дорогой Нуофер.

Я. Надь как сквозь землю провалился. Последней ви-дела его Ирена Пфаф, однако и ей было известно лишь, что Я. Надь на три дня ложится в клинику для обследо-вания. Ирена самолично доставила писателя в клинику на своей машине. Ей показалось странным, что, кроме пижа-мы и тапочек, Я. Надь захватил с собой книги и журналы по медицине. Ну, а когда прошло две недели, а о писате-ле по-прежнему не было ни слуху ни духу, тут и другие заподозрили неладное.

На второй неделе пребывания Я. Надя в клинике Ире-на Пфаф, прихватив жареную курицу и блюдо карто-фельного салата под майонезом, отправилась в посети-тельский день проведать писателя, однако дорогу ей пре-градила доктор Фройнд, которая заявила, что Я. Надь по-сетителей не принимает, но вызвалась передать больному курицу и картофельный салат.

Как известно, на телестудии секретов не бывает. По-этому в очередной приемный день в клинику явилась Аранка Ючик с целым противнем яблочного пирога соб-ственного изготовления. Аранке удалось проникнуть не дальше стола дежурной сестры, которая взять передачу согласилась, но до писателя Аранку не допустила.

Конечно, на телестудии стало известно и об этом не-удачном визите. Как водится, слух сдобрили и немалой порцией домыслов. До Арона Корома он дошел уже в та-ком виде, что режиссер-де своим фильмом доконал Я. Надя и теперь тот доживает в клинике последние дни. Тут Арон подхватился и, вооружившись магнитофоном, тремя литровыми бутылками виноградного вина и таким же коли-чеством содовой, постучал в дверь врачебного кабинета. Его появление было встречено весьма холодно.

— Напрасно вы пришли. Я. Надь не принимает посе-тителей.

— Я хочу это услышать от него самого.

— Присаживайтесь, — помедлив, сказала Сильвия. — Я сварю кофе, и мы с вами потолкуем.

Режиссер и врач сидели друг против друга, прихлебы-вали кофе и обменивались неприязненными взглядами. Доктор Фройнд первой перешла в наступление. Она по-требовала, чтобы режиссер освободил Я. Надя от участия в фильме, поскольку связанные со съемками волнения подрывают его здоровье. До этого злополучного фильма

писателя совершенно не занимала мысль о смерти, хотя для его возраста это несколько необычно. Но теперь Я. Надь впал в другую крайность: он не может думать ни о чем другом, кроме предстоящей кончины, и создалась такая парадоксальная ситуация, когда смерть стала для человека целью жизни. У пациента подскочило давление — отчасти на нервной почве, отчасти по причине органических изменений. Давление, правда, за истекшие недели удалось понизить до нормального, но за это время выявилось нарушение кровообращения. Выражаясь профессионально, в третьем и четвертом грудных отведениях зарегистрирован минимальный подъем сегмента S—T, что на языке непосвященных означает: кардиограмма Я. Надя дает основания для пессимистических прогнозов. Если указанные отклонения не удастся ликвидировать, то придется считаться с возможностью инфаркта.

— Пациент об этом, разумеется, не знает. Надеюсь, я могу рассчитывать на вашу деликатность?

— Будьте спокойны. Распить по стаканчику фрёча — вот и все, что мне от него нужно.

Сильвия не одобрила этого намерения. Писателю сейчас вредно все, что может напомнить ему о фильме. Он, правда, лег в клинику лишь для обследования, но затем, поддавшись уговорам врача, согласился остаться на более долгий срок, потому что в этих стенах он чувствует себя в безопасности. Своих прежних знакомых, кто наводит Я. Надя на мысли о смерти, он избегает. И посетителей он не принимает исключительно из чувства самозащиты.

— Кардиограмма у него сейчас нормальная?

— О нормальной пока еще говорить рано.

— Тогда скажите Я. Надю, что я хочу его видеть, — попросил Арон.

— Ничего у вас не выйдет.

— А вы намекаете ему, что у меня при себе три бутылки вина и столько же содовой.

— Вы полагаете, что ради этого он поступится своим душевным спокойствием?

— Я его знаю больше, чем вы.

Доктор, обиженная, ушла, а вернулась еще более разобуженной. Писатель просил передать, что рад повидаться с Коромом.

Я. Надь лежал один в четырехместной палате, со всех сторон забаррикадированный горами книг. Одну стопу он смахнул на пол, чтобы освободить гостю стул.

— Я смотрю, ты и магнитофон прихватил.
— Ты не против, если я его включу?
— Конечно, нет! Только для начала давай опрокинем по стаканчику.

*Магнитофонная лента*¹

— Начну с того, старина, что я не забыл о своих обязанностях.

— Не думай, будто я пришел напоминать тебе об этом.

— Я просто констатирую факт. Чем глубже я вхожу в свою роль, тем яснее вырисовываются передо мною ее контуры.

— Тогда полный порядок. А то мне показалось, что ты от меня решил сбежать в больницу.

— Как раз наоборот: я нахожусь здесь ради тебя. Для достижения нашей цели нет лучшего рабочего места, чем больница. Мне настолько хорошо тут, что я отсюда больше ни ногой.

— Не узнаю тебя, Я. Надь! Ты собираешься жить в больнице?

— Не жить, а расстаться с жизнью.

— Не стоит торопиться, Я. Надь. Я слышал, давление у тебя снизилось.

— Давление мне сбили, зато мотор, слава богу, забарахлил. Только смотри не проговорись при докторе, потому что Сильвия забыла, как она в первый мой визит сюда научила меня расшифровывать кардиограммы. Впрочем, взгляни сам, вот моя последняя кардиограмма. Отчетливо различим подъем сегмента S—T в третьем и четвертом грудных отведениях; что на общедоступном языке называется: первый звонок. По всем расчетам, мне осталось тянуть две-три недели, не больше. Это я к тому, чтобы ты знал, каким временем мы располагаем.

— Мне было бы больше по душе, если бы ты выздоровел, Я. Надь. И так уже по всей студии раззвонили, будто я вгоняю тебя в гроб.

— Враки! Передай дражайшим коллегам, что я предпочитаю отлеживаться в больнице, лишь бы не видеть их постылые рожи. Наконец-то мне подвернулась работа по

¹ Этот диалог — несколько подсократив при монтаже — использовали потом в одном из последних эпизодов фильма в качестве звукового фона к сцене похорон Я.Надя.

душе, так какого черта, спрашивается, я забыл на этой растреклятой студии? Прозябать на вторых ролях, разменивать талант на буфетные остроты? Какой выбор меня ждет там? Жениться на Ирене? Или во второй раз на Аранке? Добиваться милостей Уларика? Хватит, сыт по горло. Скажи им, что я устремился к подлинным высотам. Я сбросил с себя всю эту шелуху, как разношенные шлепанцы, чтобы наконец зажечь исключительно ради творчества. Здесь у меня есть абсолютно все необходимое для плодотворной работы: крыша над головой, еда, любимое вино с содовой, ну и заботливая врачевательница, у которой, если ты успел подметить, грудь точь-в-точь, как у Мэрилин Монро.

— Прикажешь понимать так, что докторша влюбилась в тебя по уши?

— Сформулируем иначе: она не отказывает мне в той доле участия, которая разжигает мой творческий пыл.

— Прошу тебя, постарайся на этот раз обойтись без обычных своих любовных драм. Докторша ни в какую не хотела впускать меня к тебе.

— Ничего, старина, дай только срок, и эта станет шелковой. Если не будет другого выхода, я женюсь на ней.

— Пожалуй, ты прав: у тебя тут действительно есть все, что надо.

— Да, все, что нужно для теоретической подготовки, у меня есть. Зато возникли кое-какие практические трудности, с которыми мне не справиться в одиночку. Ты возьмешься помочь мне?

— А что именно от меня требуется?

— Оглянись вокруг: эта больничная палата станет нашим съемочным павильоном. Чем не идеальная студия — просторная, светлая! Беда, однако, в том, что реанимационная палата находится внизу, на первом этаже. Я специально спустился, прикинул, что к чему: гиблое дело, с камерой там не развернуться, все заставлено приборами разными, аппаратурой, больные лежат при последнем издыхании, стоны, хрипы. Там снимать мы попросту не сможем.

— Тогда где же?

— Здесь, в моей палате. Нужно только договориться, чтобы ее переоборудовали под такое импровизированное реанимационное отделение. Всего и понадобится-то один-два прибора.

— Заметано. Чего еще?

— Нужен телефонный аппарат.

— Пусть твоя докторша распорядится, если она и вправду без ума от тебя.

— Да в том-то как раз и беда, что Сильвия ревнива и желает всецело изолировать меня от внешнего мира. Так что запиши, пожалуйста, все мои поручения. Во-первых, заведи у Ирены мою пишущую машинку, а у Аранки — мой переносный телефонный аппарат. Затем ты вынь машинку из футляра, спрячь туда телефонный аппарат и оставь внизу у привратника на мое имя. Пишущая машинка ни у кого не вызовет подозрений. А я в случае чего смогу с тобой связаться.

— Договорились, телефон я тебе доставлю, и ты чуть что дашь мне знать. Вот только пробраться к тебе не так просто. Насколько я понял, твоя Мэрилин Монро завидует, что в кино снимаешься ты, а не она.

— А ну, позови ее сюда, я вправлю ей мозги.

— Может, сначала по стаканчику для храбрости?

— Валяй.

— Будь здоров, старина.

— Будь здоров.

Вторая магнитофонная лента

— Вы позволите, Сильвия, записать наш разговор на пленку?

— Пожалуйста, у меня никаких секретов нет. Так чего вы от меня хотите?

— Прежде всего мы хотим заручиться вашим согласием. Видите ли, этот молодой режиссер с телевидения снимает фильм обо мне.

— Я в курсе дела. Однако тема эта в данный момент не актуальна, потому что, хотите вы того или не хотите, а я вас вылечу, Я. Надь.

— Рано или поздно эта тема станет актуальной.

— Незачем так далеко загадывать. И кстати, больница — это вам не театр.

— Но и мы не представление разыгрываем, а создаем документальный фильм на сугубо научной основе. И фильм наш призван служить тому же делу, что и ваша клиника, а именно: прогрессу науки.

— Не спорю, такая формулировка куда благозвучнее. И все же есть разница: мы, врачи, стараемся отдалить

смерть, вы же, насколько мне известно, стремитесь ее зафиксировать. Не понимаю, почему вам понадобилось избрать именно эту тему.

— Потому, что для смерти не существует стереотипов, Сильвия. Нам известно лишь, что рано или поздно она ждет нас, но думаем мы о смерти, как о прыжке вслепую во мрак. Помогите же нам развеять этот мрак собственного невежества. Покажем телезрителям, что смерть — дело житейское, а значит, она может быть осмыслена нами и отображена, может быть названа своим именем.

— В чем же заключается моя задача?

— Видите ли, для фильма совершенно необходима красивая женщина. Ваша красота — это облачка, в которой мы заставим зрителей проглотить горькое лекарство.

— Напрасно вы расходуете комплименты. Я прежде всего врач.

— Большого нам и не требуется. У вас будет роль доктора Сильвии Фройнд, которая до последней минуты останется у изголовья больного.

— Заранее предупреждаю: я не потерплю ни малейшего вмешательства в мои служебные обязанности.

— Гарантирую, что вы беспрепятственно сможете выполнять свой долг. На таких условиях вы согласны?

— Я должна испросить разрешения у профессора.

— Телестудия обратится к профессору с официальной просьбой. Возьми себе на заметку, Арон.

— Все будет улажено.

— Вы изумительная женщина, Сильвия! Истинным наслаждением будет работать вместе с вами. Спасибо, старина, теперь можно выключить магнитофон.

* * *

Уларик, завидев режиссера, расплылся в улыбке.

— Ба, кого я вижу! Надеюсь, ты явился доложить, что фильм готов. Начальство в нетерпении, меня со всех сторон подгоняют.

— Конец пока не светит.

Уларик помрачнел.

— Так не пойдет. Пора, брат, закругляться.

— Тогда помоги мне.

— Что я должен сделать?

Вероятно, на Уларика действительно крепко насе-

ли, потому что он с ходу посулил все уладить. И с профессором-то он свяжется. И заручится его согласием на съемку фильма. И добьется, чтобы палату Я. Надя переоборудовали под реанимационную. И даже постарается выбрать новейшую медицинскую аппаратуру, лишь бы только фильм наконец был готов.

— Еще что-нибудь от меня требуется?

— Сущий пустяк. Сегодня во второй половине дня открывается международная выставка роз. Сгоняй туда кого-нибудь из операторов. Пусть отснимут материал приблизительно минут на пять, а потом я попрошу включить этот материал в программу вечерних новостей. О дне передачи дам знать заранее.

— Идет! Ты разрешишь посмотреть отснятый метраж?

— Не раньше, чем все будет готово.

— Ну, и когда это, по твоим расчетам?

— Видишь ли, слово «когда» не фигурирует в моих расчетах.

— Хорошо вам, творческим работникам, а я обязан доложить руководству!

— Можешь доложить, что у Я. Надя зафиксирована коронарная недостаточность.

— Ладно, это уже кое-что.

* * *

Уважаемый господин профессор!

Полагаясь на Вашу неизменную приверженность к искусству, вновь дерзаю обратиться к Вам за поддержкой.

Когда я в последний раз навестил нашу больную, мне показалось, что жизненные силы ее идут на убыль. Если мои предположения верны, то это значит, что я должен быть готов к съемке финальной сцены. И тут я вынужден просить Вашего любезного содействия.

Заметив, какой интерес проявляет Мико к выставке роз, в которой ей уже не суждено принять участия, я добился, чтобы наш корреспондент подготовил телерепортаж о выставке. Думаю, что этой передачей мы могли бы доставить умирающей последнюю радость.

Не мне судить, как именно протекает болезнь в данном случае, и все же мне представляется, что рано или поздно наступит такой критический момент, когда Вы как врач сможете определить, сколько времени больной еще

удастся продержаться в живых. Для меня было бы идеально, если бы развязка произошла между половиной восьмого и восемью часами, то есть во время вечерней передачи новостей.

Программа этой передачи составляется в тот же день, к вечеру, и для того, чтобы репортаж о выставке роз попал в программу, я должен знать о предполагаемой кончине нашей больной самое позднее до шести вечера. После шести в программу включаются только сообщения о международных событиях исключительной важности.

Поэтому убедительно прошу Вас, господин профессор, как только этот перелом в ходе болезни Мико станет очевидным, известить меня не позднее шести часов вечера по добавочному 6—76. Об этой любезности я прошу Вас не только ради успеха нашего фильма: как мне кажется, лучше и нельзя обставить уход Мико из жизни.

В ожидании Вашего звонка

остаюсь с уважением

Арон Кором

* * *

Уважаемый господин режиссер!

Ваше возмутительное послание я порвал в клочки. Я не потерплю во вверенном мне заведении попыток столь серьезного нарушения врачебной этики, даже если попытки эти облечены в форму просьбы.

Вас не оправдывает и тот факт, что в медицине Вы — профан! Вам надлежит знать, что данная мною клятва обязывает меня лечить людей, то есть стремиться к продлению их жизни. Поэтому я не имею права подгонять смерть больного под Ваши режиссерские устремления или приурочивать ее ко времени передачи последних известий. Будем считать, что просьба Ваша не имела места.

Однако, к сожалению, Вы верно подметили, что состояние несчастной Мико стало критическим. Опасаюсь, что долее завтрашнего дня ей не прожить. На этот факт, будучи истинным сторонником Вашего творческого замысла, я и хотел бы обратить Ваше внимание. Будьте наготове, если желаете запечатлеть исход этой человеческой драмы. Родные и близкие больной предупреждены мною заблаговременно.

С приветом

д-р *Тисаи*, профессор-терапевт.

Первая половина дня

— Что это вы надумали ко мне заглянуть, молодые люди?

— Да вот, решили навестить вас.

— Уж не господин ли профессор вас подослал?

— Что вы! Мы выезжали по делу и оказались неподалеку от вашего дома.

— А я было подумала...

— Нет-нет, мы, можно сказать, случайно сюда забрели.

— Если побудете немного, то и с господином профессором встретитесь. Он теперь каждый день к нам навещается.

У больной даже голос стал каким-то тусклым. Лицо — кожа да кости — готовая посмертная маска. И все же настроение ее было менее удрученным, чем в прошлый раз.

— Как ваше самочувствие?

— Есть я ничего не ем, и все время в сон клонит. Силенки мои истаяли.

— По-прежнему страдаете от боли?

— Да нет, лекарство мне теперь дают более сильное, чувствую только, как изнутри распирает, но боль вроде бы отпустила. А может, оттого мне полегчало, что обстановка у нас в доме изменилась к лучшему.

— С каких это пор?

— Вот уже несколько дней, просто небо и земля. А ведь как я жаловалась, помните?

— Скажите, что же именно изменилось?

— Многое. К примеру, раньше Мама почти не ухаживала за мной, а теперь каждое утро меня умывает, поит чаем, лимонадом, лекарства дает, кормит. Восемь лет назад, когда у нее образовалась катаракта, я ее утешала: «Не горюй, Мама, я стану твоими глазами». И представьте себе, сейчас она мои слова вспомнила. На днях и говорит мне: «Ты — мои глаза, ну а я — твои ноги. Только скажи, чего тебе подать». Кто бы мог подумать? Ну, а главное, она к Нуоферам придирается перестала.

— И давно произошли эти перемены?

— В последнюю неделю, и сейчас это очень даже кстати. Правда, и Нуоферы ее ублажают всячески. Шандор сливочным шоколадом пичкает, а жена его специально, Маме в угоду, фасолевый суп варит и тушеную капусту

с копченой грудинкой готовит. Раз я слышала, как Мама ее благодарила: «Спасибо, что уважили, золотко». Таких душевных слов я от нее сроду не слыхала.

— Надеюсь, теперь вы спокойны.

— Да, ко времени радость подоспела, может, и в последнюю минуту. Я и сама чувствую, конец мой близок, да только не боюсь нисколько.

— Вы это серьезно?

— Перед смертью какие уж шутки.

— Как же не бояться смерти? Впрочем, можете не отвечать на мой вопрос, если не хотите.

— Чего уж там, могу и ответить. Сказать по правде, больше смерти меня пугает другое: как представишь себе, что тебя в гроб упрячут да еще и крышкой прихлопнут. Вот что худо.

— А почему эта мысль так угнетает вас?

— Не могу я одна! Я всю жизнь прожила на людях. Днем на работе суетишься, и вокруг все знакомые, все тебя знают; по вечерам — мать рядом, а то и соседи. Должно быть, всякому приятно, когда живая душа рядом. А как гроб заколотят, тут уж всему конец.

— Выходит, самая большая для вас утрата в жизни, что рядом никого не будет?

— Это самое я и хотела сказать.

— Значит, без людей вам вообще не хотелось бы жить на свете?

— Верно. Хотя не скажу, чтобы я от людей много радости видела. Шесть лет прожила с мужем, плохо ли, хорошо ли, а все не одна была. В пятьдесят шестом он в уличные перестрелки ввязался, домой приходил с автоматом, а после сбежал за границу. Через «Свободную Европу» передал, что перебрался, мол, в Америку, и больше о нем ни слуху ни духу. Потом свалилась на нас эта беда с маминой слепотой; хочешь не хочешь, пришлось смириться, так же как смирилась я и с тем, что Нуоферы у нас поселились. Как-то изменить свою жизнь, повлиять на нее я никогда не умела, знай себе мирилась со всем. Так и сейчас: от конца своего никуда не денешься, стало быть, надобно принять его. Вот весь ответ на ваш вопрос.

— Какой вопрос?

— Вы же спрашивали, страшно ли умирать. Нет, не страшно. Как подумаешь, какая я теперь стала хворая, уж не видишь особой разницы...

— Но все же было, наверное, и в вашей жизни что-то светлое, о чем приятно вспомнить.

— Что-то не припомню такого.

— Ну, к примеру, даже по тому, как относится к вам старый Франё, видно, что на работе вас ценят.

— Конечно, ценят как не ценить! Где им вторую такую дуру сыскать? Скажут: надо сделать, — и знают наперед, что все будет сделано в наилучшем виде.

— Что же, и розы вы не любили?

— Вот спасибо, что напомнили! Нет, розы я всю свою жизнь любила.

— Расскажите нам что-нибудь о розах.

— О розах? Да что о них рассказывать-то?

— Простите великодушно. Я глупость сморозил.

— Да нет, не глупость, это я такая бестолковая. Сколько себя помню, ничего другого и не делала, кроме как розы обихаживала, а всего-то и знаю о них, что краше розы нет цветка на свете.

— Спасибо, этого вполне достаточно. Может, отдохнете немного?

— Ваша правда, устала я что-то. Но если для вашего фильма еще чего нужно, то вы спрашивайте, не стесняйтесь.

— Поспите. Вам не помешает, если мы тут побудем?

— Мне теперь никто не помешает.

— Ну вот и поспите, а мы посидим тихо.

Вторая половина дня

Мико спала. Режиссер и оператор забились в угол, сидели, ждали. Время тянулось медленно. Телевизионщики не решались ни разговаривать, ни курить. Изредка заходила Мама, низко наклонялась над дочерью, чтобы разглядеть ее лицо, и опять уходила. Совсем стемнело, когда вернулись с работы Нуоферы. Стараясь не шуметь, они проскользнули на кухню и зажгли там свет. Тишина стояла глубокая. Даже автобусы как будто проносились бесшумнее, чтобы не потревожить спящую.

У входной двери раздался звонок. Маришка проснулась. Оператор пошел открывать дверь: прибыл доктор Тисаи — в белом халате, прямо из больницы. На несколько минут, пока шел осмотр больной, он уснул всех в переднюю.

— Как бы не проворонить последние известия, — вздохнул Кором.

— У нас еще двадцать минут в запасе, — успокоил его оператор, взглянув на свои часы со светящимся циферблатом.

Тисаи позвал их: можно войти.

— Будьте наготове, — шепнул о н . — Я тоже останусь при ней.

Мико не спала, однако на сей раз она даже не повернула головы к вошедшим.

— Кто там? — спросила она едва слышным, безжизненным голосом.

— Это мы, с телевидения.

— Позовите Маму и Нуоферов. Пусть все будут в сборе.

— Сию минуту, — с готовностью бросился к двери Арон . — И если позволите, я принесу телевизор.

— Зачем? Я ведь его все равно не смотрю.

— А вдруг будет что-нибудь интересное?

— Мне теперь ни до чего интереса нет.

Внесли телевизор. Поставили его на стул против кровати. Оператор привел Маму, усадил ее, затем заставил пересесть в другое место, чтобы она не загоразивала Маришку. Пришли Нуоферы и стали в дверях. Молодая женщина старалась удержать слезы. Оператор, закончив приготовления, опять удалился в свой угол.

— Начнем?

— У меня все готово.

— Тогда я включаю телевизор, — сказал Арон и повернул рычажок.

Режиссер и оператор стояли позади прибора и только по дикторскому тексту догадывались о том, что происходит на экране.

Ага, это репортаж о наводнении. Плотины укрепляют мешками с песком. Бедственное положение арабских беженцев. Пуск новой производственной линии на Электроламповом заводе. Заседание Академии наук. И, наконец!.. Слава богу, передача подоспела вовремя.

— Наш специальный корреспондент сообщает: в Будафоке открылась первая Международная выставка роз и проводится конкурс на звание лучшей сортировщицы.

Телевизор придвинули как можно ближе к постели Мико.

— Господи, — выдохнула Маришка, стараясь приподнять голову. Глаза ее не отрывались от экрана. — Господи боже, да ведь это наше хозяйство! Помогите мне подняться, пожалуйста.

Профессор обхватил больную за плечи, приподнял и подложил ей под спину свернутую вдвое подушку.

— А вам всем хорошо видно? — спросила Маришка. Голос ее зазвучал чисто, внятно, точно со старого железа наждаком сняли ржавчину. — Смотрите, Франё! А флагов, флагов-то сколько! Вот они, наши розы! Это «Мефистофель», с острова Маргит. А это «Шевалье Дельбор», с юга Франции, цвет у нее бесподобный, густо-алый, какая жалость, что на экране плохо видно! А это «Чардаш», нежно-розовая, тоже с острова Маргит, вывел этот сорт Бергер. Вон та желтая называется «Фламинго». Смотрите, это «Мистерия», сердцевина у нее белая, а к краям лепестки краснеют. Ах, до чего же неудачно показано, ведь это же канадская «Жемчужина моря», она вся так и переливается из желтого в бордово-красный. Если бы вы видели, насколько она краше на самом деле! А вон «Новая Европа», родом из Бонна, из Германии. Теперь подряд пошли шведские сорта, а это наши — «Цитронелла» и «Принцесса Фери». Батюшки, да никак это Кантор, моя напарница! Она предложила первая, чтобы нам выступить на конкурсе с «Умирающим лебедем», мы с ней вместе обо всем условились, жалко только, что плохо видно, на самом деле цветок наш несравненно краше. Роза вся как есть белая, и только сбоку алая крапинка, это я придумала — привить от красного сорта «Таманго», вроде бы капля крови получается в том месте, где у лебеда рана... Кто же вышел на первое место, не мы, случаем? Куда же Франё подевался? А этого человека, кому приз вручают, я сроду в глаза не видела. Как знать, не расхворайся я не ко времени, глядишь, и нам бы какую награду присудили. Ах, уже конец! Показали не очень удачно, но все равно на душе хорошо, будто я сама там побывала. Спасибо вам, молодые люди, от всего сердца, и вам, господин профессор, спасибо. Спасибо, мне ничего не нужно, я чувствую себя хорошо.

Врач сделал Маришке внутривенную инъекцию, но на сей раз никого не стал высылать из комнаты. Глаза больной оставались открытыми. Одеяло поднималось и опускалось на животе, вздутом, как у беременной. Жизнь еще

теплилась в ней, но сама она всем своим существом уже устремилась куда-то далеко-далеко...

Профессор Тисаи присел подле больной. Камера работала без остановки. Никто не двигался. Тишина была абсолютной. Время как будто замедлило свой ход. Оператор взглянул на Арона, но тот сделал ему знак не выключать камеру, как бы ни затянулась эта пауза¹.

Долгое время спустя Маришка заговорила. Слова слетали с губ едва уловимо, как вздох.

— Позовите ко мне Маму.

— Здесь я, доченька. Подать тебе чего?

Никакого ответа. Доктор Тисаи нащупал пульс больной. Маришка все еще дышала, только теперь дыхание ее стало шумным. Глаза ее широко раскрылись, взгляд был устремлен в потолок. Режиссер подошел к кровати.

— Прошу вас, соберитесь с силами и, если можете, повернитесь, пожалуйста, к вашей матушке.

Мико медленно повернула голову, но не туда, где сидела Мама и остальные люди; невидящим взглядом она уставилась в пустоту.

— Шандор тоже здесь?

— Здесь я, — чуть слышно выдохнул Нуофер.

— Пусть Шандор возьмет Маму за руку.

— Садитесь рядом со старушкой, — шепотом подсказал Арон, — и смотрите в объектив.

Все в комнате, как по уговору, перешли на шепот, будто произнесенное вслух слово могло оказаться во вред больной.

Нуофер подсел к Маме, взял ее руку в свои.

— Теперь вы вместе? — спросила Мико.

— Вместе мы, доченька, вместе, — поторопилась успокоить ее Мама.

— Мы сидим рука об руку, — добавил Нуофер.

— Видишь ты нас, Маришка? — спросила Мама.

Ответа так и не последовало. Все в комнате неподвижно замерли; вот наконец у больной вырвался глубокий вздох.

¹ Впоследствии сюда были вмонтированы кадры, ранее отснятые в цветоческом хозяйстве «Первоцвет». Кадры эти тоже оставили неозвученными, люди двигались бесшумно, только губами шевелили, как немые, а вокруг раскинулись необозримые поля роз. Безмолвие цветущих полей и мертвый покой в доме Мико усиливали ощущение тишины, словно весь мир умолк на эти минуты. Это одно из самых удачных мест в фильме.

— Кончилась! — всхлипнула Мама.

Профессор, отыскав у Маришки пульс, отрицательно покачал головой: нет. Еще нет. Еще жива. Но Арон, словно повинувшись инстинкту, безошибочно уловил приближение решительной минуты и сделал знак оператору. Чтобы самому не попасть в кадр, режиссер прошел вдоль стены к самой двери. Оператор с камерой проделал тот же маневр. От двери Арон направился к кровати. Он врзался в замершую кучку людей, раздвигая их направо-налево, разъединил жену Нуофера и мальчика, Шандора и Маму. По образовавшемуся проходу за ним медленно следовала камера, но вот и камера замерла, совсем близко от лица Маришки.

Инстинкт не подвел Арона. В этот момент доктор Тисаи выпустил руку Маришки, поднялся и дважды утвердительно кивнул. Смерть наступила. И не было в этом ничего внушающего страх или ужас; закрылись глаза, упала набок голова, одеяло больше не вздымалось и не опадало. Просто не стало одного человека. Опущенные веки Мико — как точка в конце фразы, на них и остановился кадр.

* * *

Похороны пришлось на унылый, пасмурный день. Низкие, черные тучи заволокли небо и среди дня погрузили город в сумерки. Это приглушенное освещение, пожалуй, соответствовало печальной церемонии, но уж никак не благоприятствовало съемкам.

У кладбищенской часовни собралась такая огромная толпа провожающих, что телевизионщики подумали было, что перепутали время или место похорон. Столько родственников, друзей и знакомых у Мико вряд ли наберется. Когда режиссеру и оператору удалось наконец пробиться ко входу в часовню, их остановил какой-то старик, одетый в черный парадный костюм.

— Вы, часом, не ошиблись? Тут хоронят одну работницу из цветоводческого хозяйства.

— Не Мико ли?

— Точно, Маришку Мико мы хороним.

— Тогда все правильно, нам сюда.

Появление работников телевидения вызвало переполох. Взрослые люди — и мужчины, и женщины — норовили

спрятаться за соседа, и только ребяташки не боялись попасть в кадр. Началось отпевание усопшей. Мико была протестантского вероисповедания. Молодой пастор, для которого похоронная церемония пока еще не стала рутинной, страшно нервничал перед направленной на него телекамерой. Голос у него срывался, а под конец и вообще сел¹.

Гроб чуть не ломился под тяжестью роз. Цветов было столько, что вслед за погребальным катафалком пришлось пустить еще один, нагруженный венками и букетами. Маму, которая из-за траурной вуали видела еще хуже обычного, провожал к могиле Арон.

— Уж вы постарайтесь, чтобы меня не показывали по телевизору, — попросила она.

— Вам не хочется попасть на экран? Но почему?

— Плакать я не умею, а соседи потом, как увидят, мне все косточки перемоют.

Мама и правда ни разу не всплакнула; ее не растрогало ни прощальное слово старика Франё, ни последняя сцена, когда комья земли застучали по крышке гроба, хотя в эту минуту разрыдались все женщины, и даже мужчины не смогли удержаться от слез. Объектив телекамеры в замедленном темпе прошелся по огрубелым, простым лицам, на мгновение задержавшись на каждом, словно хотел запечатлеть всевозможные проявления скорби, затем резко перескочил на надгробный холм.

— Задержи кадр, — бросил режиссер оператору, который приблизился к могиле вплотную, и камера медленными, плавными кругами поплыла над горой цветов.

Роза подле розы. Между двух роз втиснулась третья. Следующий кадр: множество роз, размытым пятном. Затем всего одна роза, но крупным планом. Еще одна роза. Еще одна. И еще.

— Хватит! — кивнул Арон оператору. — Что скажешь, по-твоему, как получится?

— Клёво! — лаконично высказался оператор.

¹ Ясно было, что от неопытного пастора проку не дождешься. По счастью, в соседнем зале часовни отпевал покойника католический священник — хорошо поставленным, звучным голосом. Пришлось снять его на звуковую пленку. Так Мико проводили по римско-католическому обряду, вместо протестантского, но зато можно было разобрать слова проповеди.

Когда толпа провожающих схлынула, Арон отыскал Маму. Она по-прежнему стояла у могилы — толстая, неповоротливая и всеми брошенная.

— Мы здесь с машиной. Если желаете, можем подвезти вас до дома.

— Да уж, подвезите, пожалуйста, молодые люди. Сами видите, теперь сразу всем не до меня стало.

Старуха с трудом протиснулась в дверцу машины. Всю дорогу от кладбища до самого дома она говорила не умолкая. Это не помешало ей достать завернутые в вошеную бумагу бутерброды с колбасой и подкрепиться: погребальная церемония затянулась надолго, и старуха успела проголодаться.

О дочери она упомянула мимоходом:

— Бесхитростная была, бедняжка. Так всю жизнь и прожила до последнего часа: по простоте душевной верила всему, что люди ни наскажут.

О прощальной речи старого Франё она отозвалась так:

— Слыхали, как он Маришку расхваливал, соловьем разливался? А не стребуй я пособие на похороны, так он бы себе в карман положил мои денежки законные.

О провожавших покойную в последний путь:

— Ишь сбежались сюда со всего хозяйства, все до единого. Сперва заездили человека до смерти, а теперь цветов на могилу насыпали и небось думают, что расквитались с нами за все про все.

Но крепче всего досталось Нуоферам:

— Видали, как они всей семейкой в черное вырядились? Только что рожи сажай не вымазали да волосья не перекрасили, и на том спасибо. А уж слез-то, слез лили в три ручья! Ну, у них вся порода такая, цыганам ведь ничего не стоит слезу пустить. А может, это они от радости заливаются: воображают, поди, что ловко все обстряпали. Но перед вами таиться мне не расчет: они как есть по всем статьям обмишурились. Недели не сравнялось, как Маришка умерла, а всю семейку будто подменили. С тех пор не услышишь больше: «Ах, Мама, дорогая», — теперь никого для них не существует, кроме их драгоценного сыночка. Да только зря они с ним носятся: мальчишка все одно не жилец на свете. Чтоб вы знали, он уже раз пытался на себя руки наложить и с тех пор в одиночестве находится не может. Кстати сказать, он от меня ни

одного худого слова не услышит, я его другим донимаю. К примеру, сядет он в комнате учить уроки, — я на кухню ухажу, а если на кухню со мной увяжется, чтобы одному не оставаться, я тут же — шась обратно в комнату. Что с меня взять: полуслепая старуха, слоняюсь молчком по квартире, ко мне обращаются, а я будто и не слышу. Ни в чем дурном меня не обвинишь, а только увидите: в конце концов им придется расторгать договор, а не мне.

Спасибо вам, молодые люди, что подвезли старуху вызвались. Оно, конечно, хлопот вы нам доставили порядком, но ребята вы, судя по всему, неплохие, надо будет разок пригласить вас к обеду, ну, скажем, как-нибудь к рождеству поближе. Тогда вы своими глазами убедитесь: у нас и ванная будет достроена, и квартира — загляденье, вся побелена-покрашена, а уж угощу я вас честь по чести; голубцов настряпаю и домашний торт «Штефания» подам: адвокатша, моя жиличка будущая, его очень вкусно печет. Ну, а если вы, молодые люди, мне добром отплатить пожелаете, то после обеда, может, свозите меня на кладбище, дочкину могилку проведать. К тому времени и душа новопреставленная с миром упокоится. Что, уже приехали? Тогда помогите мне вылезти. Ох, господи, и чего это автомобилей таких тесных понаделали! Ну, до свидания, молодые люди. Желаю, чтобы фильм у вас удачный получился.

* * *

На следующий день в студии режиссера ждала записка от Уларика: заведующий желал срочно поговорить с ним. Арон заподозрил недоброе и не ошибся.

— Привет, старик, чем порадуешь? Начальство с меня не слезает.

— Придется еще немного обождать.

— У руководства складывается мнение, что конца твоему фильму вообще не предвидится. С меня требуют письменного отчета, поэтому я хочу сам посмотреть отснятый материал.

— Фильм еще не озвучен, нет музыкального сопровождения. Так что пока и смотреть-то нечего.

— Я не новичок в этом деле, как-нибудь разберусь. Смонтируйте то, что уже отснято, и давайте прокрутим.

В просмотрном зале сидели трое: Уларик, Арон и

оператор. Все пленки были прокручены. В зале вспыхнул свет, и наступило тягостное молчание. Арон чувствовал нервный озноб. Должно быть, такая тишина бывает во время казни. Уларик закурил, молча переваривая впечатления. С незапамятных времен никто на студии не слышал от него одобрительных слов. На сей раз, однако, после долгой паузы он буркнул:

— Могло быть хуже.

Арон отказывался верить своим ушам. Опять настало томительное ожидание.

— Я предполагал увидеть кое-что пострашнее.

Затем, минутой погодя:

— И что еще осталось доснять?

— Всю часть, связанную с Я. Надем.

— Там тоже в финале будут похороны?

— Ничего не поделаешь! Ведь фильм — о смерти.

— И от чего он у вас должен умереть?

— Судя по всему, от инфаркта.

— Вот это вы зря, такая штука не для экрана.

— Не согласен. Тяжелый сердечный приступ будет смотреться еще эффектнее, чем агония ракового больного.

— Извини меня, старик, но здесь ты — лопух. Разве можно наперед узнать, как именно будет протекать сердечный приступ? Конечно, если тебе повезет, то Я. Надя вздохнет разок-другой и благополучно отдаст концы. А вот отца моего четыре недели держали на искусственном сердце, прежде чем он отмучился. Если и с Я. Надем получится что-то в этом роде, то фильм все равно нельзя будет пускать на экран. Сразу посыплются письма и жалобы от телезрителей, неприятностей не оберешься.

— О чем разговор! Нам осталось отснять две-три сцены, не больше.

— Что до меня, то я согласен и подождать, но ты крупно рискуешь: фильм может так и остаться в коробке до скончания века.

— Я готов пойти на риск. В конечном счете, смысл творчества заключается в самом творческом процессе.

— Когда такие слова произносит Феллини, я молчу и преклоняюсь, но тебе, старик, советую не забывать, что ты — всего-навсего начинающий режиссер.

— Любой гений когда-то был начинающим.

— Мне импонирует твоя уверенность в себе, но, согласись, ты не можешь требовать от Я. Нады, чтобы он планировал свой сердечный приступ по режиссерскому замыслу.

- Я. Надь знает, что делает.
— Все так, но смерти и он не указчик.
— Стоит человеку очень захотеть, и он всегда своего добьется.
— Ну, тогда желаю тебе удачи.

* * *

По вечерам, когда больничная суета затихала, Я. Надь доставал из футляра хитроумно замаскированный телефонный аппарат, звонил приятелю и отводил душу. Я. Надь давал режиссеру подробный отчет о своем самочувствии, о событиях больничной жизни за день. Кором, в свою очередь, столь же подробно информировал писателя о жите-бытье его многочисленных приятельниц, передавая пикантные сплетни о них, докладывал обо всем, что творится на студии. Рассказал он и о просмотре фильма, и о последнем своем разговоре с Улариком. Впрочем, тут же добавил:

— Только не расценивай это так, будто на тебя пытаются нажать. Не стоит принимать всерьез все, что говорит Уларик.

— За исключением тех случаев, когда он прав.

— Уларик прав? Интересно, в чем же?

— Боюсь, что, выхлопотав эту реанимационную установку, я забил гол в собственные ворота.

— Извини, Я. Надь, ведь это была твоя идея.

— Все верно, старина. Но если бы ты видел, в каких условиях мне теперь приходится лежать, ты бы иначе отнесся к тому, что Уларик говорил о своем отце.

— Как хоть она выглядит, эта реанимационная палата?

— Это надо видеть, старик. Загляни ко мне завтра, и все станет ясно. Тем более что ты нужен мне по делу: чувствую я себя паршиво.

— Ты серьезно? Что-нибудь с сердцем?

— В груди давит. Симптомы те же самые, что и шесть лет назад перед инфарктом.

— Не пугай меня, Я. Надь.

— Чепуха, не бери в голову! Кому другому, но только тебе пугаться таких вестей, дружище!

— Кончай балаганить, Я. Надь. У тебя были случаи убедиться, что я тебе действительно друг. Вот я и тревожусь за тебя.

— Сейчас мы оба служим высокой цели, Арон, а тут уж всякая дружба побоку.

— Одно другого не исключает.

— В нашем случае исключает. У нас был выбор: прожигать жизнь за бутылкой вина или наконец-то создать хоть один стоящий фильм. Мы выбрали фильм. Так что приходи завтра и посмотришь, как выглядят декорации к съемкам.

* * *

Войдя к Я. Надю, Арон не мог понять, где он очутился. Даже у больничной палаты есть свой стиль и определенное настроение: безукоризненный порядок, белизна и покой скорее внушают надежду на выздоровление человека, нежели вызывают мысль о его страданиях. От этой иллюзии не осталось и следа. Четырехместная палата превратилась в двухместную, сплошь заставленную какими-то измерительными приборами, вычислительными аппаратами, счетными устройствами, и больше всего напоминала распределительный зал электростанции. Кислородный баллон в углу затаился угрожающе, как бомба.

— Осторожно, ребята, не споткнитесь о провода! — предостерег телевизионщиков Я. Надь.

Выглядел он действительно неважно. Не поспешил гостям навстречу, как обычно. Даже не встал с постели, только приподнялся и сел. Режиссер и оператор выставили прихваченные с собой бутылки вина и содовой. Но и от выпивки Я. Надь отказался. У него есть лимонад, сказал он. Впервые за все время приятели увидели его небритым.

— Сейчас должна прийти Сильвия. Когда она наклонится ко мне со стетоскопом, загляни к ней в вырез халата. Не пожалеешь.

— Спасибо, Я. Надь.

— Правда, она в колочем настроении, потому что обнаружила телефонный аппарат и конфисковала его. Так что ты уж попроси у нее прощения.

Вошла Сильвия. Холодно кивнув посетителям, она приладила стетоскоп и наклонилась над пациентом. У Арона была возможность довольно долгое время созерцать ее прелести. Затем, скроив мину кающегося грешника, режиссер попросил прощения за трюк с телефонным аппаратом.

— Если я и прошу вас, то только в благодарность за эту палату. Мы вечно мучились с нехваткой мест в реанимационном отделении.

— Спасибо, доктор, вы очень добры. Не могли бы вы уделить нам несколько минут?

— Моя доброта здесь ни при чем, просто мне разрешено участвовать в съемках. Что я должна делать — сесть, встать?

— Лучше всего бы л е ч ь , — посоветовал Я. Надь, за что и схлопотал шутовскую пощечину.

Тумбочка у постели — в знак того, что поклонницы никак не желали отречься от писателя, — была сплошь уставлена цветами. Арон усадил Сильвию так, чтобы цветы служили ей фоном.

— Можно начинать? — спросил Я. Надь. — Итак, дорогие телезрители, разрешите представить вам доктора Сильвию Фройнд. Она сидит у моей койки, так что вы имеете возможность одновременно видеть двух главных действующих лиц нашего фильма. Один из них больно — это ваш покорный слуга, моя партнерша Сильвия Фройнд — врач. Распределение ролей предельно простое и четко ограничивает круг наших обязанностей. Мой долг — достойным образом довести до конца начатое мною дело, ее миссия — стойко и самоотверженно бороться за мою жизнь. Как и было условлено заранее, мы постараемся не нагонять на вас, дорогие телезрители, ни страх, ни скуку.

— Простите, — вмешалась Сильвия. — Я — врач, и для меня не существует никаких других соображений, помимо одного: стремления вылечить больного. Надеюсь, что эти мои попытки в самое ближайшее время увенчаются успехом.

— Я тоже надеюсь. Но если этого не произойдет, то вам придется следовать нашему неписаному сценарию.

— О каком сценарии может идти речь? Не забывайте, что мы находимся не на телестудии, а в больничной палате.

— Поверьте, Сильвия, в этих тонкостях я разбираюсь лучше вас. Предсмертная драма тоже разыгрывается по законам драматургии. Я нахожу излишним все это множество аппаратуры, мне не хотелось бы, чтобы в наш драматический диалог вмешивалась техника. Представьте себя на месте телезрителей, которых интересует не совершенство медицинского оборудования, но судьба двух лю-

дей, которые вступили в рукопашную схватку с невидимым врагом.

— Отказавшись от достижений современной медицины, я причинила бы вред в первую очередь вам.

— Вы оказали бы мне только пользу, Сильвия, оставив меня один на один со смертью.

— Если я вынуждена буду сложить оружие, вы так или иначе останетесь с нею один на один. Но какой смысл сейчас говорить об этом?

— Видите ли, до меня дошел рассказ об одном больном, которому в течение четырех недель искусственно продлевали жизнь. Хочу заранее заявить, что мне такой услуги не требуется.

— Мы называем это реанимацией. В определенных случаях такая мера вызывается необходимостью.

— Да поймите же, Сильвия, тогда весь наш долгий, кропотливый труд пойдет насмарку. Фильм не выпустят на экраны, если зрителей от него будет бросать в дрожь.

— Выходит, я должна из-за вас лишиться диплома?

— Знаете этот бородатый анекдот: миллионер обращается в полицию с жалобой, что ему не разрешают побираться на улице?

— Знаю.

— Тогда почему вы не разрешаете мне умереть, Сильвия?

— Не острите попусту, Я. Надь. Лучше скажите, что вам от меня нужно.

— Человек существует, покуда он мыслит. Давайте договоримся, что, если я потеряю сознание, вы оставите меня в покое. Не подвергнете меня реанимации, не станете подключать ко мне все эти аппараты и приборы, словом, позвольте мне до конца сыграть роль своими силами, без посторонней помощи.

— Этого я не могу вам обещать.

— И как вы собираетесь со мной поступить?

— Точно так же, как и с любым другим больным.

— Даже если зрелище будет ужасающим?

— Да, если мое вмешательство окажется необходимым.

— По-вашему, лучше уж пусть наш фильм так и останется законсервированным?

— Да.

Сильвию вызвали из палаты, спор был прерван.

— А ты говорил — будет как шелковая! — не удержался от подковырки Арон, когда приятели остались одни.

Однако Я.Надя нелегко было сбить с толку.

— Не волнуйся, дружище, — ухмыльнулся он. — Последнее слово всегда остается за умирающим.

Я.Надь не успел пояснить, каким будет его последнее слово, поскольку в эту минуту вернулась Сильвия. Она настежь распахнула двери палаты. Вошли двое санитаров с носилками. Опустили носилки и переложили на постель вновь поступившего больного. Сильвия принялась считать у него пульс и решительным жестом выставила телевизионщиков из палаты.

— Приходите завтра ровно в половине одиннадцатого, — крикнул им вслед Я.Надь.

Сильвия со стетоскопом в руке наклонилась к больному. Телевизионщики, выходя, бросили прощальный взгляд на прекраснейшую грудь в мире.

* * *

Я.Надь умер на следующий день к вечеру, умер в точном соответствии со своим замыслом: эффектно, как и подобает киногерою, избежав и долгой агонии, и какого бы то ни было врачебного вмешательства. Последнее слово осталось за ним.

Момент наступления смерти можно было установить лишь весьма предположительно, поскольку при этом возле Я.Надя никого не оказалось. Доктор Сильвия, хоть и была в палате, но занималась другим больным, а телевизионщики уже отбыли на студию. Ни у кого не возникло сомнения в том, что писатель спит сном праведника.

Арон узнал о случившемся лишь вечером, когда ему позвонила доктор Фройнд; голос ее прерывался от злости и отчаяния:

— Только не вздумайте утверждать, будто вы ничего не заметили!

— А что, по-вашему, мы должны были заметить?

— Передо мной можете не притворяться, я вас раскусила! Форменный убийца — вот вы кто!

И с этими словами она бросила трубку.

Несмотря на поздний час, Арон помчался на студию. Он был до такой степени взволнован, что не решился сесть за руль; поймав такси, он добрался до телестудии. Попросил у вахтера ключ от лаборатории, разыскал нужную пленку и — бегом в монтажную. Дважды прокру-

тил он отснятую утром ленту, а потом долго сидел, уставившись на погасший проектор. Теперь, конечно, все утренние события предстали перед ним в ином свете, но, сколько ни искал, он так и не мог обнаружить кадра, который навел бы его на подозрение. Нигде, ну ни малейшего намека на то, что шестьдесят таблеток снотворного начали оказывать свое роковое действие.

Правда, писатель, когда они явились к нему в половине одиннадцатого, выглядел невыспавшимся. Впрочем, он и сам пожаловался, что целую ночь не сомкнул глаз. Да и раньше известно было, что Я. Надь страдает бессонницей, так что состояние его никого не удивило. И кроме того, прежде, чем приступить к съемкам, режиссер и оператор спросили разрешения у доктора Сильвии, которая неотлучно находилась при новом больном.

— На сей раз вы кстати, — сказала Сильвия, на секунду оторвавшись от дела. — Отвлеките Я. Надя, а то у него какой-то нездоровый интерес к процессу реанимации.

Тогда Кором и оператор, ничего не подозревая, с чистой совестью взяли Я. Надя в оборот. Хотя нет! Прежде они предложили писателю перенести съемку на следующий день: дело, мол, терпит, а Я. Надю не худо бы выспаться.

— Оставайтесь, — распорядился Я. Надь. — И установите камеру так, чтобы ширма тоже попала в кадр.

Нет, никак невозможно было предположить, что этот разговор закончится смертью человека.

— Внимание, мотор! — скомандовал Арон, и съемка началась.

* * *

Койку писателя от соседней отделяла уже упомянутая ширма. Самого больного на соседней койке почти нельзя было разглядеть: не человек, а промежуточное звено в замысловатой системе всевозможных проводов, трубок, датчиков и измерительных приборов. Он лежал без сознания, все жизненные процессы регистрировались вспыхивающими на экранах приборов точками и светящимися полосками. Голову больного облегалo некое подобие шлема, переходящего в маску, по двум резиновым трубочкам в ноздри поступал кислород, к обеим рукам были прикреплены капельницы, предплечье, пониже

локтя, обхватывал манжет тонометра, к запястьям и щиколоткам подведены электроды. Возле койки больного постоянно дежурила сестра, а доктор Сильвия следила за показаниями приборов. В палате стояла тишина, нарушаемая лишь тяжелым, прерывистым дыханием больного.

— Из-за него, что ли, ты не спал? — Арон кивнул на ширму.

— Тут, брат, было не до сна, он всю больницу перебаламутил. Доставили его без сознания, но им несколько раз удавалось привести его в чувство. Однажды, придя в себя, он принялся молить, чтобы ему дали умереть спокойно, да разве тут милосердия допросишься! Я тоже переживал за него: лучше бы уж он поскорее отмучился, потому что смотреть на это невольно, точно будущее свое видишь.

— Кто он?

— Какая-то неизвестная личность. «Скорая помощь» подобрала его на улице, без денег, без документов, мертвецки пьяного. Едва только он приходил в себя, его начинало выворачивать. Вонючка стояла, как в дешевой пивной на углу.

— Может, хватит на сегодня, Я. Надь? Отдохни-ка ты лучше.

— Нет, давай по-быстрому. Единственное, о чем я попрошу: не будите меня, если я вдруг усну.

— Скажешь тоже — будить! Я вообще не понимаю, зачем ты себя принуждаешь говорить через силу. Или произошло нечто такое, что может пригодиться нам для фильма?

— Произошло всего лишь то, что я струсил впервые с тех пор, как взялся за эту роль. Я всегда легко относился к жизни и надеялся, что легко сумею — как с надоевшей любовницей — и расстаться с ней. Но теперь я понял, что может случиться иначе.

— Этот безымянный сосед, что ли, нагнал на тебя страху?

— Да, он. Хочешь смеяться надо мной, хочешь — нет, Но твой приятель оказался слабаком. Ширму поставили только на рассвете, а до той минуты я все видел собственными глазами. Правда, я не переставая уговаривал себя: «Что тебе до него, ведь это посторонний человек», — но все напрасно. Нет и не может быть посторонних людей, когда судьба общая. Разницы между нами почти что никакого расстояние между койками — вот и все, что нас

разделяет. Протяни руку, и даже этого разделения не останется. С таким же успехом и у меня могла бы наступить клиническая смерть.

— Но ведь его вернули к жизни. Неужели это тебя не успокоило?

— Ничуть. Я перечитал по этой теме всю литературу, какую удалось достать, но читать и видеть воочию — вовсе не одно и то же. Этому человеку вскрыли вену. Ввели внутрь крохотный приборчик на тонкой, как волосок, проволоке, протолкнули вдоль вены вверх по руке, пока он не прошел дальше, в полость сердца. Там он, этот приборчик, и остался и заставляет сердце работать с помощью электрических импульсов. Я прямо диву давался, глядя на Сильвию, как ловко запускает она этот моторчик в сердце, которое практически уже остановилось, «Послушай-ка, ты, прекраснейший из палачей! — не удержался я. — Надо мной ты тоже намерена проделать все эти манипуляции?» На что она мне: «Чем фамильярничать со мной, лучше бы поспали», — и велела поставить ширму. Что она сейчас делает?

— Ничего не делает, просто сидит.

— Сидит и только того и ждет, чтобы испортить наш фильм. Пусть дожидается, со мной этот номер не пройдет!

— Не изводи себя попусту, Я. Надь.

— Столько труда вложено, и все пустить псу под хвост! Ты только представь на минуту, что ширма стоит не там, а у моей койки, и Сильвия отхаживает не его, а меня, — что бы ты как режиссер стал со мною делать? Зрителю на интересно видеть беспомощное тело, ему подавай активного участника событий, способного чувствовать и мыслить, человека, который смотрит прямо в объектив — вот как я сейчас — и говорит внятно и вразумительно.

— Надеюсь, что в нашем случае так оно и будет.

— К чертям собачьим весь твой розовый оптимизм! Нужно уметь предвосхищать события. Иными словами, нам сейчас до зарезу нужна хорошая режиссерская идея.

— Я не волен распоряжаться ни жизнью, ни смертью, Я. Надь.

— Признайся лучше, что не можешь изобрести ничего путного.

— Чего ты ко мне привязался? Ты добровольно улегся в больницу, ты начал ухлестывать за этой Мэрилин Монро, для тебя, по твоей же просьбе, оборудовали реанимационную палату. Сам заварил эту кашу, сам и рас-

хлебывай, а если ничего умнее придумать не можешь, то, по крайней мере, выпиши как следует.

— Ошибаешься, я-то как раз придумал кое-что поумнее. Под утро, когда я совсем skies, мне пришло в голову единственно правильное решение.

— Выкладывай, не тяни.

— Правда, это двойная работа, зато впоследствии она окупится. Слушай меня внимательно, дружище: я решил умереть не один раз, а дважды. Ну, что ты на меня уставился? Проще простого: сейчас я разыграю тебе такую агонию, от которой сам Уларик будет на седьмом небе. А затем, когда подойдет срок, ты сможешь заснять и подлинную. У тебя будут две смерти на выбор, и ты вмонтируешь в фильм ту из них, которая получится удачней.

— Это нечестно, Я. Надь. Ведь мы снимаем документальный фильм.

— Хочешь чтобы он так и остался в коробке? Жаль труда!

— Ты сам сказал однажды, чтобы я не гонялся за дешевыми эффектами, а снимал так, как оно есть на деле.

— Спорим, что первый дубль получится удачнее моей взаправдашней смерти.

— Ну что ж, попытка — не пытка, тем более что дополнительной сметы на это не требуется. Жаль только, что ты писатель; для первого дубля нужнее классный актер.

— Положись на меня, дружище, все будет исполнено в самом натуральном виде. Ты знаешь, что притворяться я не умею. Если я не уверен в своих словах, то у меня и язык не повернется сказать. Но, к счастью, я до того вжился в свою роль, что смерть для меня сейчас так близка, как ты, сидящий рядом.

— Болит у тебя что-нибудь?

— Сейчас как раз ничего не болит.

— Тогда без притворства не обойдешься, потому что, если не считать твоего сонного вида, ты в полном порядке.

— Хватит и этого. Примем сонливость за отправной пункт, только назовем ее угрозой смерти — хотя бы на том основании, что я всю жизнь страдал бессонницей.

— Да, знаю.

— Ну, так чего же еще тебе надо? Давай условимся, что я отравился.

— Не понимаю! Ты принял какой-то яд?

— К чему такие сложности? Я наглотался снотворного. Возможность сама так и напрашивалась. У меня бессонница; сестра каждый вечер оставляет мне на тумбочке по две таблетки снотворного. Допустим, что ради нашего фильма я сумел отказаться от сна и за месяц у меня накопилось шестьдесят таблеток, а это — смертельная доза. Допустим дальше, что я принял все эти шестьдесят таблеток разом. И наконец, допустим, что все это случилось совсем недавно, скажем, за четверть часа до твоего прихода, так что смотри на меня, как на человека, которому осталось жить еще максимум четверть часа. Но эти четверть часа — наши, никто нам не помешает. Сильвии не до нас, она этого безвестного пьянчужку откачивает. Кстати, взгляни, что там творится?

— Докторшу вижу и еще каких-то двух мужчин в белых халатах.

— Чудесно! Это консилиум, значит, у врачей положение пиковое. Ну, поехали. «Писатель отдает концы, дубль первый».

— И что я должен делать?

— Спрашивай.

— О чем?

— Безразлично! О чем бы мы сейчас ни говорили, все это прозвучит с экрана после траурного сообщения. Главное успеть прокрутить сцену, пока идет консилиум.

— Ладно, уговорил. Итак, «Смерть Я. Надя. Дубль первый». Мотор!

* * *

— От имени наших телезрителей приветствую тебя, Я. Надя. Сегодняшнюю нашу передачу мы ведем из больницы палаты, в стенах которой ты находишься уже с давних пор. Поэтому первый свой вопрос к тебе я бы сформулировал следующим образом: как ты себя чувствуешь?

— Не сказать, чтобы хорошо, но и не так уж плохо. Результаты анализов свидетельствуют об ухудшении сердечной деятельности.

— Каково при этом твое общее самочувствие?

— Я в здравом уме и трезвой памяти, вот только в сон клонит, руки-ноги будто свинцовые и язык заплетается.

— Сварить тебе кофе?

— Нет, времени у нас в обрез, не станем тратить его попусту.

— Согласен. Кстати, о времени: мы, люди, в большинстве своем привыкли думать о жизни в масштабах лет и десятилетий. Интересно было бы узнать, что испытывает человек, которому осталось жить считанные минуты?

— Ничего страшного. Видишь ли, можно удачно использовать и десять минут, а можно потратить впустую, скажем, тридцать пять лет. По сравнению с вами у меня есть то преимущество, что я, по крайней мере, уже лишен возможности даром загубить собственную жизнь.

— Ну что ж, воздадим должное твоему писательскому остроумию, однако зрителей, которым предстоит впоследствии увидеть этот фильм, твой юмор не интересует.

— Если это и юмор, то юмор висельника.

— Все равно. А теперь — шутки в сторону. Расскажи нам, как бы ты хотел провести оставшееся у тебя время.

— Перво-наперво я бы хлебнул глоток, а то от снотворного сухость во рту.

Я. Надь отпил глоток лимонада.

— Уф, здорово! — аппетитно причмокнул он. — Ну, что бы я еще сделал? Если бы я был курящий, я бы выкурил последнюю сигарету. Будь я маститым писателем, я бы обратился с воззванием к человечеству. Ну, а если бы я еще оставался мужчиной и мог побыть с Сильвией наедине, я затащил бы ее к себе в постель, в надежде на то, что сумею еще пошевелить членами.

Оператор прыснул. Из-за ширмы на них зашикали, Арон взорвался от злости.

— Нас ты подгоняешь, а сам несешь такую ахинею, которую Уларик все равно велит вырезать из фильма.

— И очень напрасно. До сих пор в литературе не отмечено, импотентами или настоящими мужчинами подходим мы к краю могилы. Подумай сам, старик, какая интересная проблема!

— Сейчас нам все равно ее не решить, так что давай говорить о другом, а главное — в другом тоне. Какое у тебя в жизни самое светлое воспоминание, Я. Надь?

— Женщины.

— А самое неприятное?

— Тоже женщины.

— Может, хватит острить? Если у нас и дальше пой-

дет в таком ключе, то твою предсмертную агонию придется включать в программу новогоднего кабаре.

— Каков вопрос, таков и ответ. Придумай что-нибудь получше.

— Тогда скажи по совести: испытывал бы ты страх, если бы тебе предстояло умереть через несколько минут? И очень прошу тебя, не переводи вопрос в шутку.

— Я тоже прошу тебя, брось ты все эти «если бы да кабы», иначе я выйду из роли. Прими за факт, что снотворное принято мною и уже начало действовать.

— Как тебе угодно. Итак, я ставлю вопрос — и на этот раз не в сослагательном наклонении: хочешь ли ты, чтобы тебе сделали промывание желудка?

— Нет.

— Это надо понимать так, что ты не боишься смерти?

— Не боюсь.

— Ты не мог бы ответить поподробнее? Эта тема одинаково интересует как меня лично, так и телезрителей, поскольку всем людям свойственно бояться смерти.

— За то время, что я готовился к съемкам, у меня была возможность обдумать этот вопрос. Смерть, бесспорно, противник более сильный. Каждая минута нашей жизни принадлежит ей, каждый наш час, каждый день — ее собственность. Единственное, чего нам не дано знать, — которую из многих отпущенных нам минут ей заблагорассудится выбрать. Именно поэтому все люди, и в том числе наши телезрители, и боятся смерти. Я же перехитрил ее. Сейчас я усну точно так же, как обычно, когда по вечерам откладываю в сторону книгу, гашу свет и закрываю глаза. Через несколько минут я воспроизведу этот каждодневный, будничный процесс — погружусь в сон, и тем самым ускользну у смерти из рук. Впервые в жизни я по-настоящему свободен.

— Ну, слава богу, наконец хоть какое-то подобие философии! Жаль только, что голос у тебя стал тише.

— Я устал говорить так долго. Поднеси микрофон поближе.

— Следующий вопрос: скажи, Я. Надь, стоит ли этот краткий миг свободы ужасного сознания, что больше ты не проснешься?

— Что же тут ужасного? Больше никогда не увидеть больничные стены, больного на соседней койке, Уларика, Аранку, Ирону — подумаешь, велика потеря! И мир лишится второразрядного писателя да научно-популярного

фильма о загрязнении атмосферы. Зато взамен он получит этот фильм, в котором вдумчивый художник впервые с момента существования человечества вырвет у смерти ее сокровенные тайны. Согласись, что такой исход — к обоюдной пользе. Ты спрашивал, боюсь ли я. Боится лишь тот, кому есть что терять.

— Ты тоже кое-что теряешь, Я. Надь. Ты лишаешься разницы между быть и *не* быть.

— Это верно.

— Конкретнее, прошу тебя. Телезрителей интересует все в том мире, который перестанет существовать вместе с тобой.

— Ты еще не забыл азы математики? Я. Надь минус Я. Надь равняется нулю. О том, чего нет, и сказать нечего.

— Постыдился бы переливать из пустого в порожнее, когда каждая минута на вес золота! Я допытываюсь у тебя не о том, чего нет, а о гибели того, что существует. Говорят, животные и те чуют смерть и скрываются от посторонних глаз. Мой вопрос заключается в следующем: что происходит в тебе сейчас, за несколько минут до твоего ухода в небытие? Прислушайся к себе и передай нам свои впечатления.

— Мои впечатления? Вот голос твой доходит глухо, как через стену.

— Говори о себе, при чем тут мой голос.

— И в себе я что-то не замечаю ничего особенного.

— Не дури, Я. Надь, соберись с мыслями. Наш фильм подходит к концу, настал твой звездный час. Сконцентрируй все свое внимание.

— На каком рожне прикажешь мне его концентрировать?

— На моем вопросе: в этот критический момент не ощущаешь ли ты разлада с самим собой?

— Нет.

— Каково твое душевное состояние — гармоничное или драматическое? Угнетенное или приподнятое? Отвечай?

— Если ты имеешь в виду душевное напряжение, которое я, по-твоему, должен испытывать, то ошибаешься. Уйти из жизни для меня — все равно что переступить порог.

— Ты рассуждаешь так, будто собираешься на прогулку в лес.

— Хорошо, что напомнил: было бы совсем недурно напоследок прогуляться по лесу.

— Стыдись, Я. Надь! Неужели это все, что ты можешь выжать из себя в кульминационный момент своей драмы? Учти, что я буду вынужден вырезать этот кусок.

— Почему же, скажи на милость? Мне кажется, я очень красиво умираю.

— Не знаю, как насчет красоты, но скучно до чертиков! Зритель волнуется и переживает, когда на глазах у него гибнет нечто ценное. Уж хотя бы ты боролся за жизнь! Даже муха и та бьется, прежде чем сдохнуть. Ну, быстренько, Я. Надь, выдай мне какую-нибудь конфликтную концовку.

— Уже выдал все, что мог.

— Пустой номер! Ты меня разочаровал, старик. Если уж ты весь выложил, по крайней мере, распрощайся как следует.

— С кем?

— Как это — с кем? С миром.

— Мне ужасно хочется спать, Арон.

— А мне плевать! Спать ему, видите ли, захотелось! Ты пойми: какой же фильм без концовки? Когда человек умирает, зритель, затаив дыхание, ждет, что он скажет под занавес.

— У меня пустота в голове, Арон.

— Пересиль себя.

— Глаза слипаются.

— Поднатужься!

— Поднатужишься, так что-нибудь другое вылетит. Кстати, это мне всегда удавалось лучше, чем бумагу мариать.

— Опять тебя понесло! Если ничего оригинальнее придумать не можешь, давай на этом и кончим. Зрителям такие подробности знать неинтересно.

— Ладно, разрешаю вырезать этот кусок. Так на чем мы остановились?

— Нашим уважаемым телезрителям хотелось бы услышать прощальные слова писателя, погибающего в единоборстве со смертью.

— Знаешь, я что-то плохо соображаю.

— Быть не может, Я. Надь! Вот уже несколько недель ты живешь одной мыслью: о смерти.

— Видишь ли, ценность мысли весьма и весьма отно-

сительна. То, что когда-то представлялось мне значительным, сейчас кажется мыльным пузырем.

— Так и не припомнишь ни единой полновесной мысли?

— Все прежние ценности сейчас для меня прошли девальвацию.

— Тогда попробуй выдать что-нибудь экспромтом.

— Лучше всего нам попросту распрощаться с тобой. Будь здоров, Арон, желаю тебе еще много удачных фильмов.

— Меня тебе не разжалобить! Ты сам сказал однажды, что мы — профессионалы.

— Профессионалу тоже может хотеться спать.

— Никаких отговорок, изволь работать! Должны же мы предоставить зрителю какую-то духовную пищу.

— Я всю жизнь только тем и занимался, что из-под палки заставлял свою голову работать. Дайте мне хотя бы умереть спокойно.

— Спокойная смерть — удел бакалейщиков, но к ним не гоняют съемочные группы с телевидения. Ты — писатель, любимый и почитаемый зрителями, поэтому они вправе ждать от тебя достойных, не банальных прощальных слов.

— Где мне их взять, эти слова? Из пальца, что ли, высосать? Или соврать что-нибудь? Так ведь пороуху не хватит.

— Говори что угодно, лишь бы звучало красиво. Красота — искусство, а искусство не может быть обманом.

— Всякое искусство — обман, Арон.

— Пусть обман, зато в него можно верить.

— Извечная сделка с совестью. Во что тут верить?

— Ну-ка, бери свои слова обратно!

— Не дожدهшься.

— Тогда на этом фильму конец.

— Мне безразлично, Арон, я свое дело кончил. Теперь поспать бы.

— Ты меня режешь без ножа! Прошу тебя, соберись с духом и говори более внятно. Писатели не умирают так бездарно.

— Как видишь, умирают.

— Похоже, с недосыпу у тебя память отшибло, но не беда, я тебе напомню: ты не только сам, добровольно, согласился взять на себя эту роль, но и долгие недели

готовился к ней. Так что же теперь, в последнюю минуту, ты перестал верить в то, что делаешь?

— Нет, в это я верю. Наш фильм — первая в моей жизни работа, когда не нужно кривить душой.

— Ты опять за свое! Тебе лишь бы состричь.

— Подожди, придет время, и ты сам поймешь, насколько я прав. Единственно искренний наш поступок — это наша смерть.

— Ну, наконец-то! Смотри, как ты ловко загнул! А не хочешь обкатать эту мысль поподробнее?

— Не хочу.

— Жаль! Но все лучше, чем ничего. Тогда мы и оставим это твоей прощальной сентенцией, только сделаем дубль. Повтори еще раз, более внятно.

— Что повторить? — борясь со сном, переспросил писатель.

— Предыдущее свое высказывание. Только перестань зевать и моргать глазами, смотри в камеру. Ну, в чем дело, забыл собственные слова, что ли? Ты сказал, что единственно искренний наш поступок — это смерть. Повторяй за мной и, если можно, старайся не закрывать глаза.

Писатель молчал.

— Ну, пошевели языком, Я. Надь! Выдай одну только фразу, и я от тебя отстану.

И эти слова остались без ответа. Оператор подошел к койке.

— Да он спит! — бросил он режиссеру.

Арон тоже подошел к койке, внимательно взгляделся в лицо Я. Нады.

— Ну и влипли же мы! — вздохнул он. — Эту разнесчастную фразу небось нельзя будет и разобрать?

— Подчистим, перепишем, и еще как сойдет.

Этого диалога писатель уже не слышал, потому что сон сморил его. На минуту Арону даже стало его жалко: к чему было мучить беднягу? Что взять с человека, который всю ночь не сомкнул глаз? Лицо Я. Нады, перед этим такое измученное, приобрело выражение покоя и умиротворенности, свойственное всем полным людям. В уголках рта блуждала улыбка, словно ему задним числом пришло в голову остроумное высказывание, которым он так и не успел поделиться.

Арон сделал знак оператору. Так был снят последний кадр, где писатель, казалось, мирно спал; на заднем пла-

не видна была ширма, а на тумбочке у койки — цветы и лимонад.

Затем — осторожно, стараясь не поднимать шума, — режиссер и оператор стали собирать аппаратуру,

* * *

— Респиратор, быстро! — скомандовала Сильвия сестре, которая подвинула к койке какой-то очередной прибор на передвижном столике.

Арон и оператор остановились на полдороге. Да им и нельзя было пройти к двери. Пришлось наблюдать до конца всю процедуру: какой-то зонд с крохотной лампочкой на конце осторожно ввели в рот больному и через дыхательное горло протолкнули глубже, в легкие. Кто знает, для чего он, этот прибор? Доктор назвала его респиратором, тогда, очевидно, он поможет дышать безвестному больному, лицо которого было такого же сероватого оттенка, как и наволочка на подушке. Я. Надь наверняка объяснил бы назначение прибора, но, к счастью, он спит, иначе зрелище это опять вывело бы его из равновесия.

— Ну как, действует? — спросила сестра.

— Изумительно! — отозвалась Сильвия. И в этот момент заметила телевизионщиков. — А вы тут чего дожидаетесь?

— Я. Надь уснул. Просил его не будить.

— Уснул? Тем лучше, — сказала доктор, не отрывая глаз от безмянного больного. — По крайней мере, не будет за нами подглядывать.

Она поднялась, давая дорогу. Наконец режиссер и оператор выбрались из палаты; вздохнув с облегчением, они сбежали по лестнице, сели в машину и поехали на телестудию.

— Ну, что скажешь? — дорогой спросил Арон.

— Сегодня он был не в форме, — заметил оператор.

— Я заранее предупреждал, что для этой роли нужен не писатель, а актер.

— Бери, что дают, — подытожил оператор.

Они приехали на студию. Арон отнес кассету с пленкой в лабораторию; он снабдил ее пометкой «срочно», еще не зная, что это — последняя лента его фильма.

* * *

Я. Надя хоронили всей телестудией.

— Он умер героем, — сказал Уларик в прощальной речи, — при исполнении служебного долга. Память о нем будет жить в сердцах телезрителей.

За гробом Я. Надея, как и следовало ожидать, тянулась нескончаемая вереница хорошеньких женщин. Арона Коррома не было: друзья, ссылаясь на общественное мнение, посоветовали ему лучше не показываться на похоронах.

«ВЫСТАВКА РОЗ»¹

Телевидение продемонстрировало нам фильм мрачный, удручающий, однако весьма поучительный. Создатели этой научно-популярной ленты ставили своей целью позволить зрителям заглянуть в ту загадочную страну, откуда, как принято говорить, еще не вернулся ни один путник.

Три главных участника фильма, последний отрезок жизни которых — от больничной койки до самой могилы мы имели возможность проследить на экране, добились великолепного художественного воплощения. На высоте оказался и Арон Корром, хотя новаторство задачи не всегда было по плечу начинающему режиссеру.

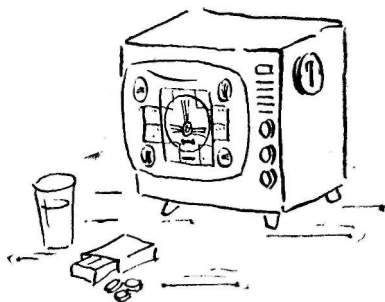
Заслуживает всяческого одобрения инициатива телевидения, организовавшего постановку фильма. Камера позволила нам, не выходя из дома, наблюдать жизнь океанских глубин, штурм Гималайских пиков, тайны девственных лесов, иными словами: недоступное стало доступным. Человек современной эпохи знает об окружающем мире несравненно больше своих предшественников. «Только у смерти нет стереотипа», — говорит один из героев фильма, и этот пробел удалось восполнить создателям документальной ленты «Выставка роз». Взыскательный зритель, воспринимающий искусство не только как средство развлечения, но и как источник полезной информации, провел у голубого экрана незабываемый час.

Второй фильм телепрограммы — «В гостях у девяностолетнего мельника» — явился эффектным контрастом

¹ Газетная рецензия.

первому. У героя этого фильма — жизнерадостного старика, несмотря на преклонный возраст, занятого активным трудом, — есть чему поучиться. Умереть — дело нехитрое, но, оказывается, в нашей власти отодвинуть смерть и, благодаря здоровому образу жизни и отказу от пагубных страстей и привычек, сберечь наше прекраснейшее и самое дорогое достояние — человеческую жизнь.

1977





**РАССКАЗЫ-
МИНУТКИ**







СПОСОБ УПОТРЕБЛЕНИЯ

Эти рассказы, несмотря на их краткость, — законченные художественные произведения.

Их преимущество в том, что они не требуют от вас большой затраты времени, не требуют длительного внимания на недели или месяцы.

Пока варится яйцо всмятку, пока набирается нужный номер телефона (который занят), можно прочесть рассказ-минутку.

Плохое самочувствие, расширенные нервы — тоже не помеха. Рассказы эти можно читать сидя и стоя, в дождь и ветер, в битком набитом автобусе. А большинство из них вы не без удовольствия прочтете даже на ходу.

Рекомендуется обращать внимание на заголовки. Автор стремился быть кратким, стало быть, не мог дать рассказам ничего не значащих названий. Прежде чем сесть в трамвай, мы всегда смотрим, какой номер. Для этих рассказов название — столь же важная деталь.

Это, конечно, не означает, что достаточно прочесть один заголовок. Сначала заголовок, потом текст — таков единственно правильный способ употребления.

Внимание!

Если вы чего-либо не поняли, перечитайте неясный рассказ. Если вы опять не поняли, значит, корень зла в самом рассказе.

Нет глупых людей, есть неудачные рассказы!



ЧТО ТАКОЕ ГРОТЕСК

Расставьте, пожалуйста, ноги врозь, наклонитесь вперед, — голову пониже, вот так! — и, оставаясь в этой позе, смотрите назад. Благодарю!

А теперь давайте оглянемся по сторонам и что же мы видим?

Все верно: окружающий мир встал на голову. Мужчины дрыгают ногами в воздухе, отчего брючные штанины сползают к коленям, а девушки... ах, девушки! — обеими руками они прижимают юбки к телу.

Смотрите, смотрите, вон — автомобиль: опрокинулся всеми четырьмя колесами кверху, точь-в-точь собачонка, желающая, чтобы ей почесали брюхо. Вот хризантема: она до смешного похожа на ваньку-встаньку, тонкий стебелек застыл напряженной вертикалью, а сам цветок, стоя на голове, изо всех сил пытается сохранить равновесие, А вон там — скорый поезд, мчится, опираясь на паровозную трубу.

Приходская церковь в Белвароше касается земли кончиками громоотводов, установленных на верхушках крестов по обеим ее башням. И обратите внимание на вывеску в окне пивной:

СВЕЖЕЕ ПИВО В РОЗЛИВ

А через окно нетрудно разглядеть посетителя: слегка пошатываясь — головой вниз, — он отходит от стойки с кружкой пива в руках. Снизу — пена, на ней — пиво, а сверху — дно кружки. И самое удивительное, что ни капли не проливается!

Зима, говорите? Ну, конечно же! Ведь снежинки, кружась, взлетают кверху, а по ледяной поверхности неба, бултыхаясь вверх ногами, скользят пары конькобежцев, Да, спорт не из легких!

Впрочем, не поискать ли нам зрелище повеселее? Вот, кстати, похороны! Даже сквозь снежную завесу, стелющуюся к небесам, сквозь слезы, в три ручья льющиеся сверху, мы можем разглядеть, как могильщики на двух толстых веревках простирают сверху гроб. Сослуживцы покойного, знакомые, близкие и дальние родственники, а за ними и вдова с тремя сиротами берут горсть земли и принимаются обстреливать гроб. Вспомним только этот душераздирающий звук, когда комья земли с глухим стуком ударяются о крышку гроба, когда причитает вдова и плачут сироты... Зато подбрасывать те же комья земли вверх — совсем другое дело. Насколько труднее теперь угодить в гробовую доску! Прежде всего для этого необходимы крепкие комья, рыхлые комки рассыплются, не долетев до цели. Так что не избежать суеты, беготни-толкотни в поисках крепких комьев. Впрочем, даже удачно выбранный ком вам не поможет, если у вас с глазомером не в порядке; стоит промахнуться, и комок шлепнется обратно на землю, ну а если походя заденет кого — в особенности богатого или знатного родича, — тут уж не только злорадного хихиканья, но и здорового смеха не оберешься. Зато если все выйдет удачно — комок попадетсЯ твердый, прицел окажется точным и бросок угодит в цель, то бишь в гроб, — участники похорон аплодисментами наградят ловкого метателя, с легким сердцем разойдутся по домам и долго будут вспоминать меткий бросок, дорогого усопшего и повеселившую всех церемонию, в которой и намека не было на лицемерие, напускную скорбь, притворное сочувствие.

А теперь извольте выпрямиться. Как видите, мир опять стал на ноги, вы же с поднятой головой можете горькими слезами оплакивать дорогих вашему сердцу, усопших.

СМЕРТЬ АРТИСТА



Сегодня после полудня в одном из переулков близ проспекта Юллии упал, потеряв сознание, Золтан Зетелаки, популярный актер.

Прохожие доставили его в ближайшую клинику, но там тщетно пытались с помощью новейших средств — вплоть до подключения искусственных легких —

вернуть его к жизни. После долгой агонии в половине седьмого вечера выдающийся артист испустил дух; тело покойного перевезли в анатомический институт.

Однако, несмотря на столь трагическое происшествие, вечернее представление «Короля Лира» не было сорвано. Правда, Золтан Зетелаки немного опоздал и в первом действии выглядел необычайно усталым (иногда его явно выручал суфлер), но затем он вполне вошел в роль и сцену смерти короля провел с такой убедительной силой, что вызвал бурные овации.

После спектакля друзья звали его поужинать, но Зетелаки отказался.

— Сегодня у меня был трудный день, — сказал выдающийся артист.

ДАЖЕ САМЫЕ ДЕРЗКИЕ МЕЧТЫ МОГУТ СБЫТЬСЯ!



ильий Фери, третья собака не тянет.

— К сожалению, мой кнут коротковат.

— Кажется, она еще и прихрамывает.

— Как не хропать, когда у нее три ноги!

— Ой, в самом деле! Разве это не жестоко — впрягать в машину искалеченное животное.

— Посмотрите внимательней, Илонка. Все двенадцать собак трехногие.

— Ох, бедняжки!

— Лучше меня пожалейте! Я подкупил всех живодеров в городе, прежде чем собрал двенадцать трехногих собак.

— Возможно, я в этом не разбираюсь, но мне кажется, что нормальная собака тянет лучше и дольше.

— Это бесспорно. Но я горожанин до мозга костей; что я буду делать с двенадцатью четвероногими собаками?

— Вы что, боитесь?

— Даже комариного писка. С созданиями природы надо обходиться осторожно. Допустим, эти собаки — четвероногие. Допустим, они напугались чего-то. Допустим, они вырвались у меня из рук... Ох, об этом лучше и не думать, Илонка!

«— Теперь я и вовсе ничего не понимаю. Если вы боитесь собак, зачем же впрягли их в автомобиль?»

— Потому что я плохо вожу машину.

— Этому можно научиться.

— Постольку поскольку... Машина и человек — понятия несовместимые, Илонка.

— Да вы поглядите кругом! Нет ни одной машины с собачьей упряжкой.

— В том-то и беда! К сожалению, человеку не угнаться за техникой. Использовать он ее использует, но на самом деле боится.

— Я не боюсь машин.

— А я боюсь. Например, эта «симка», дай ей волю, выжмет сто пятьдесят километров в час.

— Не бередите мне душу, Фери. Я обожаю быструю езду!

— Терпенье, Илонка! Всего десять дней, как мы выехали из Будапешта, и вот почти добрались до Шиофока¹.

— Для упряжки в двенадцать собак — это не скорость.

— Конечно, нет. Но я еще в Будапеште включил ручной тормоз.

— Не слишком ли вы осторожны?

— Нет, именно такой темп определен для нас природой.

— Смотрите, сколько народу, и все глазуют на нас.

— Завидуют!

— У них даже глаза округлились.

— Еще бы, они же видят: даже самые дерзкие мечты могут сбыться!

ВЕНГЕРСКИЙ ПАНТЕОН



аже в газетах сообщалось, что музей закрывается на две недели, — сказал по телефону швейцар. — Выставка «Реликвии освободительной борьбы» уже снята, а для экспозиции «Любимые женщины Ференца Листа» мы сейчас как раз подбираем материал.

— А что же мне с ними делать? Эта экскурсия была у нас запланирована на сегодня.

— Сводите их в Музей изящных искусств.

¹ Шиофок — курортный городок на берегу Балатона, в двух часах автомобильной езды от Будапешта.

— Там мы уже были. И потом, посудите сами, ведь это пятнадцатилетние девочки, к тому же из провинции. Предметы говорят им гораздо больше, нежели лучшие картины мира!

— Ну где я возьму вам выставку? — Швейцар начал раздражаться. — И потом, я совсем один в музее.

Но голос учительницы звучал так жалобно, что швейцар попросил минутку на размышление и сказал, что ладно, он попробует подобрать кое-какой материал, но такая, наспех составленная экспозиция будет неполной. К тому же за неимением каталога им придется довольствоваться его пояснениями.

В фойе было приклеено напечатанное на машинке объявление: «Выставка памяти Шандора Губауэра».

В первом зале был выставлен для обозрения штык Шандора Губауэра-старшего, который тот принес еще с первой мировой войны, но штык не слишком заинтересовал девочек. И в молитвенник супруги Губауэра, урожденной Марии Шюле, они заглянули только из вежливости, хотя он был примечателен тем, что хозяйка сплошь исписала его кулинарными рецептами. Но тем больший успех вызвала следующая витрина, где можно было видеть фотографию самого Шандора Губауэра в возрасте восьми месяцев, голышом лежащего на животике.

— Ах, какая прелесть! — вздохнула одна из девочек, в которой уже заговорила будущая мать.

В той же витрине лежали игрушки: ржавое жестяное ведерко, лопаточка, тачка. Молочный зуб. Свидетельство о прививке оспы. Маленькие очки с выбитыми стеклами. (Как известно, Шандор Губауэр до пятнадцати лет был близоруким, но впоследствии зрение его выправилось.)

— Вот и вам, девочки, — назидательно заметила учительница, — следует регулярно показываться главному врачу.

В следующей витрине — потерянная записная книжка,

— Шандор-Губауэр с юных лет записывал все расходы до единого филлера...

А это вышивальная машинка.

Девочки диву давались. Подумать только: за этой старомодной, с ножным приводом машинкой фирмы «Омаг», в то время как сам Губауэр тщетно бился за претворение своих дерзких замыслов, его супруга гнула спину от зари до зари... Только благодаря этой малооплачиваемой работе — вышиванию крохотных монограмм — ей кое-как

удавалось заработать на хлеб насущный для своей семьи... Блаженной памяти вышивальная машинка! Ведь не прожить было без нее семье в четыре человека на то убогое жалованье швейцара, которое получал Губауэр!

— А какого характера были его дерзкие замыслы? — поинтересовалась одна несведущая ученица.

— Самые разнообразные, — ответил швейцар. — Для удобства рассмотрения мы подразделяем их на три группы: концепции экономического, политического и научного характера.

К сожалению, из-за недостатка времени пришлось из всего этого многообразия выхватить лишь кое-что наугад. Научная деятельность Губауэра еще ждет своего изучения; одно очевидно: идея космической ракеты приходила ему в голову задолго до изобретения ее русскими, равно как и мысль об использовании солнечной энергии. (Он имел в виду гигантские станиоловые мешки, в которых можно будет сохранять энергию Солнца примерно так же, как сейчас продавцы сохраняют горячими жареные каштаны.) Что же касается политических взглядов Губауэра, то письменных упоминаний об этом почти не сохранилось, а рассказы друзей и близких преданы забвению.

— Какая жалость! А в чем состояли эти взгляды? — спросила учительница. Ей пришлось прикрикнуть на девочек, чтобы они не болтали.

— Как известно, Губауэр был отважным борцом за мир. Однажды, к величайшему ужасу своей супруги, он погрозил кулаком маршировавшим по улице немецким войскам. С военной службы он дезертировал и жил по подложным документам; в витрине номер семь вы можете видеть удачно изготовленное командировочное предписание — подпись на нем подделана супругой Губауэра. Мужество Шандора Губауэра достойно преклонения. Однажды в конце войны, сидя (с фальшивыми документами в кармане) в саду одного ресторана, который находился под наблюдением сыщиков, Губауэр во всеуслышание заявил: «Дни Гитлера сочтены!» Многие посетители из-за соседних столиков даже оглянулись на него.

— Сыщики? — ужаснулась одна из девочек.

— К счастью, просто его знакомые. Но Губауэр был таким человеком, что не побоялся бы сказать то же самое даже в присутствии сыщиков.

Девочки содрогнулись. Затем перешли к следующей витрине, где стоял игрушечный паровозик.

— Это комбинированная копилка «Родине будь предан непоколебимо!» — пояснил швейцар с горестной улыбкой, как бы говорившей: вот что осталось от дерзновенных мечтаний возвышенной души — жалкая поделка, которую сам изобретатель считал не более, чем забавой... Отрицательное заключение Бюро патентов лежало тут же рядом.

— А что значит «комбинированная»? — поинтересовалась учительница.

— Если опустить в нее монету, механизм исполняет «Родине будь предан непоколебимо!».

Одна девочка опустила монету в паровозик. Они ждали, ждали, но так ничего и не услышали.

— Наверное, не действует, — сказал швейцар.

— Не имеет значения, — сказала учительница и пояснила: — Это изобретение учит не только бережливости, но и патриотическому образу мыслей.

— Что же, у него не нашлось покровителей? — спросила какая-то девочка.

— Ни одного. Губауэр так и состарился в одиночестве, никем не признанный.

— И ни один из его замыслов не был осуществлен?

— В этой стране? — махнул рукой швейцар. — Целая человеческая жизнь прошла впустую.

Все молчали, словно и на них пахнуло национальной трагедией.

— А это майор Гагарин! — указал швейцар на цветной портрет.

— Они были знакомы?

— К сожалению, нет.

— По чьей вине?

— Встреча не состоялась, — уклончиво сказал швейцар. Теперь оставалось осмотреть еще одну витрину.

— А это служебный проездной билет, по которому он ездил на работу... Шандор Губауэр жил скромно и уединенно, он не просил и не ждал для себя привилегий. Вот его завтрак: пол-литра молока, сто граммов чайной колбасы, хлеб.

Экскурсантки со всех сторон обошли молоко, колбасу, хлеб. У некоторых на глаза навернулись слезы.

Они поблагодарили швейцара, построились парами и двинулись к выходу. Через неделю школьники писали сочинение на тему: «Что я видела во время учебной экскурсии в Будапеште?» Молодежь, как известно, падка

на эффектные зрелища; девочки исписали целые страницы о церкви Матяша, о буфете самообслуживания, о национальном флаге на здании Парламента. А о мемориальной выставке Шандора Губауэра едва упомянули. Вот она, современная молодежь.

Но ничего. Когда-нибудь потом, лет через двадцать, тридцать... Лет через сорок... Тогда они вспомнят Губауэра!

IN MEMORIAM DR. K. H. G.

Нälderlin ist ihnen unbekannt? ¹ — поинтересовался профессор К.Х.Г., когда рыл яму, чтобы закопать дохлую лошадь.

— А кто это? — спросил нацистский охранник.

— Автор «Гипериона», — пояснил профессор К.Х.Г. Профессор очень любил просвещать лю д е й . — Крупнейший представитель немецкого романтизма. Ну а Гейне?

— Говори, кто они? — прикрикнул охранник.

— П о э т ы , — ответил профессор К . Х . Г . — Но ведь имя Шиллера вам знакомо?

— Знакомо, как ж е , — огрызнулся охранник.

— А Рильке?

— И этого з н а е м , — побагровел нацистский охранник и застрелил профессора К.Х.Г.

ЭКСТАЗ

Жена Лукача Коппа вот уже два дня как болела гриппом. На третий день в полдень в кабинете Лукача раздался телефонный звонок. Звонила какая-то Чете, не то Чеке, которая как оказалось, служила гардеробщицей в школе танцев, по соседству с демом Коппов. От нее-то и узнал Лукач, что жене его полегчало, но температура еще держится и потому сама она позвонить не может. Она просила передать через Чете, чтобы муж купил килограмм хлеба и двести граммов колбасы; больше ничего не надо — все в доме есть.

¹ Вы знаете Гельдерлина? (нем.).

Приятное волнение охватило Лукача. Ютка, жена его, еще ни разу не обращалась к нему с подобными просьбами. Она была, что называется образцовой хозяйкой, сама покупала, готовила, мыла посуду, стирала и убирала, ухаживала за двумя малышами и престарелой, часто прихврывающей свекровью. Когда Лукач в порыве великодушия предлагал помочь по хозяйству, она всегда отказывалась.

Итак, Лукач, которому с давних времен не приходилось заниматься покупками, почувствовал себя несколько взволнованным и начал строить планы. Как раз в этот день им выдавали зарплату, и он решил, что вместо колбасы купит ветчину, а вместо хлеба — булочки, калач или еще чего-нибудь повкуснее. После этого он направился в отдел калькуляции, где работал его друг.

— Скажи, пожалуйста, — поинтересовался он, — где можно купить ветчину?

Приятель изумленно уставился на него.

— В любом гастрономе. Вот здесь, например, у нас на углу почти всегда бывает.

— Бывает? — озабоченно переспросил Лукач и вернулся к себе.

«Если раздобыть ветчину не так-то легко, — подумал он, — тогда, пожалуй, не стоит и заходить в ближайший магазин. Лучше всего трамваем доехать до центра, купить там ветчину и оттуда — прямо домой». А поскольку Лукач не знал, когда закрываются магазины, он пошел к начальнику и, сославшись на нездоровье жены, отпрашился с работы на час раньше.

Он сошел в центре. Сразу же отыскал гастроном. И ко всему прочему такой красивый и сверкающий, что его охватило какое-то празднично-приподнятое настроение, словно он вступил под своды ярко освещенного храма.

«Уж здесь-то наверняка найдется ветчина», — обрадованно подумал он и, встав в очередь, увидел на прилавке поднос с нежно-розовой ветчиной, а на другом подносе — тонко нарезанную копченую колбасу. Он решил, что купит сто граммов ветчины и сто колбасы. Продавец все взвесил и спросил:

— Не желаете ли еще чего-нибудь?

— Спасибо, нет, — отозвался Лукач и быстро окинул взглядом выставленные продукты. — Скажите, а это что такое?

— Колбасная паста, — пояснил продавец.

Неизвестно почему, при этих словах у Лукача побежа-

ли слюнки. Вдобавок ко всему колбасная паста была упакована в тюбики, наподобие зубной пасты. Лукач сроду не пробовал колбасы, расфасованной в тюбики.

— Дайте один тюбики, — выговорил он хрипло.

— Сегодня у нас очень свежий эмментальский сыр, — сказал продавец.

Эта фраза ударила Лукача в самое сердце. Он обожал сыр, а эмментальский в особенности. Ютка знала про эту его слабость, но у них сыр не подавался к столу годами. Он никогда не упоминал о нем, полагая, что эмментальского сыра нет в продаже, но сейчас, когда он сам увидел в витрине разрезанные надвое гигантские сыры, величиною с мельничный жернов, внезапная досада охватила его, и он выпалил:

— И сыра тоже дайте, двести пятьдесят граммов.

Продавец отрезал и взвесил сыр. Тем временем у Лукача испарился гнев, уступив место раскаянию. Если он в угоду своей прихоти купил этот большой кусок сыра, то по справедливости и Ютке полагается какая-то награда.

— Что у вас есть из рыбы?

По совету продавца он взял две коробки норвежских сардин и две баночки судака в желе. Голова у него слегка кружилась, но вовсе не так, как при малокровии или морской болезни. Голова кружилась, как у человека, который влюблен, или радуется весне, или пропустил одну-две рюмки. Когда продавец, вполне уяснивший себе ситуацию, показал овальную банку паштета из гусиной печени с трюфелями, Лукач молча кивнул. Говорить он не мог.

Ему выписали чек. Он направился к кассе. И уже почти дошел до кассы, когда заметил на соседнем прилавке апельсины. Он судорожно глотнул и, пошатываясь, пошел к продавщице.

Коппы жили на строгом бюджете. Каждый форинт знал свое место, как цифры в ряду. Меню их было несколько однообразным, но Ютка умудрялась так вести хозяйство, что в последний день месяца их стол был разве что чуточку скромнее, чем в день зарплаты. Не требовалось быть прирожденным математиком, чтобы на чеке, зажатом в руке, прикинуть сумму и сравнить ее с тем, что положено по бюджету на день... Но Лукач не в состоянии был высчитывать. Кожа у него слегка зудела. Сладкое тепло волнами разливалось по телу. Он не думал о Ютке. Плевать он хотел на весь свет. Глаза его блестели, и,

словно в ритме воображаемого чардаша, он стал похлопывать себя по бедрам.

— Дайте еще и лимон, — распорядился он после того, как ему взвесили апельсины.

— А там у вас что такое, милочка? — обратился он к продавщице. — Ужне фиgili?

Он купил фиgi. И изюм. И свежемороженые персики, и малину. Он опьянел от покупок. Он напевал себе под нос нечто бравурное, пока продавцы взвешивали, упаковывали, подсчитывали. Потом купил зеленого лука. Молоденькую парниковую редиску. Он готов был скупить весь мир. Пританцовывая, он поплыл к кассе, и пожилую седую женщину в белом халате, которая отсчитывала ему сдачу с сотенных, он игриво ущипнул за щеку. У него набралось столько свертков, что пришлось взять такси.

Всю свою добычу он сложил в кухне. Теперь он уже не пел и не пританцовывал.

— Ты не забыл купить колбасы, дорогой? — спросила жена.

Ютка вышла на кухню, и, когда вернулась, лицо ее было очень бледным. Она тревожно посмотрела на мужа.

— Что с тобой, милый? — спросила она испуганно.

— Мне дурно, — проговорил Лукач.

Ютка больше ни о чем не спрашивала. Она постелила постель, раздела его, положила на лоб мокрое полотенце. Дала две таблетки аспирина. Она помнила, что в молодости он после больших возлияний всегда лечился таким испытанным способом.

Лукач погрузился в глубокий и тяжкий сон. На другой день он вышел на работу с сильной головной болью, с кругами под глазами. Все думали, что накануне он хватил лишнего, да и у него самого было такое ощущение, словно вчера он в кои-то веки разгулялся вовсю.

ТОРТ «НАПОЛЕОН»



Мой сын, паршивец, не хочет говорить. Ему скоро исполнится два года, а он даже «папа» произносит таким тоном, словно одаривает меня своей царственной милостью. Зато он прекрасно понимает все, что ему говорят, и даже сложные поручения выполняет играючи. «Пойди на кухню и скажи маме, что

мне надо уходить, пуста подает обед». Он идет на кухню, что-то мурлычет маме, и представьте себе — через две минуты обед на столе.

Больше всего меня раздражает в этой ситуации то, что не он усваивает наш язык, а мы — его. Медленно, но верно он приучил нас изъясняться на каком-то воровском жаргоне, где жестов и мимики больше, чем слов.

Если он что-нибудь ищет и потом вдруг находит, режущее слух «и-и-и» разносится далеко вокруг, оповещая мир о великой радости; если же ему не удается найти, то свое возмущение он выражает протяжным «не-е-э», словно по тарелке скребут ножом. Если ему захочется пить, он ковыляет к буфету, где в прошлом году, когда он болел, стоял подслащенный чай. С тех пор он повадился лазать туда за водой, и если находил питье, то похмыкиванием выражал свое удовлетворение.

И вот я решил — хватит! Вчера, когда мы остались дома вдвоем и уселись на ковре друг против друга, я начал:

— А теперь, сынок, давай потолкуем.

— Гм, г м , — дружелюбно отозвался он и устремил на меня доверчивый взгляд.

— Э-э, нет, сын о к , — решительно возразил я. — На этот раз мы будем говорить по-человечески.

Я помахал перед ним пакетом, на котором красовалась надпись «Кондитерская», после чего, как я заметил, его лицо стало еще более приветливым, и это заронило во мне подозрение, что он умеет не только говорить, но и читать. Я извлек из упаковки торт «наполеон» и перочинным ножом разрезал его на маленькие кусочки.

По роду своей деятельности я знаю, сколь богат и прекрасен венгерский язык.

Я протянул первый кусочек:

— Ну, сынок, теперь скажи: торт.

Он раскрыл и снова закрыл рот, давая понять, что именно туда я могу положить торт. Но я положил кусок себе в рот и принялся уничтожать его, аппетитно похрустывая.

— Не-е-э! — заверещал он возмущенно.

Я показал ему второй кусок.

— Скажи как следует: торт.

Он не проронил ни звука. Я съел и этот кусок. Вынул третий. Когда я проглотил и его, сын сказал «бб-бе» — нечто такое, чего он еще никогда не говорил и что,

по всей вероятности, означало: подлый вымогатель. Четвертый и пятый куски исчезли один за другим, а когда я взялся за шестой, сын вдруг сказал:

— Тогт.

Наступил драматический момент. Если я сейчас отдам ему лакомство, то через двадцать лет невропатологи будут вынуждены гипнозом лечить его от картавости. Может быть, я жестокий отец, но я съел и шестой кусок.

— Только графы имеют право картавить, сынок. А нам с тобой не положено, потому что твой отец всего-навсего простой писатель, а не граф.

Сын весело улыбнулся и повторил:

— Граф.

Он прекрасно произнес это слово. «Р» хрустнуло, как скорлупа ореха. Я знал одного немолодого писателя, который согласился бы года на два пойти в дворовые псы, лишь бы научиться такому «р». Вероятно, ему раньше времени отдали торт.

На этот раз отдал и я. Он жевал медленно и с явной гордостью, очевидно сознавая, что это первый в жизни заработанный им кусок. Я показал ему следующий:

— Скажи: сахар.

Произнести «р» в конце слова — это уже работа для мужчины. Он произнес. Потом сказал: рыба, груша, роза, ручка, кефир... Наверное, с полчаса мы твердили всякие двухсложные слова; я говорил, он повторял. И вот тут я зарвался.

— Сынок, — потребовала, — скажи: на дворе трава, на траве дрова.

Он жалобно посмотрел на мой всемогущий рот и попытался было воспроизвести эту фразу своим крохотным, розовым, нежным, как лепесток земляники, ротиком. Но слова не хотели появляться на свет, они где-то застряли, перепутались, и вышла лишь какая-то бесформенная мешанина. Он опустил голову и заплакал. А мне пришло на ум нечто такое, о чем я давно не задумывался, что считал прочно забытым и никогда бы не воскресил в своей памяти, если бы не увидел, как плачет мой сын. Я подумал, как далеко не сразу, ценой каких мук и страданий нам достается наше умение. Мне стало стыдно, я высморкался, отдал ему остаток торта и вышел из комнаты. Минут через десять я осторожно заглянул в дверь: сын по-прежнему сидел на полу и, всхлипывая, уничтожал один кусок за другим.

В ГОСПИТАЛЕ

В половине второго он закончил последнюю операцию. Умылся, переоделся и уже застегивал мундир, когда постучала операционная сестра.

— Вас дожидается этот верзила майор. Муж той больной, из двадцать седьмой палаты.

Рука врача-полковника замерла на последней пуговице. В нерешительности глядел он на брошенный в корзину смятый, забрызганный кровью белый халат.

— Скажите доктору Горове.

— Вы же сами отпустили его в двенадцать.

— А, черт!

К смерти можно привыкнуть. Можно изучить все ее уловки: вздох, которым, по сути, обрывается дыхание, судорога, когда сердце делает последний толчок. Смерть, с точки зрения врача, — обыденный факт: она как бы за пределами его чувств. К ней можно не только привыкнуть, она может даже наскучить; но к скорби нельзя привыкнуть, она не оставляет врача равнодушным.

Родственников всегда принимал его адъютант, старший лейтенант медицинской службы Горове. Горове настоящий дипломат: терпеливый, изворотливый, хладнокровный, не такой чувствительный и вспыльчивый, как он сам. Какая жалость, что он отпустил Горове!

— Пусть войдет, — сказал врач операционной сестре.

Майор вошел, откозырял. Он ни о чем не спрашивал и только смотрел на врача. На огромном туловище сидела на редкость маленькая голова, на маленьком лице — поразительно крошечные глазки. Словно какому-то сказочному гиганту приставили голову куклы. Врача очень смущали эти его глаза-бусинки.

— Вы видели свою жену? — спросил он.

— Я только что от нее, — ответил майор.

— Вы с ней говорили?

— Всего несколько слов.

— Как она себя чувствует?

— Она говорит, хорошо.

Настала тишина. Майор не поинтересовался, удачно ли прошла операция. Он стоял, по-военному вытянув-

шись, неподвижно, не торопил врача. Он смотрел на него, как смотрят на старшего по званию, будто ждал не медицинского заключения, а военного приказа, ясного, четкого распоряжения, которое надо выполнить быстро и точно... Выжидание повергло врача в еще большую растерянность. Он кашлянул, затем снял очки, словно положение могло облегчить то, что теперь он видел майора как бы в тумане.

— К сожалению, должен вам сообщить, — заговорил он, — что операция оказалась неудачной.

Майор не ответил, лишь резко кивнул головой.

— Уже вся печень захвачена метастазами, — после некоторой паузы продолжал врач. — Мы только вскрыли и снова зашили брюшную полость.

Майор снова кивнул. От крупного тела кровь прилила к маленькой голове.

— Осталось приблизительно три-четыре недели, — быстро добавил врач.

Майор и на этот раз кивнул, будто кукла, которая только и умеет, что кивать. Он сдерживался, но руки его медленно сжались в кулаки, и от этого неестественно побелели, словно оттуда он выжал всю кровь себе в голову.

— Мне жаль ее от всей души, — сказал врач. — Давно у нас не было такой кроткой и терпеливой больной.

Майор нахмурил лоб.

— Это точно, — сказал он после некоторого размышления, будто впервые узнал это о своей жене, — она очень кроткая.

— Мы ни разу не слышали, чтобы она жаловалась.

Майор снова задумался.

— Правда, — усердно закивал он опять, будто и это услышал впервые. — Дома она тоже никогда не жаловалась.

Снова наступила пауза. Врач ждал, но майор ни о чем не спрашивал. И опять ему пришлось нарушить молчание.

— Ей мы сказали, что операция прошла удачно.

— Понятно, — отозвался майор.

— С ней надо обращаться так же, как прежде, — добавил врач. — Стоит только больным почувствовать, что к ним проявляют необычную нежность, как они начинают подозревать худшее.

— Будет сделано, — сказал майор.

Опять наступило молчание,

— Желаете еще что-нибудь узнать? — спросил врач.

— Все с н о , — сказал майор.

— До свидания, — сказал врач.

— До свидания.

Они обменялись рукопожатием. Врач неловко пробормотал еще что-то, похожее на выражение сочувствия. Но майор ничего не разобрал из его слов.

— Что изволили сказать? — спросил он.

— Ничего, — ответил врач.

Когда майор вышел, он с облегчением вздохнул. Надев халат, врач заглянул к одному тяжелобольному, которому прописал переливание крови. Затем, уже возвращаясь, он на мгновение задержался перед двадцать седьмой палатой. Оттуда доносилась дикая брань. Врач сразу же узнал голос майора. Он позвал сестру.

— Ну-ка вызовите сюда господина майора.

Сестра приоткрыла дверь. Голос майора вырвался в коридор.

— Ах ты, истеричка паршивая, — кричал он, — ты чего тут нюни распустила!

Потом наступила тишина. Потом вышла сестра. Потом вышел майор с перекошенным багровым лицом. Он снова встал перед полковником навытяжку.

— Свинья вы последняя, — набросился на него врач.

Вся эта злополучная сцена между двумя офицерами разыгралась прямо в коридоре на глазах у рядовых и штатских. Какая жалость, что он отпустил Горове! Тот никогда не теряет хладнокровия.

— Как вы обращаетесь с этой несчастной, скотина бездушная! — кричал врач на майора.

— Как обычно, — испуганно ответил майор. — Вы сами так приказали...

Врач усталился на майора. Возмущение так и рвалось из него, но в этот момент он заметил, что майор плачет. Из кукольных глаз-бусинок медленно текли слезы, огромное тело вздрагивало и сотрясалось, словно в нем что-то оборвалось.

— Ах т а к , — сказал врач. — Тогда прошу прощения.

Он поднес руку к козырьку и заторопился прочь.

ПОСТОЯННАЯ ПОСЕТИТЕЛЬНИЦА



ожалуйста, не обижайтесь, но сегодня я никак не могу прочесть вам все меню. Сами видите, что творится, час «пик», ну прямо голова идет кругом. Присядьте вот сюда, здесь как раз освободилось место, а вы, молодой человек, пока я не принесла вам шницель по-венски, ознакомьте, пожалуйста, даму со всем меню, кроме супов. Супы ее не интересуют.

— Пожалуйста. Рыбные блюда. Есть жареный карп. Карп в сухарях с картофельным салатом.

— Откровенно говоря, я не очень люблю рыбу, хотя это заведение славится именно тем, что покупает карпа в речных хозяйствах, а не из прудов. Впрочем, все хвалят здешнюю кухню, я не выношу только, когда меню пишут от руки.

— Так, значит, рыбные блюда не читать?

— О нет, вы меня не так поняли. Я ничего не имею против рыбы, я только терпеть не могу, когда меню написано от руки, потому что плохо разбираю почерк, да еще добавок чернила у них прескверные, все буквы расплываются.

— Есть две ухи. С костями и без костей. Заказать вам?

— Зачем? И потом, что вы так кричите? Я очень не люблю, когда кричат.

— Я думал, вы плохо слышите. Ну что ж, перейдем к мясным блюдам. Токань из говядины с перцем. Крокеты с зеленым горошком.

— Со слухом у меня все в порядке, да и вижу я хорошо, вот только с меню, когда оно написано от руки, плохо я справляюсь. С пенсии нельзя позволить себе одеться элегантно, а в дорогих ресторанах, где меню печатают на машинке, косо смотрят на посетителей в поношенной одежде.

— Шницель из говядины под соусом из маринада. Наверное, надо читать и цены? Двенадцать двадцать.

— Ах, цены меня не интересуют, хотя пять месяцев назад я была вынуждена задолжать одной женщине половину своей пенсии, когда стукнулась коленом об угол стола и три сухожилия воспалились... Между прочим, эта женщина теперь подала на меня в суд.

— Н-да, из мясных блюд мы уже немало просмотрели, а конца пока не видно.

— Поглядите, нет ли там сегодня биточков, что-то их вот уже какую неделю нет в меню, да и не только здесь, а по всей округе,

— А сегодня есть. Биточки с картофельным пюре. Можно заказать?

— Что вы! Заказать! Впрочем, не поймите превратно то, что я говорила о дорогих ресторанах. Мне совсем не хочется там бывать, потому что в этих скромных кафе готовят с большей фантазией. Здесь, например, даже вырезка с грибами бывает.

— И сейчас есть. Заказать?

— Да нет, что вы! По счастью, я попала к хорошему адвокату, и он растолковал мне, что ни персональную пенсию, ни какую другую отсудить нельзя.

— Так читать мне дальше или не читать? Легкие с. клецками. Почки. Мозги. Шпинат с глазуньей.

— Вот только мне хотелось бы знать, почему шпинат с глазуньей всегда помещают среди мясных блюд? Но вы, я вижу, теряете терпение. Тогда почитайте только, что у них есть из печеного, сыры не надо.

— Яблочный пирог. Суфле из булочек. Был рулет по-тирольски, но кончился...

— Благодарю за одолжение. Нынче принято ругать молодежь — и равнодушная-де она, и бесчувственная, а я только одно заметила: у всех не хватает терпения. Вот и вы, молодой человек, читали так увлекательно, а все-таки чувствовалось, что и вы спешите, спешите... Еще раз благодарю. До свидания.

— Вы уходите?.. Знаете, девушка, эта ваша посетительница вдруг взяла и ушла, хотя я прочитал ей все меню.

— И сыры?

— Нет, сыры нет.

— Я обычно предупреждаю, что не только супы, но и сыры ей читать не надо, но она всегда приходит в часы «пик», когда у меня голова идет кругом... Пожалуйста, вот вам шницель по-венски...

ХОРОШАЯ СМЕРТЬ



Дядюшка Пали умер от хронического порока сердца. Он прожил всего три недели после своего семьдесят первого дня рождения. И даже в эти годы он работал, правда уже не у станка, а только «в качестве инструктора», как он говорил. В семьдесят один год старик вставал в половине пятого, садился в трамвай, кошмарный утренний трамвай, похожий скорее на виноградный пресс, и ехал через весь город к центру, а затем снова на окраину в Уйпешт, где он работал. «И зачем это нужно в ваши-то годы работать, дядя Пали?» — «А вы разве не будете работать? И вы тоже будете. На то мы и люди».

Я знаю его лет пять. Началось с того, что я написал о нем репортаж: о его первом рационализаторском предложении, каком, сейчас уж не помню. С тех пор я считался в семье у дяди Пали кем-то вроде дальнего родственника; я не терял из виду его, а он — меня. Иногда мы встречались. В таких случаях он говорил: «Мы слушали вас по радио». — «В самом деле? Ну и как вам понравилось?» — «Мы узнали вас по голосу», — говорил он. А понравилась ему моя вещь или нет, об этом он никогда не высказывался. Он даже не понимал вопроса. Вероятнее всего, он полагал, что моя работа такая же, как и его, — из моих рук тоже не выходит ни одной испорченной, бракованной детали. В этом он, к сожалению, ошибался.

Его дочь зашла известить меня, что он умер. Вечером я на трамвае отправился к ним. Он лежал в постели со сложенными руками; на маленьком столике в ногах, на бархатных подушечках, покоились три его награды. Дочь вышла разогреть ужин. Мы вдвоем стояли у постели умершего — его зять и я. Он не любил своего зятя. Он считал его плохим мужем и плохим слесарем, но они не ссорились, потому что старик никогда ни с кем не ссорился. Слесарь стоял позади меня и тоже смотрел на покойного с той особой почтительностью, с какой полагается смотреть на умерших в присутствии посторонних. Лицо дяди Пали не изменилось. Оно было мраморно-белое и умиротворенное, с закрытыми глазами, как бы обращенными в себя, по обыкновению усопших. Может быть, он составлял план обучения новичков в своем цехе на том свете. А вот на что стоило смотреть, так это на его руки.

Я не мог оторвать от них глаз. Руки дяди Пали, казалось, выросли. Они стали еще больше, чем были, одна подле другой, покоились они на впалом животе. Это были огромные руки, в них чувствовалась крупная кость; на кисти, покрытой желтоватыми пятнами, торчало несколько рыжих волосков. Пальцы у него были мозолистые, узловатые, корявые, как сучья; кончики пальцев расплюсчаны, и на них синели плоские, широкие, толстые ногти. Под ногтем указательного пальца на правой руке виднелся маленький черный кровоподтек... Я подумал: сколько всего создали эти руки. Дядя Пали пятьдесят три года трудился на заводе; на свете работают тысячи и тысячи станков, вертятся сотни и сотни осей, цилиндров и втулок, которые он отшлифовал до блеска, точно по чертежу и размерам. Он завершил дело своей жизни. Каждую деталь, которая прошла через его руки, он добросовестно обработал и передал дальше. На земле после него не осталось брака. Плоды его труда, как железнодорожные рельсы, могут несколько раз опоясать земной шар. Я не испытываю сожаления, не чувствую себя потрясенным, слезы не щиплют глаза. словно передо мной завершённое произведение или фраза, в конце которой стоит точка.

Я не испытываю жалости. Я думаю о самом себе — в присутствии мертвых я не могу думать ни о ком другом, кроме как о себе. Я хотел бы кончить жизнь, как ту фразу, в конце которой стоит точка; я хотел бы, чтобы рядом со мной тоже какое-то время постоял кто-то, без сострадания, без жалости и умиления, с легкой завистью в сердце.

АВТОГРАФЫ ОДНОГО ВЕНГЕРСКОГО ПИСАТЕЛЯ

На улице Тэ.Дэ.Вэ. в доме № 7 недавно открылся Мемориальный музей известного писателя Тэ.Дэ. Вэ. Мы бродим по просторным залам, любуемся оставленной великим реалистом коллекцией авто-ручек, кофеварок и билетов разных партий. На стендах, как водится, выставлены книги с автографами друзьям и любимым женщинам. Наиболее яркие из этих посвящений мы и приводим ниже.

1

Маме и папе

от преданного сына.

2
Элле.

3
Белле,

4
Каролине.

5
Лине.

6
Мышке.

7
Киске.

8
Криштофу Хамара, министерскому советнику.
Патриотически преданный
Тэ.Дэ.Вэ.

9
Морицу Блюмфельду Биаторбади, великому гуманисту,
генеральному директору треста резиновых изделий, шед-
рому покровителю писателей.
Тэ.Дойтч Вэ.

10
Супруге Криштофа Хамара, покровительнице Миссии
в Центральной Родезии.
Жажущий избавления
Тэ.Дэ.Вэ.

11
Корнелю Ошторовичу, даровитому критику, автору
знаменитого эссе «Проза Геббельса»!
Тэ.Дэ.Вэ.

12
Этели Гро.

С почтением
Ваш *Тэ.Дэ.Вэ.*

Этели.

Тэ.

Этушке в память о пламенных встречах.

Дэчик-Вэчик.

Кисанька! В другой раз не кусайся!

Котик.

(Последняя надпись стерта, а вместо нее вписано чернилами:

13

Д-ру Аладару Берени, за гениальный бракоразводный процесс.)

14

Господину Тивадару Тренка, генерал-майору, командующему дивизией.

Из родного далека, страдая тяжелой язвой толстой кишки, я шлю привет офицерам, унтер-офицерам и рядовому составу славной дивизии, стучащейся в ворота Москвы, Вольноопределяющийся *Тэ.Дэ.Вэ.*

15

Супруге Криштофа Хамара.
IV р-н, Комиссия политической проверки.

Мир — дружба! *Тэ.Дэ.Вэ.*

16

Корнелю Ошторовичу, автору труда «Признаки уклона в ранних произведениях Каутского».

17

Дядюшке Морицу Блюмфельду (зоопарк)
в знак благодарности за чудесных щенков — *Тэ.Дэ.Вэ.*

18

Криштофу Хамара

Венгерский национальный комитет в Канаде.
С приветом! *Тэ.Дэ.Вэ.*

19

Супруге Криштофа Хамара.

Городские собачьи бани.

От имени моей собачки — *Тэ.Дэ.Вэ.*

20

Корнелю Ошторовичу, автору смелого исследования «Неправильное употребление некоторых глаголов-связок в прозе Сталина».

21

Кисанька, из всех ты одна моя настоящая любовь! Простишь ли ты своего бедного котика?

22

Д-ру Петеру Хаймаши, видному урологу,
от благодарного пациента.

23

Д-ру Палу Хаймаши, видному кардиологу,
от благодарного пациента.

24

Корнелю Ошторовичу.

Высылаю вам изданную посмертно книгу Тэ.Дэ.Вэ. в знак благодарности за то, что вы в своей прощальной речи так ярко обрисовали неподкупный характер моего мужа, послуживший причиной тяжких преследований.

Вдова Тэ.Дэ.Вэ., уржд. Этель Гро.

Примечание

Вышеприведенная коллекция является далеко не полной. Нам известно, что другие не менее ценные автографы хранятся в общественных библиотеках и у частных лиц. Просьба ко всем читателям в случае их обнаружения известить дирекцию музея Тэ.Дэ.Вэ.

ДОТОННЫЙ ЧИТАТЕЛЬ



удьте любезны Михая Славика.

— Сейчас не могу его позвать, но если вы попали в аварию, то скажу заранее: мы сможем принять машину только в следующем месяце.

— Он сам звонил мне.

— А-а... Так бы сразу и сказали, что вы его знакомый! Что у вас с машиной?

— Машина здесь ни при чем. Я только что пришел домой и увидел на столе записку: Михай Славик и номер телефона.

— Тогда позвоните, пожалуйста, через двадцать минут, сейчас в слесарном цехе обеденный перерыв.

— Будьте любезны Михая Славика.

— Сейчас позову.

— Михай Славик слушает.

— Вы просили меня позвонить?

— Да, я решил вас побеспокоить. Хотел спросить кое о чем.

— Пожалуйста.

— Ведь это вы переводили роман Трумэна Капоте?

— Да, «Другие голоса, другие комнаты» перевел я. Вы читали?

— Я прочел, и мне очень понравилось, но у меня есть одно замечание. Мне хотелось бы узнать, почему в этом романе негры говорят не так, как все другие люди.

— Не так, как другие?

— Они говорят, как иностранцы. Я хотел бы узнать, почему это, вот и позвонил.

— Я думаю, вам показалось. Видите ли, я переводил эту книгу три года назад, сейчас кое-что уже позабыл, но помнится, есть там одна служанка, у нее шея порезана. Возможно, вы ее имеете в виду?

— И ее тоже.

— Ну, тогда все в порядке. Я совершенно точно помню, что эта девушка и в оригинале говорит на ломаном английском языке.

— Что значит «на ломаном»?

— Ломаный значит ломаный. А как по-вашему?

— По-моему, не совсем так. «Ломано» говорят на чужом языке, которого не знают как следует. Можно говорить «ломано» и на родном языке, если, например, человек неграмотный, необразованный или малоразвитый. Но это разные вещи.

— Ну и как, вы считаете, говорит эта негритянка?

— Она говорит, как иностранка, которая плохо знает английский. Именно это мне бросилось в глаза, потому я и решил вам позвонить. Ведь негры живут в Америке,

все кругом говорят по-английски, так что и родной язык у них тоже, выходит, английский.

— Мне попадались цыгане, которые всю жизнь живут в Венгрии и все же говорят на ломаном венгерском, как иностранцы.

— Это хорошо звучит, но ничего не доказывает. У цыган есть свой язык, а у негров — нет.

— Признаю, здесь вы правы. Не знаю даже, что вам возразить. Прошу поверить мне на слово, я всегда очень точно перевожу, до скрупулезности. Так что вы смело можете мне поверить: эта девушка и в оригинале говорит по-английски неправильно. К тому же редакторы све-ряют перевод слово в слово.

— И редакторы могут ошибаться. Посмотрите «Гека Финна»! Если не ошибаюсь, перевод Каринти. В «Геккльберри Финне» негры говорят по-английски, как примитивные и неграмотные люди, но, во всяком случае, не как иностранцы. Или, может быть, с точки зрения переводчи-ка, это неважно?

— Напротив, очень важно, но «Геккльберри Финна» переводил не я. К тому же этот роман написан сто лет назад.

— Простите, но это лишь подтверждает мою правоту. Через сто лет негры должны говорить по-английски лучше, а не хуже.

— Пожалуй, и здесь вы правы,

— Надеюсь, я вас не обидел?

— Что вы. Напротив, стоит подумать над тем, что вы сказали.

— К сожалению, я не знаю английского и не могу прочесть в оригинале, но мне как-то бросились в глаза эти диалоги. Я потому и позвонил вам, что хотелось по-нять все как следует.

— И очень хорошо сделали, что позвонили.

— Простите, я вынужден прервать разговор: заведующий гаражом стучит в окно. А вообще-то перевод очень хороший.

— До свидания.

— Всего доброго.

ПЕСНЯ



очинителя песен звали Ене Янасом.

Судьба свела нас после прорыва русских, потому что его батареею разбили, а я под Николаевкой потерял свою часть. Мы прошли вместе километров триста, изредка подсаживаясь на попутный транспорт, а больше пешком, по снегу, по льду, всегда под огнем противника, пока наконец около Белгорода его не скосило короткой очередью.

До той поры я не представлял, как сочиняют песни. Кто бы мог подумать, что это такое простое дело! Из Янаса песни так и перли, лились, били струей, как родник из-под земли. Что бы он ни увидел, что бы ни услышал — все моментально становилось песней, со словами, рифмами, мелодией. Оставалось только придумать название.

В песню попал жестяной бидон с повидлом, который мы откопали из-под развалин разбитого снарядами склада. Встретился нам какой-то мост, который, можно сказать, прямо у нас под носом взорвали партизаны. А когда мы перебирались через реку под разрушенным мостом, по льдинам, Ене Янас уже напевал:

Старый деревянный мост прогнул в воде.
Господи, хоть ты бы мне помог в беде.
Как же мне добраться к Аннушке моей.
Переплыть стремнину с тысячью смертей?

Я все допытывался, как это у него получается. А он говорил, что и сам не знает. Я выспрашивал, сколько песен он сочинил. И этого он не знал. Может, три тысячи, а может, четыре...

Уже показался Белгород, когда начал падать снег. Я надвинул поглубже ушанку, но все равно слышал, как напевает Янас:

Покрывает землю белой пеленой,
Слышу, мчатся сани, может быть, за мной.
Кружись, кружись, снежинка...

Послышалось пять щелчков. Пришел конец Янасу, осталась неоконченной песня.

Иногда она приходит мне на память. Я пытаюсь ее продолжить. Ломаю голову, подбираю рифму к слову «сне-

жинка». Но напрасно. Каждый из нас умеет делать что-нибудь такое, что после него не способен завершить никто другой. Так уж оно повелось.

ДОМОЙ

Девочке едва исполнилось четыре года, и, конечно, воспоминания ее были расплывчаты, но мать, чтобы довести до сознания ребенка грядущие перемены, подвела дочку к ограде из колючей проволоки и издали показала ей эшелон.

— Что же ты даже не радуешься? Этот поезд повезет нас домой.

— И что тогда будет?

— Тогда мы вернемся домой.

— А что значит «домой»? — спросила девочка.

— Это там, где мы жили раньше.

— А что там есть?

— Помнишь своего мишку? Может, и куклы твои целы.

— Мама, — спросила девочка, — а дома тоже будут немецкие охранники?

— Там — нет.

— Значит, оттуда можно убежать?

ШОФЕР

В девять часов утра поезд подошел к поврежденному зданию Восточного вокзала. Паровозный дым, проникнув меж обгорелых балок вокзального купола, вырвался на свободу, исчезнув в сумеречном, покрытом копотью зимнем небе.

Я не чувствовал себя полностью свободным человеком — наполовину все еще был заключенным. Я не решался оглянуться по сторонам и вздохнуть всей грудью, стоя на ступеньках главного входа в своих живописных лохмотьях, держа узелок, в котором я привез домой рукописи десяти рассказов, драмы, работы по социологии и остатки своих пайков мыла, накопленных за несколько лет, приблизительно полтора килограмма мелко нарезан-

ных столбиков мыла толщиной не больше мизинца. Пока рукописи не найдут издателя, я рассчитывал с помощью этих обмылков начать новую жизнь.

Прохожие ощупывали меня взглядами, а многие, не удержавшись, оглядывались. Моя одежда даже для послевоенной бутафории выглядела слишком уж романтической; обыватели Пешта терялись, не зная, как ко мне отнестись.

Газетчик лишь издали помахал мне своими газетами, какая-то молоденькая девушка, спускавшаяся по лестнице с велосипедом, описала большой круг, чтобы обойти меня. Такovy были первые минуты моего возвращения; на площади битком набитый сорок шестой трамвай дал звонок и тронулся. Я сошел с вокзальных ступенек, сел в частное такси, назвал шоферу адрес. И добавил, что денег у меня нет и что ему придется подождать у подъезда, пока я поднимусь к родственникам за деньгами; в залог я оставляю в машине свою котомку. Он кивнул.

— Сколько вы там пробыли? — спросил он.

— Четыре с половиной года.

— У вас, что же, и семья есть? — поинтересовался шофер. Я сказал: есть.

— Ничего, — заметил он, — все равно можем немного поездить по городу.

На это я возразил, что предпочел бы поскорее увидеть семью, но шофер ответил, что у него пока еще нет таксометра, за десять километров так или иначе платить придется, так что уж лучше совершить небольшую экскурсию.

На особенно разрушенных улицах он замедлял ход, в некоторых местах, как, например, у дома на площади Кальвина, куда попала бомба, останавливался. Он не пускался в подробные объяснения.

— Взгляните-ка! — Он показал на закопченную капитальную стену, где каким-то чудом уцелели белые кафельные плитки и прилепившаяся к ним ванна. Мы петляли по узким улочкам, попадались руины, которые он особенно близко принимал к сердцу.

— Что вы на это скажете? — спрашивал он и в конце концов, убедившись, что вид города произвел на меня должное впечатление, повернул к дому.

— Наверное, и мама у вас жива? — мягко выпрашивал он.

Я сказал: да,
— Позвольте поинтересоваться, и сестры есть?

Я сказал: одна сестра.

— Сию минуту приедем, — сказал он и спросил, нельзя ли ему подняться вместе со мной.

Зачем же, спросил я. Ведь я говорил, что мой узелок останется в машине, а в нем много мыла, и ему нечего бояться, что я скроюсь, не расплатившись. Да не потому, сказал шофер. Он и в мыслях не держал, что я сбегу от него. Я пойду вперед, а он не торопясь подыметя за мной и заодно узелок поднесет... Я сказал: к чему это, узелок я и сам дотащу. Он заерзал на сиденье, покопсил ся из-под картуза в одну сторону, в другую и с неловкой усмешкой в уголке рта проговорил:

— Видите ли, ужасно хочется поглядеть, как женщины плачут от радости.

И он в самом деле поднялся вместе со мной наверх и молча стоял в сторонке среди всей этой суматохи, восклицаний и поцелуев, стоял скромно, словно только что спас кому-то жизнь. Я сильно подозреваю, что мои родные и его тоже обнимали и целовали, в полной уверенности, что это мой товарищ по плену. Все ужасно волновались, не продрог ли я, и тут же влили в меня несколько рюмок коньяку, ибо в подобных случаях обычно бросаются спасать человека от испытаний, выпавших на его долю за последние полчаса. От коньяку не отказался и он, чокнувшись со всеми родственниками, все с той же неловкой усмешкой в уголке рта; потом его заставили съесть несколько штук орехового печенья, и, когда дошел черед до оплаты, он не взял денег. Это он еще у нас в долгу, сказал шофер, уж сколько встреч он перевидал, но ни одна не проходила так ладно, так сердечно, как наша.

ЗЕМЛЯКИ

Корреспондент вскарабкался на леса, осторожно пробалансировал по качающейся доске и оттуда сделал несколько снимков. Так Габор Бодя оказался на переднем плане, а позади него хорошо был виден котлован и в нем вся бригада и транспортеры.

Корреспондент был очень молодой. Очень проворный. Очень старательный. Перо в его руке летало так, словно он в нетерпении строчил по воздуху.

— Итак, я слушаю, — сказал он, спустившись с лесов. — Теперь можно писать не только о хорошем. Пострадавшего увезла карета «скорой помощи»?

— Его просто перевязали, — сказал Бодя. — А потом он пошел с нами в общежитие.

— Пожалуй, это будет даже не репортаж, — размышлял вслух корреспондент. — Напишу-ка я о вас радиопьесу... Так с чего началась драка?

Бодя, пока его фотографировали, снял свою засаленную шляпу. Теперь он ее снова напялил и заглянул в котлован.

— Кое-кому стала не нравиться общая касса, — сказал он.

— Что это за общая касса?

— Мы поровну делим заработки.

— Да это же неправильно, — возразил корреспондент.

— Для нас правильно, — сказал Бодя. — Ведь мы земляки, из одной местности.

— Как это? — удивился журналист. — И все вы одинаково работаете?

— Да почти, — сказал Бодя.

— Разве нет среди вас более слабых, неопытных?

— Есть и такие.

— Кто, к примеру?

Бодя заглянул в котлован. Теперь землекопы вывозили тачками землю с самого нижнего слоя.

— Так прямо сказать нельзя, — ответил он.

— А кто самый сильный, тоже нельзя сказать? — Корреспондент был явно недоволен. — Вот уж ему-то, мне кажется, определенно не везет.

Бодя сверху вниз взглянул на корреспондента. Землекоп был видный, красивый парень, весь из мускулов и сухожилий, как ствол пальмы. Такой богатырь, казалось, мог бы остановиться на ходу пассажирский экспресс.

— Сила — это не важно, — сказал он.

— А что же тогда важно?

— То, что все мы одинаково, с охотой работаем. Если видим в ком желание, тому сами даем работу по силам. А в ком нет желания работать сообща, может уходить, мы не держим.

— И находились такие?

— Один.

— Тоже ваш земляк?

— Да.

— Как его звали?
 — Уж и не помню.
 — Вы ничего не помните! — взорвался корреспондент. — И о той драке, наверное, тоже забыли?
 У Боди на лоб набежали морщины.
 — Об этом нет.
 — Ну и кто был зачинщиком? — выспрашивал корреспондент. — Или опять забыли?
 Бодя снова заглянул в котлован.
 — Зачем об этом писать? — спросил он.
 — Вот-вот, вместо того чтобы радоваться, что теперь и о таких вещах писать можно, — возмутился корреспондент.
 — Радоваться-то я радуюсь, — сказал Бодя. — Да ведь только мы все — земляки. Все честные, трудолюбивые, все землекопы. Вместе живем в общежитии, вместе едим, поровну делим заработки...
 Корреспондент перебил его. Перо забегало еще быстрее, словно теперь он не писал, а стенографировал.
 — Это я уже слышал, — сказал он. — Так что, выходит, это не вы подрались в кафе?
 — Ну, мы, — сказал Бодя.
 — Не вы вызывали «скорую помощь»?
 — Ну, мы.
 — И не вы давали показания в милиции?
 — Ну, мы, — сказал Бодя.
 — А куда девался этот тип?
 — Перешел в другую бригаду, — сказал Бодя.
 — Тогда почему же вы не называете его имени?
 — Потому что он вернулся обратно, — сказал Бодя.
 — Вернулся? — уставился на него корреспондент. — Ну так покажите мне его.
 — Отсюда его не очень-то хорошо видно, — сказал Бодя и заглянул в котлован, — сейчас он уже без повязки.

ЧЕЛОВЕКУ НУЖНО ТЕПЛО

Утренний обход заканчивался, и, уже выходя из палаты, доктор Гроох заметил, что один из больных усиленно машет ему.

Он подошел к постели.

— Простите, пожалуйста, господин доктор, что я держал в а с, — оправдывался больной, за семь недель, про-

веденных в больницу, волосы у него отросли до самых плеч. От этого он стал похож на библейского апостола, тем более что у него были чистые, небесно-голубые глаза и аккуратнейший нос, напоминающий пробку от шампанского.

— Мне только хотелось полюбопытствовать, какое отопление у господина доктора.

— Ведь вы как будто печник, дядюшка Крейбих? — спросил врач.

— Он самый. Так что, господин доктор, есть у вас изразцовая печь?

Доктор Гроох не мог сразу ответить, следовало подумать. Во-первых, потому что стояло лето, а в жару мало кто помнит о печке. Во-вторых, он был из людей того склада, которые не слишком привязаны к благам цивилизации. Он легко переносил неудобства, не был чувствителен к холоду, ел что придется и ничуть не заботился о благоустройстве своего жилища. В квартире его не водилось ковров, не висело картин, не было даже заваливающего горшка с кактусом. Да что там, даже пристрастия к какому-либо сорту сигарет он не испытывал: какие увидит в табачном киоске, те и покупает.

— Нет, дядюшка Крейбих. У меня самая обычная железная печка.

Глаза у печника загорелись.

— А что бы вы сказали, господин доктор, о довоенной термококсовой?

— Понятия не имею, что это такое.

У дядюшки Крейбиха от волнения зашевелились большие узловатые пальцы на ногах.

— Вы ни разу не видели термококсовую печь?

— Ни разу.

Дядюшка Крейбих, которому Гроох удалил полтора метра тонких кишок, пролежал в больнице еще три недели. За это время он сломил или, выражаясь точнее, словно жерновами перемолол сопротивление доктора. Но вовсе не доводами. Когда доктор Гроох наконец-то заказал себе печь, он все еще был уверен, что попусту растратил деньги на абсолютно ненужную вещь. Дядюшка Крейбих одолел его не аргументами, а силой своего убеждения. Ибо термококсовые печи были страстью дядюшки Крейбиха.

Он точно помнил, в скольких будапештских квартирах сложил термококсовые печи. Годами он поддерживал

связи с этими семьями, как отец, который выдал дочь замуж с хорошим приданым. Время от времени он заходил к ним проведать свое детище, помешивал угли, похлопывал по печке, доверительно подмигивая хозяйке. Повсюду его встречали радушно. По просьбе дядюшки Крейбиха, многие его клиенты (некий почтовый служащий, один чемпион мира, какая-то балерина) звонили доктору Грооху по телефону, заранее поздравляли его с будущей печкой и приглашали зайти к ним взглянуть на их печи. Доктор чувствовал, что если не перестанет упрямиться, то обратит на себя гнев весьма уважаемых особ. Стало одной причиной больше, чтобы заказать печку.

Его квартира на северном склоне горы Геллерт на два месяца вышла из строя. Дядюшка Крейбих заполонил ее кафельной плиткой, разными железками, цементом, кирпичом, пылью и грязью. Впрочем, Грооха обстоятельство это нисколько не огорчало. Дом играл в его жизни подчиненную роль. Доктор любил свою работу. Нередко он допоздна задерживался в отделении. А каждый второй вечер проводил у своего начальника, адъюнкта Варги, такого же, как он, холостяка, который жил в квартире при больнице. В оставшиеся вечера он либо подряжался на ночное дежурство, либо навещал знакомых женщин. Как и во всем прочем, в выборе приятельниц он не был разборчив. Ухаживал одновременно за четырьмя-пятью женщинами, главным образом потому, что все они были одинаково милы с ним, а у него не доставало силы воли прервать знакомство. Он даже имен их никогда не помнил с уверенностью и потому каждую называл просто «милочкой».

Отопительный сезон был в разгаре, когда за доктором Гроохом впервые заметили кое-какие странности. Однажды вечером адъюнкту Варге бросилось в глаза, что друг его то и дело поглядывает на часы.

— Что с тобой? У тебя свидание? — спросил он.

— А х н е т, — махнул рукой Г р о о х. — Пора подкладывать уголь в печку.

Адъюнкт в изумлении уставился на коллегу. А Гроох, не в силах долее сдерживаться, выскочил к телефону и, возвратившись багровый от возмущения, принялся на чем свет стоит поносить свою соседку, эту проклятую ведьму, которой он ежемесячно платит за то, чтобы она регулярно, каждый вечер подкладывала полведра кокса в печку.

— Не догадайся я позвонить, — негодовал он, — опять бы проворонила, старая карга.

— Ну и что? — удивился Варга. — Разве ты не дома ночуешь?

— Тебе этого не понять, — с улыбкой превосходства сказал доктор Гроох, — Ведь у меня настоящая термококсовая печка.

Он рассеянно слушал приятеля. Визиты его становились все реже, а там и совсем прекратились. Сотрудники хирургического отделения подметили, что Гроох теперь уносит домой полученные от больных в подарок вышитые диванные подушки. Примерно в это же время он приобрел гравюры и купил с рук ковер. И почти все вечера проводил он дома: сидел, читал, слушал радио или просто грелся, прислонившись спиной к печке.

Он стал уклоняться от встреч со знакомыми женщинами. Одну из них, которая была особенно настойчива, он как-то вечером пригласил к себе домой. Когда они вошли в квартиру, девушка радостно воскликнула:

— Как у тебя тепло!

— Я это знаю, — горделиво ответил Гроох. — Ты только взгляни получше, милочка, что это за чудо! — Он обнял девушку, подвел ее к печке. Объяснил, что, как только с осени разведешь в ней огонь, он уже не гаснет до самой весны... А знаешь ли ты, — спросил Гроох, — сколько топлива расходует эта печка? Восемнадцать центнеров за целый сезон!

— Это много или мало? — поинтересовалась гостья.

Гроох выпустил девушку из объятий. Весь вечер он обращался с ней холодно. Девушка была и красива, и умна, но тем не менее у доктора пропала всяческая охота любезничать с ней... Больше он уж не приглашал ее к себе. А после нескольких неудачных попыток найти взаимопонимание он решил порвать и с остальными приятельницами. Гроох превратился в домоседа и нелюдима.

Он бесплатно уступил коллеге свой абонемент в оперу. Если удавалось, уваливал от ночных дежурств. Из больницы, никуда не заходя, он торопился домой. Случалось даже, что и среди рабочего дня он вызывал такси, забежал на минуту домой, прижимался к печке спиной, ощущая тепло изразцов, и удовлетворенный возвращался в больницу.

Печка действовала безукоризненно. Топлива расходовала немного и равномерно распространяла тепло. В ней

горел неугасимый огонь. Одним словом, это было совершенное творение, настолько совершенное, что доктору Грооху иногда приходили в голову странные мысли, к примеру, что ни одному живому существу — включая и его самого — не дано быть столь совершенным, как термококсовая печь.

Постепенно он изучил тончайшие ее повадки. Заметил, какой ряд плиток нагревается быстрее, если увеличить тягу. Время от времени заглядывал в топку, где докрасна раскаленный кокс падал через решетку, тихонько потрескивая, словно жук-древоточец за работой... «До чего удивительная вещь, — думал в такие минуты Гроох. — Изнутри раскаленная, как плавильная печь, снаружи теплая, будто женское тело». И по временам его охватывал соблазн поцеловать печку.

В конце февраля Гроох сказался больным. И с тех пор то ходил на работу, то отсиживался дома. Никакой хвори у него не было, просто ему не хотелось покидать уютный домашний очаг. В один из таких дней он послал телеграмму дядюшке Крейбиху, чтобы тот зашел к нему на следующий вечер.

Печник явился. Помешал угли, обстучал печку со всех сторон и даже приложил к ней ухо, как врач, когда прослушивает легкие.

— Хорошо греет, господин доктор? — спросил он затем.

— Превосходно, — ответил Гроох. — Но я не за этим вас вызвал. Я тут кое-что надумал, дядюшка Крейбих.

Печник выжидательно посмотрел на доктора. Гроох прислонился к печке и постоял так молча какое-то время, пока блаженное тепло не охватило все его тело.

— До сих пор, — сказал он, — люди строили большие дома и внутри каждого клали маленькую печурку. А не лучше ли делать наоборот, дядюшка Крейбих?

— Как это наоборот? — не понял печник.

— Строить большие печи, — мечтательно произнес Гроох, — а внутри самой печи выкладывать уютные комнаты... Что вы на это скажете, дядюшка Крейбих?

— Спервоначально оно как-то чудно кажется, — подумав, ответил печник.

Доктор напрасно пытался удержать его, печник поспешно распрощался и ушел.

На другой день доктора Грооха без лишнего шума перевели из хирургического отделения больницы в пси-

хиатрическое. С тех пор он там неотлучно и обитает. Он никого не трогает, и его тоже никто не обижает. Прислонившись спиной к стене, он с кроткой улыбкой смотрит куда-то в пространство.

ДУРНОЙ СОН

Жилец, сварщик Кальман Кирх, вернулся домой в три часа ночи. Расплатился за такси и позвонил у подъезда. Привратник на звонок не вышел. Сварщик набрал пригоршню снега, прижал ко лбу: он немного подвыпил, и ему было жарко. Он позвонил еще раз.

У привратника в горле застрял неоконченный храп. Во рту горечью скопилась злость. Он ненавидел людей. Ненавидел жильцов, а в особенности поздно приходившего сварщика, и в молитвах своих частенько призывал на его голову самые страшные кары. Привратник очень много времени проводил в молитвах, ибо был членом секты, которая признавала только Евангелие и праздновала вместо воскресенья субботу.

Но Кирх не ведал о бушующих в привратнике страстях. Он работал во вторую смену на строительстве моста Эржебет и после работы обычно заходил в кабачок, где помещение никогда не проветривалось, но зато играла музыка, и выпивал три двойные порции сливовицы. А после трех двойных порций сливовицы человек готов обнять целый мир.

— Добрый вечер, дражайший господин Хорнак, — радостно приветствовал он привратника.

— Чтоб ты сдох, вонючий ублюдок, — отвечал привратник, но не слишком громко, а так, чтобы могло сойти за приветствие.

Если звонили до полуночи, то привратнику потом еще удавалось как-то забыться сном. По счастью, в новых домах этого недавно отстроенного квартала жили сплошь рабочие и служащие, которым приходилось рано вставать, потому и ложились они рано. И только этот пьяный мерзавец каждый раз поднимал его на рассвете. Впустив сварщика, привратник впадал в тяжелую дремоту, но заснуть ему больше так и не удавалось. В эти часы он потихоньку, словно укачивая себя, бубнил в подушку:

«Чтоб ты сдох, чтоб ты сдох, свинья поганая, чтоб ты сдох!»

Кирх захлопнул дверь лифта, вошел в квартиру, переоделся в пижаму. Он постоянно словно бы пребывал в каком-то дурмане. На мосту работали в три смены, по четыре сварщика в каждой. Смотреть на них снизу — и то дух захватывало, поэтому им платили самое высокое жалование, какое только существовало в тарифной сетке. Но сами они, наверху, во власти ночи, не ощущали опасности. Словно и не было под ними глубины, а одна лишь высота над ними. Синие огоньки их видны были всему Будапешту; стоило захотеть — и они приварят к земле небо... Женщины визжали от страха, когда узнавали, где Кирх работает, и ему это было очень приятно. Впрочем, он всегда делал то, что ему было приятно, а все приятное слегка опьяняло его.

Он распахнул дверь на балкон. Вышел. Глубоко вдохнул морозный воздух. Потянулся в свое удовольствие. Воздух пах снегом и свежей известкой, а снег и известка к тому же слегка отдавали сливовицей. И эта смесь запахов была столь приятна Кирху, что он сделал шаг вперед.

Он стоял на открытой площадке. Балконные решетки еще не были готовы, поэтому в подъезде висело объявление: «Выходить на балконы строго воспрещается», — и Кирх каждый день читал это объявление, не воспринимая, впрочем, что там написано, ибо инстинктивно избегал всяческих запретов. До его сознания доходило лишь то, что ему было приятно. А поскольку свежий морозный воздух был ему приятен, он сделал еще шаг вперед. Затем еще. После этого он свалился вниз.

Два этажа плюс высокий бельэтаж. Кирх падал долго и со вкусом. Ветер так продувал его сквозь пижаму, что он чувствовал себя, как под душем. Кирх сделал сальто и уткнулся в сугроб. Снег глубоко набился под пижаму и за шиворот. Кирх боялся щекотки и потому засмеялся. Затем он выбрался из сугроба, отряхнул снег с пижамы и снова позвонил привратнику.

Хорнак очнулся, но еще долгое время лежал на животе, уставившись в темноту. Как только привратник проснулся, в нем моментально вспыхнула застарелая злость при мысли, что звонит сварщик, но тут же и угасла, ибо он вспомнил, что этот пьяный скот уже завалился спать. Наконец он вылез из-под одеяла. Натянул поверх ночной рубахи штаны, сверху накинул пальто, обмотал шею шар-

фом и зашлепал к двери. Когда привратник вышел в подъезд, глаза у него полезли на лоб, волосы зашевелились и кровь застыла в жилах.

— Добрый вечер, дражайший господин Хорнак, — приветствовал его сварщик и вошел в лифт.

Из-за гудения лифта он не слышал, как выбежавший на улицу дражайший господин Хорнак вопил диким голосом, срывая с себя шарф, пальто, брюки и под конец ночную рубашку. Санитары «скорой помощи» запеленали его в одеяло и увезли в психиатрическую больницу, где он немедленно погрузился в глубокий сон, но даже во сне привратник метался, кого-то ругал и скрежетал зубами. И сейчас, когда пишутся эти строки, он все еще не проснулся.

ВСЕГДА ЕСТЬ НАДЕЖДА



остройка склепа обойдется не дешево, — заявил служащий. — Особенно на центральной аллее.

— Совсем не обязательно на центральной, — сказала заинтересованная лицо. — Главное, чтобы он был зацементирован.

— Зацементирован? — изумился служащий. — Это необходимо. Но, впрочем, возможно.

Он отложил в сторону отпечатанный преискурант и на листке блокнота быстро подсчитал: склеп только цементированный, даже без надгробного памятника и на боковой дорожке влетал в кругленькую сумму. Однако заказчик заявил, что это несущественно, и стал в раздумье грызть ногти.

— Затем, — сказал он, — надо бы туда трубу.

— Какую трубу? — удивился служащий в черном костюме.

— Я и сам точно не знаю. Вроде дымохода или вытяжной трубы. Можно хоть парходную или как в винных погребах.

Инженер, которого пригласил служащий, соображал туговато. Дважды пришлось растолковывать ему, чего хочет заказчик, но даже и после этого он качал головой и недоверчиво хмыкал.

— Позвольте спросить, — поинтересовался он, — из какого материала должна быть эта труба?

— Ну, вам уж это лучше знать, — сказал заказчик, теряя терпение.

— Из шифера не подойдет? — спросил инженер. — Или лучше сложить кирпичную? А может, просто из жести?

— Сами вы что порекомендуете? — спросил заказчик.

— Я в подобных вопросах абсолютно не разбираюсь, — сказал инженер. — Но проще всего было бы из шифера.

— Пусть будет из шифера, — сказал заказчик и задумчиво посмотрел на бестолкового инженера. — Затем, — сказал он, — надо провести туда электричество.

— Электричество? — воззрились на него оба. — Зачем там электричество?

— Хорошенький вопрос, — возмутился заказчик. — Чтоб не было темно.

ПРОЩАЙ, ПАРИЖ!



Модан у меня был тяжеленный, но все-таки я дотащил его до Рю де Эколь. Там я остановил такси.

— К Восточному вокзалу, — сказала шоферу.

У меня еще оставалось время до поезда. Хуже нет ждать на вокзале.

— Вот возвращаюсь на родину, — сказала шоферу. — Не выпьете со мной на прощанье?

— Да у меня всего полжелудка осталось, — сказал шофер.

— Ну, стаканчик белого вина не повредит.

— Я знаю тут неподалеку одно местечко, — сказал шофер.

Мы чокнулись, опрокинули по стаканчику. Он, в свою очередь, заказал по второму. Пока мы ждали заказ, он поинтересовался:

— Далеко ехать?

— В Будапешт.

— Это что за страна?

— Венгрия.

— С немцами или против?

— С немцами.

— Вариант не блестящих, — сказал он.

— Да уж что говорить, — сказала я.

Хозяин принес вино.

— Следовало бы посылать на войну министров, — сказал шофер после некоторого размышления.

— Вот именно, — сказала я. — Тогда бы они призадумались.

Мы расплатились и тронулись в путь. Он поднес мой чемодан до подъезда Восточного вокзала. Затем протянул на прощание руку.

— Меня из-за желудка забраковали, — сказал он.

— Это большая удача, — сказал я.

— А у вас не нашли никакой болезни?

— Нет.

— Ничего, — утешил он. — Месяца за два мы разобьем немцев.

— Будем надеяться.

— Глядишь, еще доведется встретиться, — сказал он.

— Трудно поверить, — сказал я.

— И тогда опрокинем еще по стаканчику, — сказал он.

— Ну, это уж непременно, — согласился я.

— До свидания, — сказал он.

— До свидания.

УДАЧНЫЕ ПОХОРОНЫ



о дороге туда все мы безбожно мерзли, ибо в машине, которую Оперный театр взял напрокат по сему случаю, отопление не работало. Несмотря на это, мы без остановок доехали до Мишкольца, а оттуда сразу повернули к деревушке у подножия гор Бюкка, где, выйдя на пенсию, жил бедняга Бониварт. Мы нигде не задерживались, даже чтобы выпить чашечку кофе, словно какая-то сила гнала нас, подстегивала, торопила...

Я сидел рядом с шофером, сзади разместились два представителя театрального мира более мощной комплекции: Бестерцей, музыкальный критик, и Гитта Мар, певица-сопрано. Машина была доверху завалена букетами и венками; самый большой венок пришлось привязать к крыше, и его красно-бело-зеленые ленты развевались на ветру позади машины.

Гитта особенно тяжело воспринимала случившееся.

Чем дальше мы отъезжали от Будапешта, тем нервнее становилась она.

— И зачем я только поехала! — без конца повторяла актриса. — Ведь я не могу видеть даже зарезанной курицы.

— Успокойся, Гитта, — увещевал ее музыкальный критик. — Вот увидишь, все будет в порядке.

Ему-то легко было так рассуждать. Во-первых, это были стосемидесятые похороны, на которые его посылали. Да к тому же он сам давно наградил себя титулом «самого циничного журналиста всех времен».

— Маришка у меня все время из головы не выходит, — вздохнула Гитта. — Что она, должно быть, испытала, когда открыла его комнату?!

— Не думай ты об этом, — сказал Бестерцеи.

— Я не могу думать ни о чем другом.

— Тогда, по крайней мере, хоть не говори вслух.

Гитта умолкла, но легче нам от этого не стало. Бедняга Бониварт не терпел даже проходящей прислуги. Его жена — женщина, предрасположенная к депрессии, — только что вернулась домой из санатория и с помощью соседей взломала дверь. К тому времени Бониварт уже седьмой день мертвым лежал в постели.

Представив себе это неопишное зрелище, мы содрогнулись. Запах венков наполнял машину, красно-бело-зеленые ленты бились в стекло.

— Что будет, если Маришку хватит удар? — спросила Гитта.

— Да перестанешь ты, наконец! — взорвался критик.

— Она писала кому-то, что бросится вслед за мужем в могилу.

— Не разговаривай ты с ней, сделай милость, — призывал меня «самый циничный журналист всех времен». В шоферском зеркальце мне было видно, как он нервно грызет пустой мундштук.

Гитта замолкла. Когда миновали Мишколец, заговорил шофер.

— Сколько же лет прожил господин артист?

— Шестьдесят два, — ответил я и увидел, как Бестерцеи быстро отвернулся. Ему было столько же.

— Это правда, что у него однажды уже была мнимая смерть?

— Правда, — сказал я. — Его вывели из состояния клинической смерти.

— Angina pectoris ¹, — подала голос Гитта.

— Что это за болезнь? — спросил шофер.

— Геморрой, — коротко бросил Бестерцей, у которого тоже наблюдались признаки грудной жабы. — Почему мы едем так медленно?

— Дорога плохая, — пояснил шофер.

— Если он пошевелится в гробу, — сказала Гитта, — я тут же упаду в обморок.

— Да молчите вы! — рявкнул Бестерцей.

Я видел в зеркальце, что лицо у него белое как мел. Долгое время мы ехали молча. Голые ветки акаций и сухие шуршащие стебли кукурузы мелькали по обеим сторонам дороги, словно скелеты некогда цветущих растений. Все мы, за исключением шофера, не отрывали взгляда от этих бесплотных теней.

— Как знать, — вздрогнув, заметила Гитта, — может, все это действительно мертвецы.

— Можешь ты помолчать хоть минуту? — обрушился на нее Бестерцей, от пресловутого цинизма которого не осталось и следа.

Гитта Мар истерически всхлипнула и разрыдалась; так проплакала она всю дорогу, пока мы не добрались до места. Промерзшие до костей, вошли мы в дом покойного, однако позже, когда процессия двинулась к кладбищу, ветер утих и проглянуло солнце, так что мы даже немного согрелись. На обратном пути в машине снова дуло и пробирал холод, но зубы у нас уже не стучали, так как после похорон мы выпили в кооперативной лавке по стаканчику рома. Иных согревающих напитков там не водилось.

— Маришка держалась молодцом, — одобрительно сказала Гитта.

— И священник говорил так трогательно, — заметил шофер.

— Все вели себя порядочно, — подытожил Бестерцей, в котором снова проснулся его пресловутый цинизм. — Маришка не прыгнула в могилу, Гитта не упала в обморок, и Бониварт не ворочался в гробу.

Тут уж невольно все рассмеялись. В Мишкольце мы пообедали при гостинице, после чего заглянули в кафе выпить по рюмке коньяку.

— Вы не слишком торопитесь? — спросил шофер, ко-

¹ Грудная жаба (лат.).

гда мы уже выехали на шоссе. — А то бы я предложил заскочить в Эгер.

Он завел нас в какой-то подвальчик, где при свете свечей нам подали великолепный мэдок¹. Виноградарь предложил послать за цыганами.

— Спасибо, не стоит, — сказала Гитта. — Дело в том, что мы возвращаемся с похорон.

В Хатване мы ненадолго остановились у дорожного буфета. Заказали сосиски с хреном, но шофер пронюхал, что у буфетчика можно достать и виноградное сусло. Вчетвером мы распили больше полутора литров.

Когда снова тронулись в путь, уже смеркалось. Перед глазами почему-то стояли могилы, выстроившиеся в ряд на каменистом горном склоне, колышущиеся на ветру деревья и низкие кучевые облака в осеннем небе.

— Как же красивы все-таки эти кладбища в горах, — заметил я.

— Самые красивые кладбища — в горах Италии, — сказал музыкальный критик.

— Ах, Италия! — вздохнула Гитта. — Послушай, Бестерцеи, ты не мог бы достать мне доллары? О, *sole mio*, — запела она, а шофер, состоявший когда-то в мужском хоре, удивительно верно вторил ей. Однако Гитта, пропев первую строфу, замолкла и прикрыла глаза.

Мы тоже молчали, ибо нами начала овладевать усталость. Та приятная, звенящая усталость и расслабленность нервов, которые испытывает человек, в целостности и сохранности выбравшийся из какого-либо опасного происшествия — скажем, из железнодорожной катастрофы. У служебного входа Оперного театра мы расстались, долго и задумчиво прощаясь.

— Ну, как прошли похороны? — поинтересовалась дома жена.

— Прекрасно, — ответила.

— Не было слишком тяжелых сцен?

— Что ты! — сказал я. — Все обошлось как нельзя лучше.

¹ Мэдок — сорт красного вина.

НЕСКОЛЬКО МИНУТ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ

Я обошел все склады топлива в округе, даже на лесоплаве побывал — все безуспешно. В наше время не так-то легко что-либо добыть. Наконец мне порекомендовали заглянуть на один окраинный склад в подвале, там заведующий, сказали мне, человек предприимчивый, расторопный. Он какое угодно топливо достанет, особенно если купить ему бутылку рома.

Но мне даже и покупать не пришлось, ром был у нас дома, притом настоящий, ямайский. Я разыскал подвал — вниз вели восемь ступенек. С ромом в портфеле не успел я спуститься еще и наполовину, как снизу раздался мужской голос:

— Брикетов из ГДР нету!

Я спустился, поздоровался, вытащил бутылку рома и водрузил ее на обитый жестью запорошенный угольной пылью стол.

— А мне они и не требуются, — сказал я.

— Чем могу быть полезен? — поинтересовался заведующий, бросив мимолетный взгляд на бутылку.

— Мне бы немного радиоактивного вещества, — сказал я.

До сих пор, куда бы я ни обращался, всюду наталкивался на полный отказ. Но этот заведующий подошел к рому поближе, прочел надпись, внимательно изучил изображенный на этикетке сахарный тростник, затем сказал:

— Ну что ж, немного урановой руды я, пожалуй, мог бы наскрести.

Это походило на издевательство.

— Да вы шутник, однако! — сказал я ему. — Как вы это себе представляете? Что я, дома, на кухне, должен заняться ее обогащением?

Я схватил бутылку и сунул ее обратно в портфель. Угольщик моментально стал сговорчивее.

— Ну что же вы, так уж сразу и бежать! Извольте хотя бы объяснить, что вам требуется, а там посмотрим, может, чего и выйдет.

Будто ты сам не знаешь, подумал я, но терпеливо и обстоятельно растолковал ему, что мне нужен обычный атомный заряд или очищенный изотоп урана-235.

— Конечно, если этого нет, — добавил я, — сойдет плутоний-239.

Я снова вытащил ром и без лишних слов поставил его на жестяной стол. Он тоже не проронил ни слова, только забрал бутылку и спрятал ее в обшарпанный канцелярский шкаф. К чему пустые слова? Этой пантомимой мы дали понять друг другу, что сделка состоялась; теперь уже угольщик придирался лишь для проформы.

— Разрешите узнать, — поинтересовался он, — ракетопосылитель у вас уже есть?

— Есть, — коротко ответил я.

В подробности я вдаваться не стал. Стоило мне только рассказать, сколько мест я обегал, прежде чем наткнулся на ту плохонькую мастерскую, где — уж конечно, не за бутылку рома, а за английское механическое пианино и шесть кусков добротного полотна! — мне с превеликим трудом из-под полы собрали обычную ракету дальнего действия. К тому же я наверняка взвинтил бы цену на радиоактивное вещество. Мой расчет оправдался. Угольщик назвал на редкость низкую цифру, я отсчитал деньги и положил их на все тот же обитый жестяной стол.

— Вы захватили какую-нибудь посудину? — спросил он.

— Нет, у меня с собой ничего нет.

— Тогда попрошу два форинта за бутылку.

Я уплатил и за бутылку.

— И пробки нету? — спросил он.

Пробки у меня тоже не было.

Он вздохнул. Затем оторвал клочок газеты, скрутил ее и кое-как заткнул грязную бутылку из-под минеральной воды. Он извлек ее из того же обшарпанного шкафчика, куда перед этим спрятал ром.

— Запаковать?


— Не надо, — сказал я.

— Заглядывайте как-нибудь, — напутствовал угольщик и любезно проводил меня вверх по лестнице. На прощание он все же спросил: — Надеюсь, для использования в мирных целях?

— Само собой разумеется, — ответил я.

— А то вы такой весельчак, с вас станется, — сказал он, шутливо погрозив мне пальцем.

ВЛАСТЬ ПОЭЗИИ

 тояла на проспекте обыкновенная телефонная будка. Дверь ее без конца то открывалась, то закрывалась. Люди обсуждали по телефону свои заботы и хлопоты, звонили в жилищное управление, назначали свидания, просили у друзей займы денег или мучили друг друга ревностью. А одна пожилая женщина, повесив трубку, прижалась к аппарату и заплакала. Впрочем, такое случалось нечасто.

В один прекрасный летний день в будку вошел поэт. Он позвонил редактору и сказал:

— Ну, последнее четверостишие готово! — И прочел стихотворные строки, записанные на мятом клочке бумаги.

— О, слишком грустно! — сказал редактор. — Перепиши заново, да чтоб повеселее.

Поэт понапрасну пытался разубедить редактора. Вскоре он повесил трубку и ушел.

Некоторое время никто не звонил, будка пустовала. Затем появилась женщина в расцвете лет, с округлыми формами, высоким и пышным бюстом, в летнем цветастом платье. Попыталась открыть дверцу будки.

Дверь открылась с трудом. Сначала она вообще не хотела открываться, а затем вдруг распахнулась, буквально отшвырнув даму на мостовую. На следующую попытку дверь ответила таким образом, что это уже можно было расценить как пинок. Дама попятилась и налетела на почтовый ящик.

Поджидавшие автобус пассажиры столпились вокруг. От толпы отделился энергичный мужчина с портфелем. Он тоже попытался войти в будку, но получил от двери такой удар, что растянулся на мостовой. Вокруг собралось все больше и больше народу, и каждый высказывал свои замечания по поводу будки, телефонного ведомства и дамы в цветастом платье. Одни полагали, что через дверь пропущен ток высокого напряжения, другие утверждали, что цветастая дама и ее сообщник хотели выкрасть жетоны, но парочку вовремя сцапали.

Будка некоторое время молча выслушивала эти бессмысленные предположения, а затем повернулась и неторопливо двинулась по проспекту Ракоци. На перекрестке в это время как раз загорелся красный свет, будка остановилась и переждала.

Люди провожали ее взглядами, но никто ничего не сказал; у нас ведь ничему не удивляются, вот разве что самым обыкновенным вещам. Пришел автобус, забрал пассажиров, а будка знай себе весело шагала вдоль по проспекту Ракоци солнечным летним днем. Разглядывала витрины. Останавливалась у цветочных киосков, а некоторые даже утверждали, что она заходила в книжный магазин, но, возможно, ее с кем-то спутали. В пивной напротив переулка опрокинула стаканчик рому, затем прогулялась вдоль набережной Дуная и перешла на остров Маргит. У развалин старинного монастыря увидела другую телефонную будку. Прошла дальше, затем повернула обратно, наконец перешла на другую сторону аллеи и остановилась, деликатно, но настойчиво поглядывая на противоположную будку. Позднее, когда стемнело, она взобралась на клумбу с розами.

Как развернулись события ночью у развалин монастыря или никаких событий не было вовсе, определенно нельзя утверждать, ибо на острове очень слабое освещение. Но на следующее утро ранние прохожие увидели, что будка у развалин вся засыпана алыми розами, а телефон у нее целый день соединял неправильно. Второй же будки и след простыл.

Она еще на заре покинула остров и перешла в Буду. Поднялась на гору Геллерт, а оттуда — с тропинки на тропинку — вскарабкалась на вершину горы Хармашхатар, затем спустилась по склону и двинулась вдоль по шоссе. С тех пор ее больше не видели в Будапеште.

За городом, за последними домами долины Хювеш, но не доходя деревни Надьковач, есть лужайка, заросшая полевыми цветами. Она так мала, что даже ребенок может обежать ее вокруг не запыхавшись, и к тому же лужайка затерялась среди исполинов-деревьев, словно крохотное горное озеро. Как мы уже говорили, лужайка слишком мала, чтобы кто-нибудь польстился скосить ее; поэтому к середине лета трава на ней вырастает по пояс — полевые цветы и сорняки. Вот здесь и остановилась наша будка.

Выезжающие за город, забредая сюда по воскресеньям, очень радовались телефонной будке. Им тут же приходила в голову мысль разыграть кого-нибудь из знакомых, кто еще спит сном праведника, или позвонить домой и указать, чтобы положили под коврик перед дверью забытый дома ключ. Они заходили в будку, которая на мягкой поч-

ве стояла чуть покосившись, и снимали трубку, а за ними в дверь просовывали свои любопытные головки цветы на длинных стеблях.

Однако аппарат не соединяет с городом. Вместо того в трубке звучит сочиненное поэтом четверостишие, но так тихо, как скрипка, когда пробуют тон... Опущенные монеты аппарат не возвращает, но на это никто и не жалуется.

«IN OUR TIME»¹



войной кофе, пожалуйста, — сказала молодая женщина.

— А вам? — обратилась официантка к ее спутнику.

— Чего бы это выпить? — задумался посетитель. Посмотрел на официантку. Улыбнулся ей совсем юной, почти детской улыбкой.

— Вы не против, если я закажу нечто необычное?

— Пожалуйста, к вашим услугам. Хотя выбор у нас и не очень большой.

— Да ведь и я имею в виду не какие-то там деликатесы.

— Послушайте, — склонилась к нему молодая женщина а . — Если вы не уйметесь, я немедленно уйду.

Примерно раз в две-три недели они заходили выпить кофе всегда в одно и то же небольшое эспрессо под каштанами, недалеко от трамвайного парка в Буде.

— Видите ли, Ализ, вы заказали кофе. Позвольте же и мне выбрать что-нибудь себе по вкусу.

Он повернулся к официантке:

— Беда в том, что я никак не могу припомнить название того напитка, который хотел бы заказать. Такая темная жидкость...

— Это алкогольный напиток?

— Нет, нет. Насколько я помню, его наливают в стаканчики. И если мне не изменяет память, подают совсем горячим. Стало быть, это не алкогольный напиток.

— Боюсь, что у нас этого нет.

— Трудно поверить, — сказал мужчина . — А нельзя ли справиться у заведующего?

¹ «В наше время» (англ.).

— Отчего же? Конечно, можно. Но заранее вам говорю, это бесполезно, ведь я уже пятый год здесь работаю, — сказала девушка и поспешно удалилась.

— Я сыта по горло вашими выходками! — сердито проговорила молодая женщина. Она терпеть не могла привлекать к себе внимание. В автобусе всегда отворачивалась к окну. Даже если туфли ей оказывались тесны, у нее не хватало духу обменять их. — Если вы не прекратите, я сейчас же уйду.

— Вы же обещали мне рассказать о Югославии.

— Я не могу рассказывать в таком настроении.

Но вот показалась официантка. Она еще издали улыбалась.

— Заведующая просит уточнить, не светло-коричневый ли это напиток?

— Нет, скорее, пожалуй, почти черный.

— А где вы его пили в последний раз?

— В «Гертруде».

— Так мы и предполагали! — рассмеялась официантка. — Видите ли, «Гертруда» — кафе высшей категории, люкс. А у нас, извольте взглянуть на вывеску, кафе второго разряда.

— Одну минутку! — перебил ее мужчина. — Я вспомнил сейчас, что к нему подавали маленькую ложечку. И еще кое-что. Несколько белых кубиков на блюдечке.

— Кубиков? — изумилась официантка. И опять рассмеялась. — Пятый год я здесь, но такого ни разу еще никто не заказывал. Кубики! — рассмеялась она снова.

— Нельзя ли выяснить у заведующей?

Официантка ушла, но в дверях оглянулась и зажала рот, чтобы не рассмеяться вслух.

— Вы только тогда чувствуете себя счастливым, когда все пляшут вокруг вас? — в сердцах спросила молодая женщина.

— Ну что вы, Ализ. Я и тогда не бываю счастлив. Скажите лучше, как вам понравился Блед?

— Не притворяйтесь, будто вас интересует Блед. Смотрите лучше, что вы натворили.

Появилась официантка. За ней сухопарая, в очках, заведующая с мало известной книгой Хемингуэя «In Our Time».

— Слушаю вас, — вежливо сказала она.

— Только прошу вас, чтоб не получился курьез, — взмолился мужчина.

— Наш долг — удовлетворить желания посетителей. Как выглядели эти кубики?

— Если мне не изменяет память, они были белые. И как будто небольшого размера.

Обе женщины переглянулись. Официантка, которая теперь уже не решалась смеяться вслух, беззвучно хихикала. Заведующая же сохраняла серьезность.

— Весьма прискорбно, но что поделаешь? Нет у нас никаких кубиков.

— Да не так уж это важно, — сказал мужчина.

— И вышеупомянутый напиток мне неизвестен.

— Пропади он пропадом, — махнул рукой мужчина. — Тогда дайте мне тоже двойной кофе.

ЗАЧАСТУЮ МЫ ДОСТИГАЕМ ВЗАИМОПОНИМАНИЯ В САМЫХ СЛОЖНЫХ ВОПРОСАХ, ЧЕГО ИНОГДА НЕ ПРОИСХОДИТ В САМЫХ ПРОСТЫХ



елую ручки. Могу я взять напрокат надувные резиновые матрацы?

— Что вы сказали?

— Разве я обратился не по адресу? Но мне сказали, что именно в этой зеленой будочке помещается прокатный пункт пляжного инвентаря.

— Это и есть прокатный пункт пляжного инвентаря. Но мы выдаем только шезлонги, водные лыжи и надувные резиновые матрацы.

— Прекрасно. Нам нужны два резиновых матраца.

— Я у вас ни слова не понимаю. Sprechen sie deutsch?

— Nicht deutsch.¹

— Я немного говорю по-французски. Вы говорите по-французски?

— Нет, не говорю.

— Так на каком же языке можно с вами разговаривать?

— К сожалению, только по-венгерски.

— Хорошенькое дело! Тогда что же вы не говорите по-венгерски?

— А я, по-вашему, на каком языке говорю? Я венгр, родился венгром и говорю исключительно по-венгерски. Сколько стоит прокат резинового матраца?

¹ Вы говорите по-немецки? По-немецки — нет. (нем.).

— Не пытайтесь меня провести вашими штучками! Я учусь на третьем курсе историко-философского факультета, а здесь я немного подрабатываю во время летних каникул.

— И правильно делаете.

— Полдня я работаю, полдня провожу на пляже. И если хотите знать, вон там загорает мой друг, а он член сборной по пятиборью.

— Почему вы это сообщаете таким язвительным тоном?

— Потому что у меня можно получить напрокат только шезлонги, водные лыжи и надувные резиновые матрацы. А если у вас на уме какие-то дурные помыслы, то вы ошиблись адресом.

— Да нет у меня никаких дурных помыслов! Поверьте, я всего-навсего желаю получить надувные резиновые матрацы.

— Bei uns ist vollkommene Glaubensfreiheit.

— Что это вы сказали?

— Что у нас свобода вероисповедания. Иностранцы обычно интересуются, служат ли у нас по воскресеньям мессу.

— Послушайте, ведь вы изучали логику. Давайте попробуем рассуждать логично.

— На каком странном языке вы говорите! Ведь и по-венгерски тоже будет «логично».

— А поскольку речь зашла о свободе вероисповедания... Позвольте спросить, вы верите в бога?

— Как Кьеркегор — в воплощение идеи. Вам понятно, что я имею в виду?

— Приблизительно. Можно парить на высоте семидесяти тысяч кабельтовых и все же чувствовать себя счастливым... С Тейяром де Шарденом вы тоже знакомы?

— Он не входил в обязательную программу, но я прочла две его книги на немецком.

— Ну и как ваше мнение?

— Сначала я была без ума от него. Ну, говорю, ребята, вот он, новоявленный гений... Но потом, как раз в коренном вопросе, где делается попытка примирить религию с наукой, он совершенно заходит в тупик.

— Любопытно. В общем, и я того же мнения. Но если мы так хорошо понимаем друг друга, почему же не можем договориться об этих дурацких резиновых матрацах?

- Что вы желаете получить?
- Ну вот, пожалуйста. А ведь мы оба умеем здраво мыслить. Я придумал: давайте сузим круг понятий. Что бы вы сказали, если бы я попросил два шезлонга?
- Пожалуйста! Есть с солнцезащитными козырьками и без них.
- Чудесно! Ну, а как обстоит дело с водными лыжами?
- Есть трех размеров. Какие вам дать?
- Никакие. Я ведь хотел бы два резиновых матраца.
- Два... чего?
- Странно. Судя по всему, только эти два слова вы никак не можете понять?
- Что за два слова?
- «Резиновый» и «матрац». Ре-зи-но-вый. Это вам понятно? Резиновый ластик, резиновые шины?
- Чего ж тут не понять?!
- Ну, а матрац?
- Не делайте, пожалуйста, из меня дурочку.
- Так давайте соединим вместе два понятия. Дайте мне два резиновых матраца.
- Здесь какое-то недоразумение. У нас можно взять напрокат только шезлонги, водные лыжи и резиновые матрацы.
- Тогда извините, девушка.
- Ну что вы, пожалуйста.
- До свидания!
- Всего хорошего!

НАШИ СЫНОВЬЯ

Жила-была на свете бедная вдова, и было у нее два красивых умных сына. Один, старший, нанялся на корабль, который первым рейсом отправился прямо в Тихий океан. Что с ним случилось, а чего нет — и рассказать некому, потому как след его затерялся навеки в морях-океанах.

Младший остался дома. Но однажды, когда мать послала его за глистогонным в аптеку (седьмой дом от угла), он тоже не вернулся домой.

Все это было на самом деле. Это ведь только в сказках всегда бывает три сына. И везет всегда третьему.

ФАРШ

В провернутое мясо добавляют яйцо, булку, размоченную в молоке, соль, перец и затем на жире или масле жарят котлеты.

Внимание! Для нас, млекопитающих, отнюдь не второстепенный вопрос, мы проверяем мясо или нас проверяют на фарш.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГОРДОСТЬ

Я слеплен из доброго теста!
Собой владеть я умею.

Вы бы не подметили во мне ни малейшего признака волнения, хотя на карту был поставлен кропотливый труд многих лет, оценка моего таланта, да что там — все мое будущее.

— Моя специальность — животные, — сказала я.

— Что вы умеете делать? — спросил директор.

— Подражаю голосам птиц.

— К сожалению, — махнул он рукой, — это вышло из моды.

— Как так? Воркованье горлицы? Чириканье воробья? Свист перепелки? Крик чайки? Песнь жаворонка?

— Все в прошлом, — со скучающим видом сказал директор.

Мне стало больно, но, по-моему, это не бросилось в глаза.

— До свидания, — вежливо попрощался я и выпорхнул в открытое окно.

**БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ БАЗАР!
ТОЛЬКО У НАС!
НИГДЕ КРОМЕ!**

**НОВИНКИ ОТДЕЛА ЧАСОВ И ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ ЧАСЫ**



езукоризненно ходят в воде, в пару, даже на пятисотметровой глубине моря.

Точны, элегантны, надежны!

Сделайте сюрприз вашим близким утопленникам!

Часы на 18 камнях, ходят в обратную сторону.

Лучший подарок! Не только стрелки двигаются в обратном направлении, но и цифры на циферблате расположены в обратном порядке (XII, XI, X и т. д.). Тем самым часы не только показывают время назад, но обладатель их к тому же ежечасно молодеет.

Будильник с таким же устройством.

Тоже ходит в обратную сторону. Если, например, завести его на шесть часов утра, часы звонят вчера вечером.

**ВЕЩИ, БЫВШИЕ В УПОТРЕБЛЕНИИ,
ПРОДАЮТСЯ В ОБНОВЛЕННОМ ВИДЕ**

Предлагаем вашему вниманию:

Свежезамороженный прошлогодний снег.

Съеденный шоколад (с орехами).

Дешево! Вкусно! Эффектно!

**ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ,
ДЕКОРАТИВНЫЕ РЫБКИ,
ПЕВЧИЕ ПТИЦЫ**

Дабы не обременять наших дорогих покупателей значительными расходами по содержанию собак, выпускаем в продажу веселых, непритязательных, преданных хозяевам мух.

Продающиеся у нас мухи выдрессированы с помощью самых современных методов. Им всего три месяца, но они уже знают свои клички, а к хозяевам привыкают в течение нескольких недель.

Тишину вашего дома наполнит веселая суматоха, если вы, например, спрячетесь, а муха, жужжа ваше имя, будет порхать по комнате.

У кого есть дрессированная муха, тот не одинок!

ОТДЕЛ ИГРУШЕК

Аксессуары фокусника

Фокусы в течение целого вечера! Четыре различных набора! После некоторой тренировки можно очень легко освоить приемы!

1. Исчезнувший кролик.

Домашний кролик излюбленного фокусниками белого цвета. Оба экземпляра (один экземпляр в невидимом состоянии) продаются в одной клетке.

2. Ложе индийского факира.

Удобное ложе в стиле необарокко, вместо пружин утыкано длинными гвоздями, кои впиваются в тело фокусника. (К чему, естественно, надо привыкнуть.)

3. Комплект шпаг для глотания.

Съедобные шпаги, со съемными рукоятками, двух видов по вкусу (шоколадные, земляничные).

4. Дама, распиленная пополам.

Всемирно известный номер, успех обеспечен!

Предлагаем вашему вниманию женщину, состоящую из двух частей, в трико, украшенном блестками. Таким образом, фокусник без особой ловкости рук должен только пантомимой изобразить, будто он ее распиливает.

ОТДЕЛ КНИГ И ГРАМПЛАСТИНОК

Ждет вас!

Не надо больше читать!

Вы можете повышать свой культурный уровень, не утомляясь, не портя зрение, с тех пор как шедеврам мировой литературы удалось придать форму удобоваримых таблеток. Пруст, Кафка, Джойс и другие трудноусвояемые писатели всасываются через желудок в течение 20 минут.

Самобытное венгерское изобретение!

Полное собрание сочинений Бальзака — таблетки на чистом какаоовом масле, в красиво оформленной подарочной коробке, содержащей шесть таблеток.

Только у нас! Нигде кроме!

СООБЩЕНИЕ ОБЩЕСТВА ПО ОХРАНЕ ЖИВОТНЫХ



олгая и упорная борьба нашего Общества увенчалась успехом: на заводе по изготовлению консервов, кроличьего рагу и рыбной ухи пущен в строй новый цех — цех вскрытия коробок.

Здесь вскрывают только что изготовленные консервы, извлекают из соуса куски кролика или рыбы и составляют из них единое целое, после чего, доставив животное на место отлова, выпускают на волю.

Выражаем благодарность дирекции завода, которая после долгих споров и препирательств наконец-то сумела найти эффективный путь охраны животного мира.

170-100



то номер Необычного справочного бюро, которое отвечает на любые вопросы.

Все больше народу обращается туда, и задают все более сложные вопросы. (Были ли у девы Марии месячные после непорочного зачатия? Как сочиняли композиторы, когда рояль еще не был изобретен? Допустимо ли, что у нормальной пары зебр может быть не полосатое, а клетчатое потомство?.. Попадают еще более нелепые вопросы.)

Пришлось заключить договор со многими учеными и специалистами, организовать около 120 рабочих групп, создать при телефонной станции настоящий мыслительный трест. Были установлены связи со Священным синодом и английской Королевской академией. Таким образом, даются ответы на самые каверзные вопросы, хотя, естественно, организация усложнилась.

Но все это, конечно, не в ущерб самому добросовестному составлению ответов!

Вот хотя бы один пример.

— Простите, пожалуйста... Тут у нас в маленького крокодила попал мяч...

— Какой величины крокодил?

— Сантиметров тридцать.

— Тогда это просто ящерица.

Вы могли бы подумать, что с такими пустяками там не станут возиться. Но не тут-то было! Коммутатор экстрен-

но подключает группу первой помощи. Трубку снимает врач, которого не раз награждали за спасение жизней. Он задает первый вопрос:

— Вы тоже ящерицы?

— Нет, мы учащиеся гимназии имени Иштвана Первого.

— Значит, вы не родственники пострадавшей? Тогда другое дело! А то членам семьи мы не сообщаем диагноза.

— Нет, мы только что увидели ее впервые. Мы играли в футбол, и на нее упал мяч.

— Она дышит?

— Да.

— Сердечная деятельность?

— Сердце работает нормально. Беда в том, что она не уползает с середины поля.

— А вы пошевелите ее.

Ребята побежали на площадку. Пощекотали ящерицу травинкой. Потом сообщили, что при прикосновении ящерица вздрагивает, но не двигается с места.

— Сотрясение мозга, усложненное параличом двигательных органов. Соединяю вас с группой невропатологии.

Мы ждем, что невропатолог, качая головой, посоветует: «Добейте ее...»

Но этого не происходит. После долгого размышления он спрашивает:

— Во что вы больше верите? В классические методы лечения или соединить вас с психоаналитиком?

— Наверное, лучше с тем, кого вы, дяденька, назвали последним.

Молодой участливый женский голос — само утешение: случай нетяжелый, легкоизлечимый. Больная, судя по всему, с детства страдала обостренным комплексом неполноценности, и очередная травма (то есть мяч, который упал ей на голову) все выбила из ее памяти. Двигаться она не может потому, что не знает, что она ящерица. Стало быть, надо снова внушить ей это.

— Так что, значит, надо с ней сделать?

— Объяснить ей, что она ящерица.

— Да ведь она же не понимает человеческого языка!

— Это уже не ко мне относится.

— А к кому же?

— Есть специальная группа лингвистов, которые за-

нимаются исключительно речью пресмыкающихся. Кроме того, могу соединить вас с группой философов... Хотите поговорить с господом богом?

Еще бы не хотеть!! Психоаналитик все тем же участливым голосом объяснила, что три раза в неделю (по понедельникам, средам и пятницам) несут дежурство материалисты, а в остальные дни — монотеисты, деисты, буддисты и экзистенциалисты. Обещать она ничего не обещает, но, когда соединила с нужным номером, по счастью, снял трубку сам господь бог.

— Чего вы хотите? Чтобы я воскресил вашу ящерицу? — спросил он.

— Наверное, это было бы лучше всего.

— Так и б ы т ь , — сказал господь б о г . — Идите с миром играть в футбол.

Дети возвратились на площадку. Обыскали все вокруг. Ящерицы как не бывало! И они спокойно принялись за игру. (Так между делом 170—100 поставил точку в конце многовекового спора, есть ли бог.)

Вот так — надежно, точно и добросовестно — работает Необычное справочное бюро. Точнее сказать, работало!

Бедная страна! Стоит только чему-нибудь пойти удачно, как тут же вылезают на свет божий склочники, злопыхатели и недоброжелатели! И вот один такой пакостник как-то набрал номер 170—100 и спросил:

— Почем фунт лиха?

У дежурного на коммутаторе перехватило дыхание. Он не мог сообразить, к какому отделу это относится. Соединил с одним, подключил к другому, но ни от кого не получил вразумительного ответа, куда и сам не запутался окончательно. Под конец в аппарате раздавалось лишь жалкое щелканье и треск...

С тех пор заглохло, зачахло Необычное справочное бюро, захирело настолько, что теперь уже даже на самые простые вопросы не может ответить.

На обычный вопрос, который час, дрожащий голос отвечает:

— Не знаем.

Бедняги, они утратили веру в себя.

ВОСПРИЯТИЕ И ИСКУССТВО

Художника Виктора Т. послали в космос. Он не был первым космическим путешественником, но зато он был первым художником, побывавшим в космосе. Он провел там шесть дней. В середине путешествия его спросили, что он предпочитает увидеть: кольца Сатурна или пятна на Солнце.

Ему в общем-то все равно, сказал Т.

Тогда следует показать ему солнечные пятна: художнику это, пожалуй, интереснее.

Пожалуй, да, сказал Т.

После возвращения на Землю со скучающим видом сидел он среди журналистов в ресторане космодрома. Погруженный в свои думы, не отвечая на вопросы, он не сводил глаз с апельсина, который чистил один из репортеров.

Однако через несколько недель в творчестве художника намечился значительный перелом. На его знаменитых натюрмортах с маслинами и бильярдными шарами (это был так называемый «оливково-зеленый» период его творчества) появились первые апельсины.

Под старость он рисовал уже лимоны, а под конец и куриные яйца, но апельсин неизменно присутствовал на всех его полотнах.

Тогда-то он и стал великим художником.

И ВЫ ЕЩЕ СПРАШИВАЕТЕ?!

Математик. Как по-твоему, какова статистическая вероятность, что, скажем, этот на вид безукоризненный «фиат» в результате дефекта тормозов въедет на тротуар и задавит прохожего?

Марафонский бегун. Прежде я гораздо раньше видел финишную ленточку. Уж не случилось ли у меня чего с глазами?

Неверная жена. Для чего тебе топор, мой единственный?

Тяжелобольной. Вам плохо, доктор? У вас такой вид, что, того и гляди, заплачете.

Моль. Не выношу темноты. Что, если влететь в пламя свечки?


Наивный человек, падающий вниз. О господи, эта женщина с высокой грудью, как она удирает, бедняжка... Уж не воображает ли она, что я собираюсь свалиться прямо на нее?

Самоуверенный мойщик окон (*пролетая мимо раскрытого окна на третьем этаже*). Нечего смотреть на меня торжествуяще, сударыня. Вы действительно советовали мне пристегнуть предохранительный пояс, но я всегда предпочитаю риск во имя свободы. И не напоминайте, пожалуйста, что вы меня предупреждали; терпеть не могу этих упреков задним числом. Одному человеку нравится одно, другому — другое, неужели трудно уважать чужие желания? Прощайте, сударыня.

Двое ребяташек. — Эй, не лезь в это красное!

— Почему не лезть? Разве это не огонь?

НЕ ЛЕЗЬТЕ НА РОЖОН!

 Воздь следует вколачивать следующим образом: прежде всего наметить для него место — в стене, в доске или еще где-нибудь, затем двумя пальцами левой руки взять гвоздь и прислонить острием точно к этому месту. При этом необходимо следить, чтобы он стоял прямо.

Теперь молотком, зажатым в правой руке, нужно произвести удар по гвоздю. Однако одного удара мало. Самый правильный способ — это часто, но не слишком быстро и в то же время не слишком медленно, в соответствующем темпе, точными ударами вбивать гвоздь. И в это время не сводить глаз со шляпки гвоздя, иначе он станет вихляться и скоро выскочит. А так он прямо войдет в дерево и долго продержится.

Конечно, возможны небольшие промахи и осечки, особенно поначалу. Можно, например, промахнуться, отчего или больно ударить по пальцу, или согнуть гвоздь. В таких случаях лучше взять новый. Однако накопленный опыт со временем позволит нам забивать гвозди не глядя. Дело в том, что в нас подспудно заложен навык, развивая который мы сумеем даже вслепую точно попасть по шляпке гвоздя.

Когда дело дойдет до этой стадии, значит, достигнута

высшая степень совершенства в забиваний гвоздей. Это вершина. Пытаться идти еще дальше означало бы лезть на рожон, ибо слабыми человеческими силами при несовершенной нервной системе и ограниченном круге знаний большего достичь невозможно.

Конечно, бывают и исключения, но очень-очень редко. В Североамериканских Соединенных Штатах, в городе Сан-Диего (штат Калифорния), 7 июня 1927 года некоему торговцу фруктами, по имени Дж. Э. Брингэм, удалось не молотком вбить гвоздь, а гвоздем заколотить молоток в ящик с фруктами. А в Мадрасе (Индия) один йог загоняет гвозди в твердое, как камень, красное дерево без помощи молотка — лишь силой пристального взгляда.

Все это прекрасно, но для нас недостижимо. Наше дело радоваться, если мы научимся по всем правилам, держа гвоздь двумя пальцами левой руки, молотком забивать его.

РАЗМЫШЛЕНИЯ В ПОДВАЛЕ

Чрез разбитое окошко мячик закатился в подвал. Четырнадцатилетняя дочка дворника поспешно заковыляла за ним. Трамваем ей отрезало ногу, и она, бедняжка, радовалась, если могла хотя бы подать мяч играющим детям.

В подвале царил полумрак, но девочка заметила, как в углу что-то зашевелилось.

— Кис-кис! — позвала девочка с деревяшкой. — Как ты сюда попала, кисанька?

Схватила мячик и с проворством, на которое только была способна, заспешила наверх.

Старая уродливая вонючая крыса — ее-то девочка и назвала «кисанькой» — была ошеломлена. Так еще никто к ней не обращался.

До сих пор все от нее шарахались, в страхе убегали или бросали в нее кусками угля.

И сейчас ей впервые пришло в голову, что все могло бы быть иначе, родись она по счастливой случайности кошкой.

Более того — ведь нам всегда мало достигнутого! — крыса не остановилась на этом в своих мечтах. Ну а

если бы она была дворниковой дочкой с деревянной ногой?

Но это было бы слишком прекрасно. О подобном даже мечтать не приходится!

ОПРЕДЕЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ

Мне двадцать семь лет, я худощава и угловата, но миловидна. И все-таки до сих пор в моей жизни было всего трое мужчин; всех троих звали Эрне, но это, видимо, просто совпадение. А в последнее время у меня беспрерывно звонит телефон, какой-то нетерпеливый и настойчивый мужской голос без конца повторяет: «Что же вы молчите, я знаю, ведь это вы, Лулика... алло, Лулика, неужели у вас не найдется для меня ни единого словечка?» Я в полной растерянности: что делать, ответить или положить трубку? Что правильнее, как лучше?

Мне уже за тридцать, а всего лишь один мужчина сказал, что любит меня. В прошлый раз я упоминала троих, но это неправда, он был всего один, да и того звали не Эрне. Много раз звонил телефон, это я уже рассказывала, но потом прислали монтера, он исправил аппарат, сказал, больше не будет ошибочных звонков, и правда, за последние годы сейчас впервые звонит телефон. Господи, а если опять спросят Лулику, что сказать: «Да, это я» или: «Вы ошиблись, никакая я не Лулика, меня зовут Эдит Штиер»?

Проходят годы, уходит жизнь, я все еще непорочна, к дождю у меня всегда голова разламывается. Однажды мне показалось, что в меня влюбился мужчина по имени Эрне, но настолько страшится отказа, что решается только звонить мне по телефону. Но оказалось, что это не любовь. Просто выяснилось, что у меня был неисправный аппарат. На этой почве я чуть не получила нервное расстройство, но через какое-то время поняла, что смогу довольствоваться малым, важно только прийти к какому-то определенному решению.

Вот тогда-то я и проглотила ключ от лифта. Предварительно я привязала к нему тоненькую веревочку, а другой ее конец закрепила во рту на нижний рецек; он торчит один, ни справа, ни слева от него зубов уже не осталось. При этом мне и в голову не пришло, что веревочка-

то на рентгене не видна. Ну и чудачка, ругал меня врач после операции, почему же вы не сказали, что привязали ключ к зубу, я бы его преспокойненько вытащил за веревочку через рот. Но я объяснила, что вовсе не хотела до- садить врачу, у меня и в мыслях-то не было операции, просто мне хотелось прийти к какому-то определенному решению, которое, с одной стороны, уже невозможно изменить, а с другой стороны, нельзя от него и умереть,

ПОСЛЕДНИЙ ВОПРОС



верь затрещала и, взломанная, рухнула. Незнакомый человек стоял на пороге.

— Умри, несчастный! — воскликнул он.

Я только что присел на корточки, чтобы растопить печку. Пришлось встать.

— Вы меня с кем-то путаете, — заметил я.

— Ничего я не путаю! — огрызнулся он, но «тыкать», мне перестал. — Пробил ваш час!

Он потянулся в задний карман брюк за пистолетом, но так медленно, неторопливо, как гладят собаку. Я же тем временем положил в печь растопку, поджег и несколько раз прошелся по комнате взад-вперед (ибо человек, прежде чем его застрелят, обычно вспоминает всю свою жизнь), но рука незнакомца по-прежнему все еще находилась на полпути к карману. То, что произошло позднее, разыгрывалось так же растянуто, как замедленная кино- съемка.

Тут я сразу хочу внести ясность. Зная людей, я заранее представляю, с каким злопыхательством станут они толковать последующие события. Так что я констатирую: покушение совершалось в нормальном темпе. Убийца не был медлительным, просто восприятие у меня слишком быстрое. (В пятнадцать раз быстрее средневенгерского.) А кто быстро соображает — и видит больше, замечая то, что лишь мелькает у других перед глазами. Например, за то короткое время, пока кто-то зевает, я — если нахожусь в хорошей форме — успеваю покончить с обедом из трех блюд. Этот тип, совершивший на меня покушение, наверняка потом станет хвастать, что в полминуты управился со мной, я же, в силу своей исключительно быст-

рой реакции, за эти полминуты смогу уладить многие важные дела.

А пока что мы оба пребывали еще на подготовительной стадии, и убийца медленно-медленно вытаскивал оружие. Так что торопиться мне не было необходимости и хотелось бы разумно использовать свои предсмертные мгновения. Чем же мне заняться? Упасть плашмя? Позвать на помощь? Или запустить первым попавшимся предметом убийце в голову? Способ прикончить человека выстрелом, если он к тому же затянулся, предоставляет жертве массу возможностей.

Пока он возился с пистолетом, я позвонил своему лечащему врачу. Тот же, не давая мне вставить слова, принялся жаловаться, что у него в машине опять сломалась коническая шестеренка. Ужас, сколько пришлось побегать, прежде чем удалось раздобыть новую. Наконец подошла моя очередь высказаться.

— У меня мало времени. Меня собираются застрелить. Что мне посоветуете делать?

— Все зависит от того, хотите вы умереть или нет.

— Да большого желания не испытываю.

— Тогда отскочите в сторону, — посоветовал несравненный эскулап.

Все не так-то просто, пояснил я. Может статься, через месяц хватит удар, а потом долгие месяцы будешь лежать пластом... Что же теперь — отказаться от легкой и мгновенной смерти? Для того чтобы принять решение, мне надо знать, как у меня обстоят дела со здоровьем.

Врач согласился с этими доводами. Он подробно перечислил все мои органические заболевания и хронические недуги и в конце, чуть подумав, заявил:

— Как человек, я советую вам: постарайтесь выжить. Но, как врач, обязан сказать, что нельзя упускать такой великолепный случай.

— Спасибо вам большое!

— Всего наилучшего!

Мой убийца, пока я говорил по телефону, направил на меня пистолет и медленно спустил курок. Пуля вылетела и, как осенняя муха, сонно зажужжала по комнате. Дождавшись, когда она ко мне приблизилась, я отступил в сторону.

— Сколько у вас еще патронов?

— Да не прыгайте вы ради бога! — прикрикнул убийца. — У меня всего три патрона в магазине.

— Стало быть, осталось еще два?.. Ну, тогда у меня времени предостаточно.

— Хлопот с вами не оберешься, — посетовал убийца.

Я на скорую руку позвонил еще в несколько мест; попрощался с родственниками и друзьями, затем набрал номер своего собрата по перу, который, поднакопив денег, собирался купить земельный участок. Я вкратце обрисовал ему свое положение. С моей точки зрения, сказал я, ценности не постоянны, так что, вполне возможно, цены на участки тоже снизятся... Он поблагодарил меня за добрый совет и за то, что я даже в такой ситуации подумал о нем. На том мы с ним распрощались. В этот момент подоспела вторая пуля.

Я хлопнул по ней романом Симоны де Бовуар «Мандарины». Пуля упала со стуком и закатилась под книжный шкаф. Я огляделся по сторонам. На глаза попала стопка писем, ожидающих ответа. Ну что ж, не будем откладывать!

Я писал прочувствованные, хотя и короткие письма. Отказался от квартирного обмена в 12-й район, дал совет девушке, которая любила сразу двоих, отклонил приглашение на ужин, отказался от встречи с читателями и от предложения стать крестным отцом... Все шло как по маслу. И вот, когда время мое почти истекло — третья пуля уже летела в меня, — я добрался до последнего письма, ответ на которое откладывал из месяца в месяц. Члены Общества по охране животных, работающие на бойне, обратились ко мне за советом:

«Простите, что беспокоим вас по столь незначительному поводу. Но мы даже здесь, на бойне, ступая по лужам крови, среди предсмертных хрипов убиваемых, хотим остаться верными благородной идее защиты животных... Что нам предпринять?»

У меня уже не оставалось времени, ибо пуля, как черный шмель, была от меня на расстоянии вытянутой руки... А ведь вопрос, который они подняли, вовсе не назовешь незначительным, напротив, он всеобъемлющий, да же более того, пожалуй, самый важный вопрос на свете.

К сожалению, даже теперь, в последнюю минуту жизни, у меня нет готового решения. Но попытаюсь ответить. Благодаря быстроте мысли у меня еще есть в запасе одно-два мгновения.

Еще с десятков решений может прийти мне в голову. Еще пять. Еще три.

Еще два.

Одно...

Очень сожалею. Не имею возможности ответить. Обратитесь к кому-нибудь другому.

БЛАГОДЕЯНИЕ

Напротив кабинета старшей сестры стояли медицинские весы, выкрашенные в белый цвет, а рядом с ними уютные кресла. Сюда я садился обычно после уколов, назначенных мне от хронического кашля. После процедуры полагалось десять минут посидеть спокойно.

Эти десять минут всегда ползли медленно, как улитка. Понапрасну я таскал с собой книгу; как правило, я в нее даже не заглядывал, пытаюсь созерцанием убить время.

Однажды по коридору, громко разговаривая, прошли две женщины. Дама постарше, в легкой шубке, по всей вероятности, только что выписалась из больницы. Мое предположение подтвердилось: из палаты за ней вышло несколько больных, затем в том же направлении проследовали лечащий врач и сестры. Все они говорили, перебивая друг друга, оживленно и радостно, даже санитарка вынырнула откуда-то и, скромно стоя позади всех, застенчиво улыбалась.

Вся сцена прощания разыгрывалась у меня на глазах; я же, сам не знаю почему, продолжал сидеть в кресле, книга покоилась у меня на коленях, а одна нога — на весах.

Я не пытаюсь оправдаться. Ведь когда дама встала на весы, а свита со всех сторон обступила ее, яснее ясного было, что она хочет взвеситься, что вес ее не безразличен окружающим, а, напротив, явно волнует всю компанию. У меня было предостаточно времени спустить ногу с весов, тем более что дама, уже стоя на весах, сняла и передала провожатым свою шубу и подробнейшим образом рассказала, что сейчас на ней то же платье, те самые туфли и шляпа, в которых она взвешивалась при поступлении в больницу. Теперь самочувствие у нее хорошее, сообщила она, аппетит прекрасный, и она полагает, что за время пребывания в больнице ей удалось прибавить в весе.

Не стану доискиваться причин, почему я за все это время не удосужился снять ногу с весов, для этого мне пришлось бы подробно описывать свой дурной характер; к тому же из личного опыта я знаю, что в подобных случаях объяснения только портят дело. Одно могу сказать: я не каждый раз кладу ногу на весы, когда другие взвешиваются, а лишь иногда.

И вот, когда дама радостно закричала: «Вы видите? Я поправилась на шесть кило!» — я промолчал, хотя, извинившись, еще можно было бы объяснить, что на весах в это время находилась моя левая нога, а стало быть, в шесть килограммов — частично или полностью — входит вес этой части моего тела.

В том, что я промолчал, безусловно, сыграло роль следующее соображение: ведь заговори я, всем будет отравлена радость. Лицо дамы прямо сияло. Все поздравляли ее, а двое даже расцеловали, она же весьма деликатно и в то же время заметно сунула деньги врачу и сестрам, а застенчиво улыбающейся санитарке крикнула:

— И вам тоже большое спасибо, Хунядвари!

Под конец уже с самой вершины блаженства она узрела меня.

— Ну, что вы на это скажете? — обратилась она ко мне.

— Я действительно очень рада, — сказала я.

— Шесть килограммов — это не шутка!

— Да, солидная прибавка, — согласился я.

Кивнув головой, она удалилась. Вся свита проводила ее до конца коридора.

Вскоре истекли и мои десять минут. Внизу, у буфетной стойки в вестибюле, я снова увидел даму в шубке; в руках у нее была тарелочка с ванильными рулетами. Она приветственно подняла тарелочку, но смогла мне только улыбнуться, ибо рот у нее был забит рулетом.

Ну вот, лед тронулся. У дамы в шубке по моей милости налачился аппетит, дело пошло на поправку, на выздоровление. Правда, если бы ей нужно было не поправиться, а похудеть, я бы тут только напортил. Но уж если решил влиять на судьбу человечества, то иди и на некоторый риск.

ВОДИТЕЛЬ МАШИНЫ

Иожеф Переслени, агент по снабжению, остановил свой «вартбург» номер СО 75-14 на углу, у газетного киоска.

— «Будапештские новости», пожалуйста.

— К сожалению, распродано.

— Да мне и вчерашний номер сойдет.

— Тоже распродан. Но случайно имеется завтрашний выпуск.

— В нем есть кинопрограмма?

— Она бывает в каждом номере.

— Ну, тогда давайте завтрашний.

Он сел в машину. Перелистал кинопрограмму. После недолгих поисков выбрал чехословацкий фильм «Любовные похождения одной блондинки», который, как он слышал, хвалили. Фильм демонстрировали в кинотеатре «Синяя пещера» на Вокзальной улице, и сеанс начинался в половине шестого.

Как нельзя кстати. У него еще оставалось немного времени. Он снова полистал газету. Ему попалось на глаза сообщение об агенте по снабжению Йожефе Переслени, который в «вартбурге» номер СО 75-14 ехал с недозволенной скоростью по Вокзальной улице и недалеко от кинотеатра «Синяя пещера» столкнулся со встречным грузовиком. Неосторожный водитель погиб.

«Чего только не бывает на свете!» — подумал Переслени.

Он взглянул на часы. Почти половина шестого. Он засунул газету в карман, включил мотор и, мчась по Вокзальной улице, столкнулся с грузовиком.

Он погиб с завтрашним номером газеты в кармане.

МОЛОДОЖЕНЫ НА ЛИПУЧКЕ

Всвадебное путешествие они не поехали. Да и стоит ли? В Будапеште тоже неплохо, сказал молодой муж, здесь и театры, и концерты, и кино — развлечений масса. Они остались дома и так, тихомирно, проводили медовый месяц.

А однажды вечером они попали на подвешенную к лампе липкую бумагу.

Глупая случайность.

Муж. Любишь меня, радость моя?

Жена. Очень.

Муж. Тогда иди ко мне.

Жена. Как, опять?

Муж. Иди-иди.

Жена. Ох, и ненасытный же ты!

Муж. Иди-иди-иди-иди!

Жена. Сейчас, только у меня к чему-то приклеились туфли.

Муж. Сними туфельки и иди скорей.

Жена. Тогда мы опять на весь вечер застрянем дома. А сегодня концерт Чайковского в Музыкальной академии.

Муж. Наплевать на Чайковского.

Жена. Ты предпочел бы сходить в театр?

Муж. Ах, все эти наши пьесы прямо в зубах навязли... Скажи, а тебе не кажется, что мы как будто раскочиваемся?

Жена. С чего это ты взял?

Муж. Такое ощущение, как будто меня подвесили на веревке и я раскочиваюсь взад-вперед.

Жена. Не обращай внимания. Посмотри лучше, что идет в Опере.

Муж. А где газета?

Жена. В кухне на столе.

Муж. Я не могу сдвинуться с места, у меня тоже к чему-то прилипли ноги.

Жена. Странно... Кажется, там сегодня «Бал-маскарад».

Муж. Скажи... То, к чему приклеились твои туфли, — это какая-то блестящая липкая мазь?

Жена. Что-то в этом роде.

Муж. Вот! Теперь я и руки не могу оторвать.

Жена. До чего же ты, оказывается, нытик! Кончит-ся тем, что мы опять останемся дома.

Муж. Ой, что это дергает?

Жена. Это я пытаюсь выбраться из липучки.

Муж. Не дури, еще, чего доброго, оторвемся и упадем.

Жена. Скажи, ты всегда со всем мирисься? А я-то и полюбила тебя потому, что ты казался мне таким сильным, всегда веселым и еще говорил, что обожаешь музыку...

Муж. Какой толк, что я обожаю музыку, если не могу шевельнуть ни рукой, ни ногой.

Жена. Ну, не ты первый завяз в чем-то. Есть инвалиды, безногие. Но и те живут, работают и даже не унывают.

Муж. Вот опять мы как будто поворачиваемся.

Жена. Это тебя беспокоит?

Муж. Меня все беспокоит, чего я не понимаю.

Жена. Тогда я тебе объясню. Дует из входной двери, и сквозняк поворачивает эту липкую штуку, к которой мы приклеились. Надеюсь, ты успокоился?

Муж. Какое там успокоился, когда я по пояс увяз в этом клейстере.

Жена. Знай одно твердишь! Без двадцати семь. Теперь только на такси успеем в Оперу.

Муж. Ты ни во что не ставишь реальные обстоятельства?

Жена. Мы же условились, что наш брак не будет похож на другие. Мы не станем скучать, отмалчиваться, ссориться, ненавидеть, разводиться... И еще я хочу всегда быть веселой, родить трех карапузов и отдать их в музыкальную школу.

Муж. Теперь я увяз по горло.

Жена. Будь добр, сними трубку и вызови такси.

СМЫСЛ ЖИЗНИ

Если много-много стручков перца нанизать на бечевку, то получится связка перца.

Если их не нанизывать, то никакой связки не получится.

А ведь перец один и тот же, такой же красный, такой же острый. Но все-таки это не связка.

Неужто же бечевка делает перец связкой? Нет, не бечевка. Бечевка тут, как мы знаем, дело второстепенное, а то и третьестепенное.

Так что же тогда?

Кто задумается над этим вопросом и постарается, чтобы мысли его не разбегались, а работали только в одном направлении, тот может напасть на след великих истин.

ИЗУЧАЙТЕ ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ!



не знаю немецкого языка.

Между Алексеевкой и Буденным надо было втащить на холм несколько орудий, которые по самые оси увязли в грязи. Когда в третий раз пришла моя очередь и примерно на середине подъема это чертовски тяжелое полевое орудие начало сползать обратно, я сделал вид, что хочу отлучиться по нужде, и удрал.

Мне известно было, где находится наша позиция. Я пересек огромное поле подсолнечника, затем выбрался на жнивье. Жирная черная земля налипала на подошвы, как свинцовые пластины на башмаках у водолаза, с помощью которых опускаются на дно моря. Шел я, должно быть, минут двадцать, как вдруг буквально наткнулся на сержанта-венгра и какого-то немца, даже не знаю, в каком чине, потому что я не разбирался в немецких знаках различия. И надо же быть такому дьявольскому невезению, что я наткнулся на них на совершенно голом месте.

Сержант стоял, а немец, растопырив колени, сидел на складном стуле. Из тюбика вроде как для зубной пасты он выдавливал плавленный сыр на кусок хлеба. Сержант курил, а немец ел и только взглядом остановил меня.

— Was sucht er hier? — спросил он.

— Чего тебе здесь надо? — перевел сержант.

Я сказал, что потерял свою часть,

— Er hat seine Einheit verloren, — сказал сержант.

— Warum ohne Waffe?

— Где твоё оружие? — спросил сержант.

Я ответил, что я из трудбата.

— J u d e , — сказал сержант.

Это даже я понял. Я пояснил, что я не еврей, а просто меня как распространителя «Непсавы» в Дьере призвали в особый трудбат.

— Was? — спросил немец.

— J u d e , — сказал сержант.

Немец встал. Отряхнул с мундира крошки.

— Ich Werde ihn erschliessen, — сказал он.

— Сейчас господин фельдфебель расстреляет т е б я , — перевел сержант.

Я почувствовал, как меня прошибает пот и к горлу подкатывает тошнота. Немец закрутил тюбик с сыром и взялся за автомат. Говори я по-немецки, я, наверное,

смог бы объяснить ему, что, раз не ношу желтой повязки, значит, я не еврей, и тогда все было бы по-другому.

— Er soll zehn Schritte weiter gehen.

— Отойди на десять шагов, — сказал сержант.

Я сделал десять шагов, по щиколотку увязая в грязи.

— Gut.

— Хорошо.

Я остановился. Фельдфебель направил на меня автомат. Я только помню, что у меня вдруг сделалась невероятно тяжелая голова и все внутри оборвалось. Фельдфебель опустил автомат.

— Was ist sein letzter Wunsch? — спросил он.

— Говори свое последнее желание, — перевел сержант.

Я сказал, что хотел бы сходить по нужде.

— Er will scheissen, — перевел сержант.

— Gut.

— Хорошо.

Пока я делал свои дела, фельдфебель держал автомат наперевес. Когда я поднялся, он снова нацелился.

— Fertig? — спросил он.

— Готово?

Я сказал: готово.

— Fertig, — доложил сержант.

Автомат фельдфебеля был нацелен мне куда-то в пупок. Минуты полторы, наверное, я стоял так. Затем, все еще продолжая в меня целиться, фельдфебель сказал:

— Er soll hupfen.

— Прыгай! — перевел сержант.

За прыжками последовала команда ползти по-пластунски. Потом — пятнадцать раз упор лежа. Напоследок фельдфебель командовал «кругом».

Я исполнил.

— Stehschritt!

— Парадный шаг! — перевел сержант.

— Marsch! — сказал фельдфебель.

— Шагом марш! — перевел сержант.

Я зашагал. Просто идти и то можно было с трудом, а уж чеканить парадный шаг... Комья грязи так и летели выше головы. Я двигался ужасно медленно и все время чувствовал, как фельдфебель целит мне в спину. Я и сейчас могу показать то место, куда было направлено дуло автомата. Если бы не эта грязь, все мои страхи тянулись бы минут пять. А так прошло, наверное, полчаса, прежде чем я решился лечь на живот и оглянуться.

Я не знаю также и итальянского: к сожалению, у меня вообще нет способностей к языкам. В прошлом году, когда я летом отдыхал с группой наших туристов в Римини, однажды вечером у роскошной гостиницы «Регина палац» я увидел того фельдфебеля. Мне не повезло. Подойди я на полминуты раньше, я бы убил его, а так он даже не заметил меня. Вместе с многочисленными спутниками он сел в красный автобус со стеклянной крышей, в то время как я по причине незнания языков кричал по-венгерски:

— Остановитесь! Высадите эту фашистскую свинью!

Швейцар, темнокожий суданец, на целую голову выше меня, погрозил пальцем, чтобы я убирался прочь. Я даже ему не мог объяснить, в чем дело, хотя он, наверное, помимо итальянского, знал французский и английский. Я же, к сожалению, кроме венгерского, не говорю ни на каком другом языке.

ВОСПОМИНАНИЯ О ВОЙНЕ

Когда жизнь человеческая становится перенасыщенной, потому что ее по пятам преследует смерть, когда каждая минута твоей жизни может стать последней и потому время, отпущенное тебе, становится бесценным или же вовсе теряет цену.

когда тебе отведено только утро, и это утро — вот оно, сиюминутное, а будет ли дан тебе еще полдень, или целый день, или вечер и завтра, или далекий послезавтрашний день, такими вопросами не задавайся, потому что на войне ты жаждешь пережить только текущую эту минуту, или пять минут, или ближайшие четверть часа,

когда, изнемогая от жажды, хлебнешь глоток воды, а изголодавшись, набьешь брюхо, когда протянешь к костру иззябшие руки или, измотанный вконец, прикорнешь на кукурузном поле и думаешь, что на всем земном шаре нет тебя счастливее,

когда в душе постоянно сталкиваются крайности: страх перед опасностью и пренебрежение ею, холодный, расчетливый эгоизм и стремление поделить последнюю сигаретой, безжалостное равнодушие к попавшему в беду товарищу и способность к высшему самопожертвованию,

когда не существует вероятного и невероятного, ибо то и другое в равной мере возможно; человек вольготно раз-

лежась на безобидном пригорке и под ясным небом в перистых облаках мечтает о мирном крове, а через мгновение он уже обращен в огонь, в горстку пепла, и только последняя мысль его об отчем доме еще витает в воздухе,

когда единственный смысл и оправдание ее могут быть лишь в том, что из всех бесчисленных войн на земле она станет последней,

ибо нет человека, кто пережил бы ее,

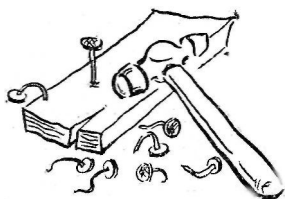
ибо сеющий гибель сам обречен на погибель,

ибо раненный в ней, истекая кровью среди кукурузного поля, умрет безвестным и непогребенным, ибо не останется никого, кто бы собрал кукурузу, а останки его предал земле и сказал: мир праху его,

ибо не только инвалид носит увечье до самой смерти, но и всякий другой, у кого целы руки-ноги, до конца дней своих носит ранящее душу и тело чувство вины перед теми, кто не дожил,

и не потому ли ты сам, получивший на этой войне всего лишь семь царапин от минных осколков, даже теперь, через десять, двадцать, тридцать лет после войны, вскакиваешь среди ночи, потому что кричал во сне: «Фери, дружище, что с тобой!» — и долго лежишь в темноте с раскрытыми глазами, и спрашиваешь себя, справедливо ли это, что я — жив и как ни в чем не бывало хожу по земле, тогда как имя твое и облик твой стираются в памяти, и думаешь: «А не лучше ли было бы мне пасть вместе с тобой и не таскать в себе груз твоей памяти, стать одним из тех безымянных, безвестных, чья плоть давно истлела, а кости схоронило какое-нибудь кукурузное поле».

1966—1977



СОДЕРЖАНИЕ

<i>Т. Воронкина. In memoirum Иштвана Эркеня</i>	3
---	---

ПОВЕСТИ

* КОШКИ-МЫШКИ. <i>Перевод О. Кокорина</i>	15
СЕМЬЯ ТОТОВ. <i>Перевод Т. Воронкиной</i>	110
* ВЫСТАВКА РОЗ. <i>Перевод Т. Воронкиной</i>	188

РАССКАЗЫ-МИНУТКИ

Перевод Т. Воронкиной

Способ употребления	275
Что такое гротеск	276
Смерть артиста	277
Даже самые дерзкие мечты могут сбыться!	278
Венгерский пантеон	279
In memoirum dr. K. H. G.	283
Экстаз	283
Торт «наполеон»	286
В госпитале	289
Постоянная посетительница	292
Хорошая смерть	294
* Автографы одного венгерского писателя	295
Дотошный читатель	298
Песня	301
Домой	302
Шофер	302
Земляки	304
Человеку нужно тепло	306
Дурной сон	311
Всегда есть надежда	313
Прощай, Париж!	314
Удачные похороны	315
Несколько минут внешней политики	319

Власть поэзии	321
«In Our Time»	323
Зачастую мы достигаем взаимопонимания в самых сложных вопросах, чего иногда не происходит в самых простых	325
Наши сыновья	327
Фарш	328
Профессиональная гордость	328
Большой праздничный базар! Только у нас! Нигде кроме!	329
Сообщение Общества по охране животных	331
170—100	331
Восприятие и искусство	334
И вы еще спрашиваете?!	334
Не лезьте на рожон!	335
Размышления в подвале	336
Определенное решение	337
Последний вопрос	338
Благодеяние	341
Водитель машины	343
Молодожены на липучке	343
Смысл жизни	345
Изучайте иностранные языки!	346
* Воспоминания о войне	348

Эркень Иштван

Э-78 Избранное. Пер. с венг. / Сост. и вступит. статья Т. Ворониной. — М.: Худож. лит., 1981. — 351 с.

Иштван Эркень (1912—1979) — видный венгерский писатель-сатирик, драматург, лауреат премии имени Кошута, широко известный за пределами Венгрии.

В сборник включены уже известные советскому читателю повесть «Семья Готов» и «Рассказы-минутки», а также повести «Кошки-мышки» и «Выставка роз».

Э 70304—035 121—81 4703000000
028(01)—81

И/Венг

ИШТВАН ЭРКЕНЬ

Избранное

Редактор *С. Тонконогова*

Художественный редактор *Е. Ененко*

Технический редактор *А. Кузнецова*

Корректор *Г. Володина*

ИБ № 2081

Кодированный оригинал-макет подписан в печать 23.09.80. Слан в тип. 14.01.81. Формат 84X108^{7/32}. Бумага тип. № 2. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. 18,48+1 вкл. = 18,585 усл. печ. л. 19,27+1 вкл.=19,305 уч.-изд. л. Тираж 50 000 экз. № издания Уг-5-80. Заказ № 1011. Цена 2 р. 20 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19.

Ленинградская типография № 2 головное предприятие ордена Трудового Красного Знамени Ленинградского объединения «Техническая книга» им. Евгении Соколовой Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 198052, г. Ленинград, Л-52, Измайловский проспект, 29.